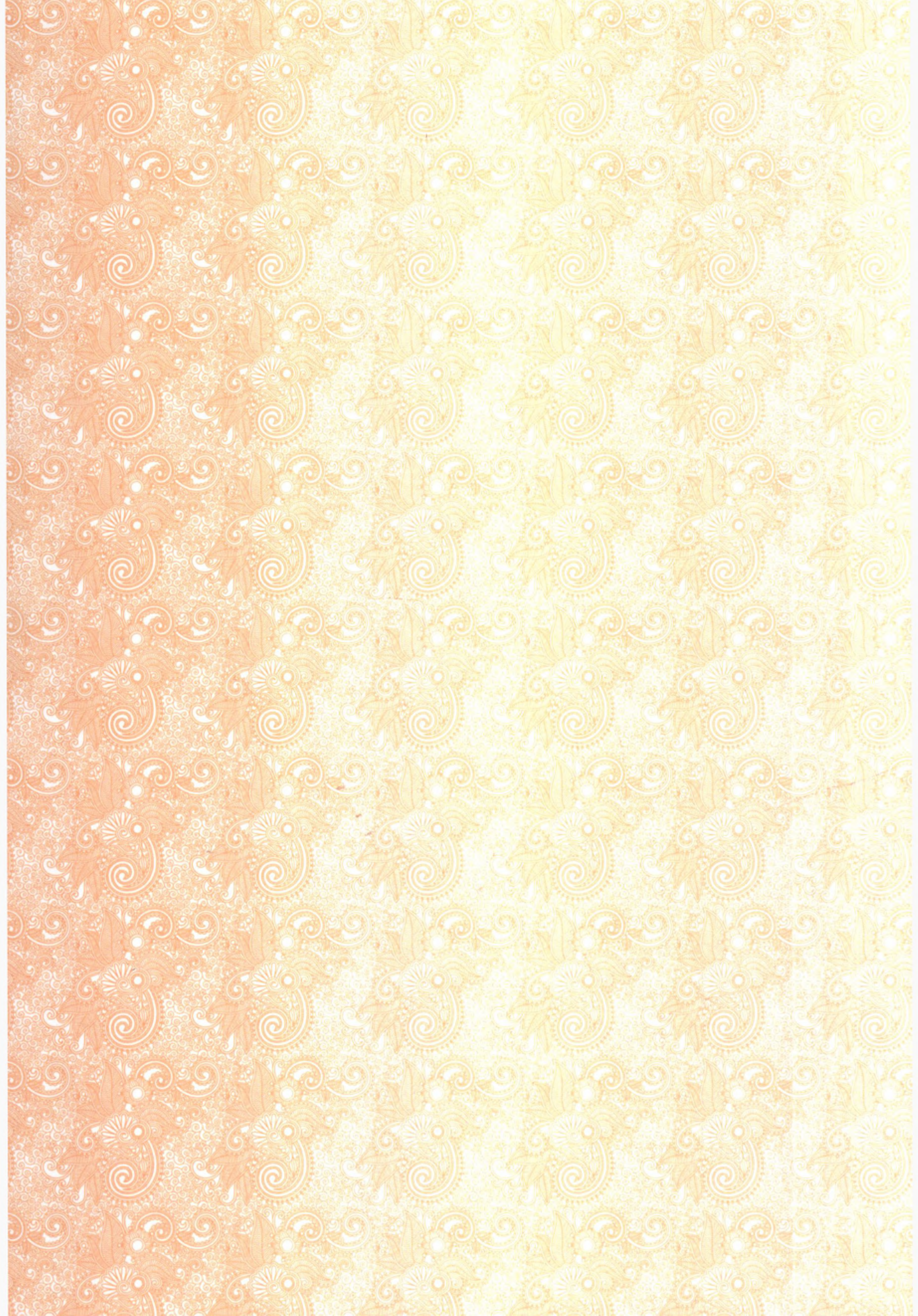
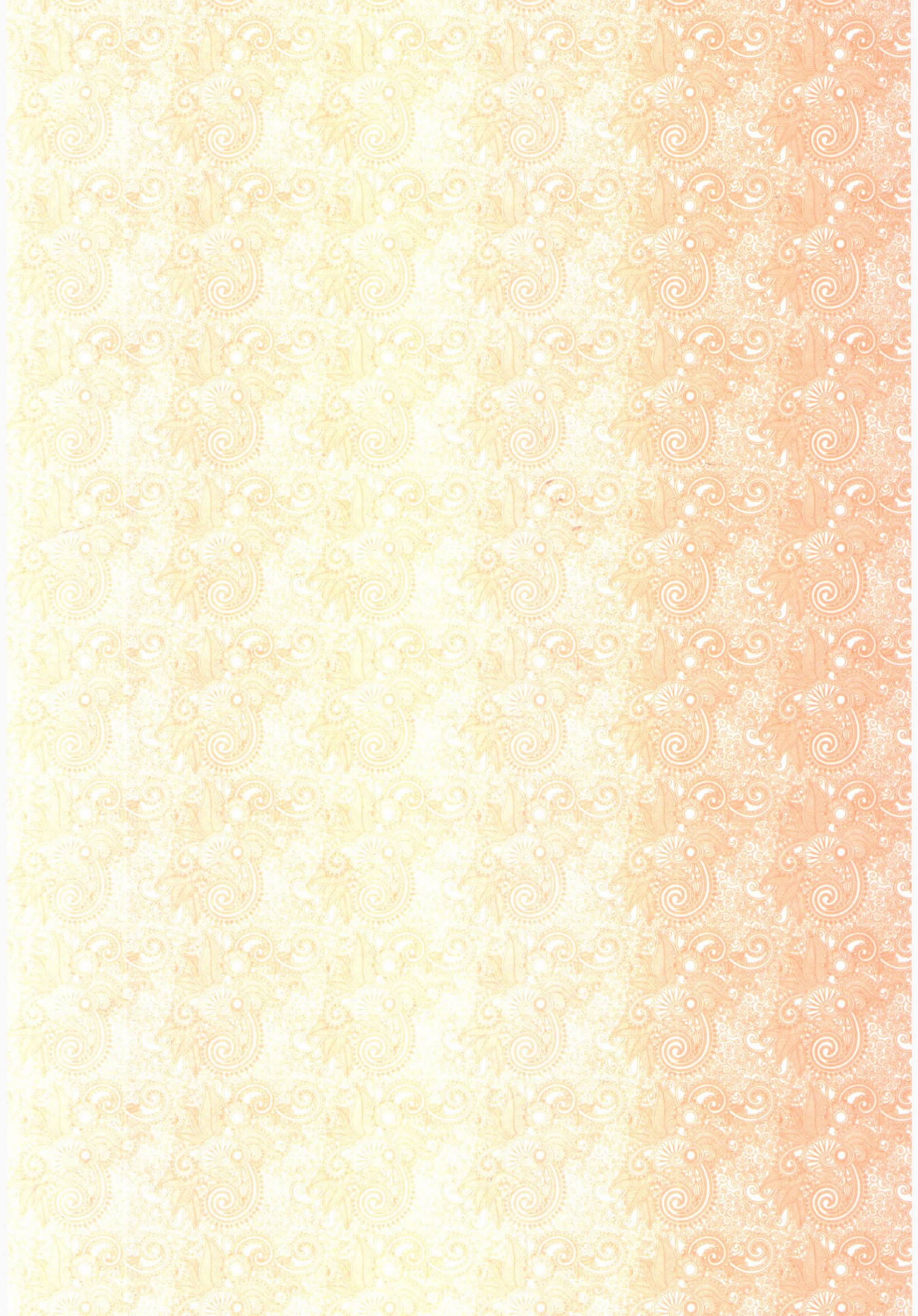




В ВОЛОСТНЫХ ПИСАРЯХ

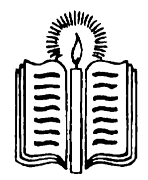
ОЧЕРКИ КРЕСТЬЯНСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ





ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ

Серия основана в 2011 году



ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ

Серия основана в 2011 году

ВЫПУСК V

Н.М. Астырев

В ВОЛОСТНЫХ ПИСАРЯХ

ОЧЕРКИ КРЕСТЬЯНСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НАУЧНЫЙ РЕДАКТОР М.Д. КАРПАЧЕВ



Воронеж
Центр духовного возрождения
Черноземного края
2016

УДК 352.071(09)
ББК 67.400.73-1
А91

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)»

Издание осуществлено при финансовой поддержке департамента культуры Воронежской области

Астырев Н.М.

А91 В волостных писарях. Очерки крестьянского самоуправления / Н.М. Астырев. — Воронеж: Центр духовного возрождения Черноземного края, 2016. — 272 с.

ISBN 978-5-91338-141-5

Очерки народной жизни писателя-демократа Н.М. Астырева (1857-1894) дают колоритные зарисовки реального положения воронежской деревни пореформенного времени и представляют собой качественный источник для всех интересующихся историей родного края.

Текст основной книги Н.М. Астырева публикуется по ее первому прижизненному изданию (М., 1886). Археографическая и стилистическая подготовка текста осуществлена М.Д. Карпачевым. Он же является автором помещенных в конце текста примечаний. Подготовка именного указателя, традиционного для изданий подобного рода, в данном случае оказалась излишней, поскольку Астырев пользовался вымышленными именами своих персонажей.

В статье Н.М. Астырева, посвященной хозяйственной жизни воронежской деревни середины 1880-х гг., содержатся сведения, которые дополняют новыми красками картины народной жизни, представленные в книге.

Приложены также статьи О.Г. Ласунского и М.Д. Карпачева, каждая из которых может рассматриваться как научный комментарий к сочинениям Н.М. Астырева.

УДК 352.071(09)
ББК 67.400.73-1

ISBN 978-5-91338-141-5



Н.М. Астырев
(1857-1894)

ВЪ ВОЛОСТНЫХЪ ПИСАРЯХЪ.

О Ч Е Р К И

КРЕСТЬЯНСКАГО САМОУПРАВЛЕНІЯ.

Н. Астырева.

М О С К В А.
Типографія В. В. Исленьева, Средняя Кисловка, домъ Волковыхъ.
1886.

В ВОЛОСТНЫХ ПИСАРЯХ

ОЧЕРКИ
КРЕСТЬЯНСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

I

В мае месяце 1881 года я оставлял Петербург, направляясь в один из уездов Воронежской губернии искать места волостного писаря. Некоторые обстоятельства сложились относительно меня таким образом, что жизнь в городе, в «культурной» среде, стала мне просто ненавистна: не обеспеченный материально, я не мог вполне покинуть житейского омута, чтобы с большей или меньшей для себя пользой и приятностью пережидать непогоду, но должен был непрестанно работать из-за куска хлеба. Конторские занятия — единственные для меня доступные — опротивели мне вконец благодаря своей сухости и безжизненности; хотелось живого дела, хотелось общения с живыми людьми, хотелось доказать самому себе свою пригодность на служение истинным общественным нуждам, а не на одно только служение интересам различных «компаний» и «товариществ»; думалось, что такое служение может иметь место единственно в деревне. К сожалению, выбор обусловленных этим обстоятельством поприщ деятельности был не велик: учительство и писарство; но в то время, чтобы стать сельским учителем, необходимо было лицу, хотя бы и с высшим образованием, сдать сперва специальный экзамен на учителя, и этого одного было уже для меня достаточно, чтобы отказаться от не совсем завидной перспективы всю жизнь возиться с ребятишками, обучая их такой грамоте, в целесообразность которой я и сам плохо верил. Взвесив все эти обстоятельства, я решился искать места волостного писаря как представлявшего,

по моему мнению, больший простор для деятельности. Долгое время искания мои оставались безуспешны; я обращался и к влиятельным землевладельцам, и к чиновникам, и к лицам, в деревне власть имеющим, — но все они или прямо отказывали в своём содействии, находя желание моё в данное время по меньшей мере странным, или же ограничивались одними обещаниями. Наконец, один из товарищей моих, тогда ещё студент, землевладелец Воронежской губернии, предложил мне свою помощь, — не ручаясь, однако, за успех. Я так обрадовался появившейся надежде на какой бы то ни было исход из моего томительного положения, что обеими руками ухватился за его предложение, — и вот я на пути к обетованному краю, где я должен был поселиться у этого товарища впредь до решения моей участи.

В — ском уезде[1], как и в прочих уездах нашего отечества, самую видную роль играет уездный предводитель дворянства, который, как таковой, состоит членом или председателем множества учреждений, в числе коих чуть ли не первое место занимает уездное по крестьянским делам присутствие. Все должностные лица крестьянского самоуправления как выборные, так и наёмные — старшины, старосты, писаря — все они состоят под непосредственным началом предводителя как председателя присутствия, и в его власти — их карать и миловать, а следовательно, увольнять от должностей и назначать на оные. О всех этих порядках и о лицах, соблюдающих эти порядки, я буду впоследствии говорить обстоятельно; теперь же я упомянул о власти предводителя лишь для того, чтобы не вполне знакомым с крестьянским «самоуправлением» читателям стало понятно, почему мой товарищ — назовём его хоть Ковалёвым — всю надежду на благоприятный исход нашего предприятия возлагал на предводителя, которого — также к примеру — назовём Столбиковым[2]. Нужно сказать, что Столбиков, когда не состоял ещё в предводителях, был или, по крайней мере, слыл за человека «радикального» образа мыслей, так что местные консерваторы даже всполошились по случаю его избрания; им, однако, не долго пришлось беспокоиться, так как оказалось, что, по избрании его, у Столбикова осталось красного только сафьяновые отвороты его лакированных сапог. Но, чтобы не отстать от века, он и в предводителях не отказывался при случае чуть-чуть полиберальничать, щегольнуть, например, своими «симпатиями» к «безответному труженику-народу», к «трезвой» части молодого поколения, к народнической литературе и т.п., благо всё это не вредило его карьере, и все эти симпатии ограничивались на деле... изданными им картинками к одному некрасовскому стихотворению из народного быта. Но обо всём этом как-нибудь после; теперь же буду вести речь по порядку.

Ковалёву удалось увидеть предводителя на именинном обеде, данном одним из их общих соседей-землевладельцев. Разными дипломатическими ухищрениями приятель мой достиг того, что заинтересовал моей личностью и моим намерением поступить в писаря для изучения народного быта как всё со-

бравшееся общество, так и самого Столбикова; под давлением общественного мнения и из желания показать себя покровителем всяких благих начинаний Столбиков обещал Ковалёву дать мне место писаря, но не иначе, как по личном со мною знакомстве, для чего и просил Ковалёва передать мне, чтобы я явился к нему в непродолжительном времени. Возвратившись домой, приятель мой сообщил мне, что ему удалось сделать по моему делу.

— Ты постарайся попасть ему в тон — это главное. Если не попадёшь, пропало твоё дело!.. Он сумеет под каким-нибудь благовидным предлогом отказаться от своего обещания. Полиберальничай, но крайне умеренно, восхищайся народными порядками, общиной, — но осторожно.

А главное — напирай на литературу и на свои, хотя бы и небольшие, «литературные» знакомства.

Так обучал меня Ковалёв, засыпая; я же долго ворочался с боку на бок, обдумывая, что и как я стану говорить завтра моему будущему начальнику.

II

От имения Ковалёва до Борок[3] было вёрст 15; я выехал часов в 10 утра на беговых дрожках по незнакомой мне совсем дороге; меня, однако, уверили, что заблудиться я не могу, так как дорога одна и всякий встречный укажет мне Борки.

— А как подъедешь версты за две к ним, то и сам не ошибёшься. Столбиков, брат, выстроил себе такую дивную штуку, в таком невиданном стиле, что из всех российских построек это, вероятно, единственная в своём роде. Впрочем, сам увидишь, — говорил Ковалёв.

Я ехал, держась всё на север, и наконец увидел большое село с двумя, как мне издали показалось, церквами. Одна, по-видимому, каменная, белелась посреди села; другая, тёмная и мрачная, напоминала скорее немецкую кирху и стояла в некотором отдалении от села, саженях в двухстах. Мне показалось странным, что церковь стоит в таком отдалении от села (в Воронежской губернии почти нет погостов), и я принялся разглядывать постройки, группирующиеся около неё. То не могли быть, однако, дома причта: они были чересчур велики; а в особенности меня смущал громадный квадрат скотного двора, расположенного налево от церкви, и тенистый, старинный парк — направо от неё; сама же она стояла на юру, и около неё виднелись лишь какие-то кустики. Но тут я заметил десятка два рабочих, ехавших с сохами по направлению к постройкам около церкви; подъехав, они остановились и стали отпрягать коней... Я догадался, что это помещичья усадьба, а не церковь, — и кого же могла быть эта усадьба, если не Столбикова? Меня ведь предупреждал уже Ковалёв, что архитектура главного здания несколько странна, но я

никак не ожидал, что она будет в таком роде. Деревянный двухэтажный дом, один конец которого замыкается полукруглой башней в три этажа с большим шпилем наверху; окна вроде готических, с откосами по бокам и снизу; вдоль гребня высокой и крутой кровли фестончатая решётка; манерно выпяченный балкон во втором этаже и стеклянный разноцветный подъезд внизу: от башни шло нечто вроде оранжереи, покрытой некрупными стеклами в рамах; кругом дома дорожки, усыпанные белым песком, клумбы с цветами и чахлые, плохо принявшиеся, молодые деревца. Шпиль, крыша и странной формы окна делали здание очень похожим на церковь, и, как передавали мне, богомолки, мимо ходящие каждой весной в Киев, набожно останавливались и крестились на обе церкви в с. Борках. В парке, о котором я уже упоминал, имеется отличный двухэтажный каменный дом, весь окружённый живописными куртинами дерев; в нём жили дед и отец Столбикова, но когда, за смертию их, имение перешло в его руки, то он не захотел жить «в трущобе» и из хозяйственных, как он объяснил, целей поселился на юру, чтобы иметь возможность беспрепятственно окидывать взором свои три тысячи десятин земли, из которых, впрочем, половина сдана была в аренду. Башня служила остроумному хозяину обсерваторией, и он с подзорной трубой в руках высматривал, пашет ли какой-нибудь Кузька или курит трубку, лёжа на брюхе в тени телеги, и если Кузька оказывал наклонность к лежанию на брюхе в неурочное время, то по возвращении с поля, к ужасу своему, узнавал, что уже оштрафован конторой имения на полтинник. Все это я узнал уже впоследствии, но никогда не узнал, во сколько лет Столбиков расчёл вернуть штрафными полтинниками с разных Кузек те тридцать тысяч рублей, которые он убил на устройство своего фантастического жилья, — совершенно излишнего при наличности дедовского, расположенного в прекрасном месте?..

Я подъехал к хлопотавшим около сох рабочим, попросил одного из них привязать куда-нибудь лошадь, а сам направился к барскому дому и, после некоторого колебания, решил пойти через разноцветный подъезд. Только что я взялся за стеклянную, изящную ручку, как где-то над моей головой поднялся резкий звон; я посмотрел наверх, перестав нажимать на ручку — и звон прекратился. «Несомненные признаки цивилизации», — подумал я и при новой трели электрического звонка вошёл в переднюю; но тут ожидал меня немалый сюрприз: вместо лакея или горничной я увидел датского дога огромной величины. Это чудовище степенно подошло ко мне и своими страшными глазами уставилось на меня... Так простояли мы несколько минут, и никто не являлся ко мне на выручку; наконец, я стал взывать: «Послушайте, нет ли там кого-нибудь?» На зов выпорхнула откуда-то девочка лет девяти, вся в кисее и, увидав меня, спросила: «Вам папу?»

— Да, — ответил я, — но потрудитесь, милая барышня, отозвать сначала эту собачку, иначе я не в состоянии буду идти к вашему папе.

— Милорд, иси, — позвала она моего приятеля, и тот величественно удалился в боковую дверь.

— Вы идите наверх по лестнице, папа там, — говорила девочка. — А горничной у нас нет, вчера ушла, а новая ещё не приезжала.

Вся лестница, по которой я поднялся, была завешена различными гравюрами и олеографиями, крайне разнообразными и по содержанию, и по качеству: рядом с старинной, хорошей вещью висела чуть не лубочная картинка; верхняя площадка была также увешена картинами, но писанными масляными красками; таким образом лестница была превращена в домашнюю картинную галерею.

Первая комната, куда я вошёл, была престранно убрана: против дверей стоял бильярд под чехлом; налево от него, у окна, фисгармония с кучей нот, покрытых пылью; в другом конце комнаты — несколько диванов, столов и кресел, разбросанных группами там и сям и, наконец, в углу — громадный камин. По стенам висели картины, гравюры, оленьи рога, ружья, удочки; на столах разбросаны были альбомы и иллюстрированные журналы. В комнате никого не было, но большая, массивная дверь указывала, что рядом есть и ещё помещение. Я стал кашлять; послышался голос, спрашивавший: «Кто там?» — и, когда я ответил: «А[стыре]в от Ковалёва», в комнату вошёл мужчина лет тридцати пяти, невысокого роста, с золотыми очками на носу. Он был одет в лёгкую тиковую поддёвку, голубую шёлковую рубаху, широкие полосатые шаровары из какой-то восточной материи и в высокие лакированные сапоги с сафьяновыми красными отворотами. Он окинул меня взглядом, подал мне руку и жестом пригласил в соседнюю комнату; эта оказалась такой же величины, как и первая, но гораздо светлее; помещавшиеся же в ней предметы делали из неё какую-то кунсткамеру. По стенам шли шкафы с книгами, на шкафах бюсты различных знаменитостей, у окна стол с химическими и физическими аппаратами: колбы, склянки с веществами были перемешаны с лейденскими банками, химические весы стояли рядом с электрической машиной, и всё это, казалось, успело уже заплесневеть от мертвенного многолетнего покоя. Рядом другой стол: на нём географические карты, чертежи, краски — и опять всё в полном хаосе. Ещё стол: на нём дюжины полторы тарелок с различными семенами — я не успел разглядеть какими. Наконец, письменный стол, весь заваленный газетами, журналами и разными изящными письменными принадлежностями; около него, на полу, куча книг, в углу комнаты — чучела медведя и двух волков, под потолком парило чучело орла. На одном из диванов лежал какой-то большой альбом в великолепном переплёте, а на нём, пуская слюни, отдыхала старая лягавая собака; ещё в одном углу, дальнем от входа, стояла какая-то штука с колёсами под чехлом... Беспорядок в комнате царил ужасный: ни системы, ни вкуса. Видно было, что хозяин хватался за всё рукой дилетанта и затем быстро бросал, а раз бросивши, не скоро уж возвращался к брошенному.

Я с любопытством осматривался кругом, пока хозяин освобождал для меня стул из-под груды книг.

— Прошу садиться. Мне Ковалёв говорил о вас. Вы хотите поступить в волостные писаря?

— Да, желал бы.

— Что вас побуждает на этот эксцентричный шаг?

Я постарался как можно убедительнее доказать, что теперь, ввиду назревших крестьянских вопросов, требующих разрешения, и правительству, и обществу необходимы точные сведения о крестьянском быте, а иметь таковые возможно лишь при наитеснейшем общении с крестьянскою средою; затем я сказал про себя, что я лично чувствую потребность в осмысленной работе на пользу своего ближнего, и т.д., и т.п. Всё это, мол, заставило меня оставить город и перейти в деревню, но так как я человек без средств, то мне необходимо какое-нибудь занятие в деревне — преимущественно по письменной, мне известной, части. А такое место имеется лишь одно: место волостного писаря.

— Это очень хорошо: и ваше стремление служить на пользу младшего брата и... и проч. Но знаете ли вы, что вам предстоит?

— Т.е., в каком смысле?..

— В смысле жизненной обстановки. Вы будете получать рублей 30 жалованья — не больше; вы должны будете вести знакомство со всякой дрянью — со старшинами, писарями и кабатчиками; я, да и все прочие... начальники при встрече с вами руки вам не будем подавать, и вы должны будете стоять в моём присутствии... Правда, в наших заседаниях я велел ставить старшинам и писарям стулья — прежде они стояли, — но когда вас будут спрашивать, вы должны будете вставать... Словом, вы совершенно выйдете из... из интеллигентной сферы...

Я ответил на это, что надеюсь без особого труда приноровиться к новой обстановке.

— Да, это, конечно, — говорил он в раздумье и потом внезапно оживился. — Но не пожелаете ли вы лучше занять место приказчика или конторщика в чьей-нибудь экономии? Я бы мог похлопотать...

— Нет, благодарю вас: сельское хозяйство мне незнакомо, а занятия в конторе не представляют ничего привлекательного.

— Но вам незнакомо и писарство!.. Вы не знаете, как много в волости самых разнообразных дел: это очень сложная и ответственная работа.

— Надеюсь справиться. А чтобы познакомиться с делом, я покорнейше просил бы вас назначить меня предварительно помощником писаря в какую-либо волость.

— Да, это будет необходимо, — ответил он, закуривая сигару. — Скажите же мне, пожалуйста, — спросил он после некоторого молчания, — что вы, однако, думаете: учить народ или учиться у народа?

Мне уж начинало становиться неловко от его допроса, и потому я коротко ответил:

— Из моих ответов вы могли понять, что ни того, ни другого; я желаю лишь наблюдать и изучать, но не учиться и не учить. (Я чувствовал, что говорю глупости, и краснел...).

Он смаковал сигару, поводя глазами по стене; потом взял клочок бумаги и написал в Демьяновское волостное правление приказ — принять меня в помощники писаря.

— Вот с этой запиской поезжайте в село Демьяновское[4]; это недалеко отсюда. Вас там примут... Да постойте, я вам дам экземпляр «Общего Положения»[5] с примечаниями; вам его надо изучить.

Он стал рыться в хаосе книг, лежавших на столах, стульях, в шкафах и просто на полу, — но всё безуспешно.

— Не трудитесь, пожалуйста, Павел Иванович... Я где-нибудь достану, — заметил я.

— Нет, нет, постойте!... Ведь вот тут она лежала, куда ж она могла деться? Ну, видно, до другого раза, я прикажу поискать. Прощайте!..

— Ну, что? — спросил меня Ковалёв, когда я вернулся домой, — благополучно?

— Не знаю, право, — это покажет будущее. Во всяком случае — завтра еду в Демьяновское.

И я передал ему свой разговор с Столбиковым.

III

Демьяновский волостной писарь, худой, высокий человек лет 50, кривой на один глаз, гладко выбритый и остриженный, взял у меня записку Столбикова и долго держал её перед своим единственным оком, перечитывая несколько раз: он, видимо, соображал что-то. Я, между тем, осматривал канцелярию волостного правления и находившихся в ней лиц, которые, с своей стороны, тоже пристально разглядывали меня. Комната была о четырёх окнах, высокая, но мрачная от большого количества стоявших в ней чёрных шкафов. У окон расположены были три стола: один большой, два поменьше; в углу, у печки, большой сундук, обитый железом. У большого стола в кресле сидел мужик лет сорока, в синей поддёвке, в сапогах с бураками[6] и с густо намазанными маслом рыжими волосами; он лениво позёвывал, крестя рот, и в антрактах между двумя зевками барабанил толстыми, неуклюжими пальцами по столу. Я догадался, что это не кто иной, как демьяновский старшина. У одного из столов сидел старичок, росту небольшого, но, что называется, поперёк себя шире — так он был толст; волос на нём было очень мало: от лба до затылка красовалась боль-

шая плешь, а бороду и усы он брил, так что голова его при толстых, отвислых щеках производила впечатление гладко выточенного шара. Старый, чёрный, порванный и до глянцевитости засаленный сюртук и синего цвета обтрёпанные брюки составляли его костюм. Старичок с любопытством и умильно поглядывал на меня, болтая коротенькими ножками, и поминутно нюхал табак из оловянной табакерки, приговаривая: «Вот так ловко», — и затем, не торопясь, утирал себе губы рваным, кофейного цвета платком. Позади меня в дверях стоял по виду отставной солдат с шилом в одной и с рваным сапогом в другой руке и с не меньшим, чем прочие, любопытством оглядывал меня: видимо, всех смущали моё хорошее летнее пальто и касторовая шляпа.

— Павел Иванович приказывают принять их к нам в помощники, — обратился кривой писарь к рыжему мужику.

Тот усиленно забарабанил пальцами, потом наскоро зевнул и, наконец, промолвил:

— Ну, что ж, в добрый час!..

— Вы прежде служили где-нибудь? — обратился ко мне с вопросом кривой.

— По писарской части — нигде. Поэтому и поступаю к вам в помощники, чтоб подучиться.

— Потом в волостные писаря думаете поступить?

— Наверное не знаю, там дело покажет...

Писарь нагнулся к старшине и пошептал ему что-то на ухо. Тот кивнул головой.

— У нас жалованье второму помощнику положено небольшое, только десять рублей в месяц. Согласны будете?

— Мне всё равно, — ответил я по возможности равнодушно.

— Вы из чьих будете? Откедова? Из губернии?.. — спросил старшина.

— Это как — «из губернии»? Я не понимаю.

— Ну, из города, из Воронежа, что ли?

— Нет, я не здешний.

Все замолчали; видно было, что мои краткие ответы отбили у них охоту производить дальнейший допрос.

— Когда же мне начать службу? — спросил я.

— Когда хотите, хоть сейчас, — ответил кривой, садясь за стол и перебирая бумаги.

— Сейчас мне нельзя; я приеду завтра с вещами, которые у меня оставлены в имении Ковалёва. А скажите, пожалуйста, у кого бы мне здесь можно остановиться?

— Казённых квартир у нас никаких не имеется, кроме арестантской; но вы, вероятно, такой квартиры не пожелаете, ха, ха!.. — Кривой постарался хохотом смягчить дерзость своего ответа, но я заранее решился на такие выходки не обращать внимания и потому спокойно ответил:

— Нет, арестантской мне не нужно; а нет ли тут какого-нибудь постоялого двора, где бы я мог оставить вещи, покуда не найду квартиры?

— Да хоть у меня на постоялом, — лениво сказал старшина.

— Благодарю; до скорого свидания, — сказал я и вышел на крыльцо, к которому была привязана моя лошадь. Я уже собирался садиться на дрожки, как услыхал позади себя старческий сладенький голосок.

— Не знаю, как вас назвать, молодой господин...

Я обернулся. Это был кубический старичок из канцелярии.

— Меня зовут Н. М. Что прикажете?

— Видите ли, таперича мы с вами в одной берлоге, хе, хе... сидеть будем: я здесь тоже помощником — вот уже пятнадцатый год, а перед тем в 1845 году поступил сюда волостным писарем и служил девять лет...

— Извините, пожалуйста, мы как-нибудь на досуге поговорим, — перебил я его. — Успеем ещё, а теперь мне ехать надо — видите, лошадь не стоит.

— Правду, правду изволили сказать, — успеем, хе, хе!.. А хотел я вам предложить, если угодно будет, остановиться покуда у меня. Что вам на постоялом дворе там делать? Мужичьё, скверность одна... А домок мой — вот напротив.

Он указал на маленький, выбеленный, в три оконца домик, стоявший как раз напротив волости. Я пожал старичку руку, поблагодарив за любезное приглашение, и тронул лошадь.

На другой день, уложив в чемодан свои немногочисленные пожитки, я окончательно распростился с «культурной» обстановкой и пустился в неведомые края.

Когда я вошёл в сенцы маленького домика моего будущего товарища по службе, меня встретила высокая, лет под пятьдесят, женщина. Она удивлённо смотрела на меня, на бывший у меня в руке чемодан и на пару лошадей, стоявших у крыльца. Не дождавшись с её стороны вопроса, я сам объяснил, что я новый «помощник», что хозяин этого дома предложил мне остановиться у него, и кончил вопросом: дома ли теперь хозяин? Но не успела высокая женщина ответить на мой вопрос, как в сенцы, пыхтя, отдуваясь и размахивая кофейного цвета платком, вкатился сам хозяин.

— Хе, хе, — изволили уже приехать, почтеннейший Н. М.? Отлично, отлично-с. Петровнушка, это вот молодой господин, хороший господин; они к нам поступают, я их и прислал к себе, покуда что... Ну, квартирку покуда себе приищут...

— Да где они у нас остановятся? Тесно у нас, негде, — отвечала сердито женщина.

— Ну, много ли им места надо?.. Они и весь тут: как-нибудь уж переночуем одну ночку, потеснимся.

Старичок всё это говорил мягким, виноватым тоном: видно было, что он

в своём доме плохой хозяин и теперь почти что раскаивается в своем необдуманном проступке — позвать меня к себе без разрешения своей — я не знал ещё кого — родственницы или жены.

Кое-как, однако, устроились, т.е. поставили в угол чемодан, на кровать положили подушку и плед, а на гвоздик повесили пальто. Сели; я закурил папироску, старичок ожесточённо нюхал табак и поглядывал в окно, не зная, как начать разговор. Я вывел его из затруднения, спросив, нельзя ли самоварчик поставить. С дороги, мол, полезно чайку напиться.

— Как же, как же-с... В минуточку будет готов. А я, старый, из ума выживать стал — сам-то не догадаюсь никак... Да это сейчас: у меня самовар, я вам доложу, в пять минут закипает... Вот так, вот, вот, — приговаривал он, наливая воду и кладя уголья.

— Пал Иваныч, уж вы бы не совались, дайте я!.. — говорила женщина, стоя в дверях.

— Ну уж, мата, нет, — куда тебе: ни в жисть он у тебя так скоро не закипит, как у меня.

Женщина вышла, с сердцем стукнув дверью. Мне представлялся очень удобный случай из разговора со словоохотливым старичком разузнать подноготную Демьяновской волости; а это было необходимо, чтобы знать, с кем будешь иметь дело.

— Вы, Павел Павлыч, перед чаем водочки не выпьете ли со мной для знакомства? — спросил я, уверенный, что за водочкой разговор пойдёт оживлённее, чем за пустым чаем.

— Ах, батюшка вы мой, — да спасибо вам!.. Это отчего же, можно. Только вот... да погодите, я это мигом сооружу.

Я дал ему тридцать копеек. Он с некоторым замешательством вертел монеты в руках и, видимо, решался на важный шаг. Наконец, озабоченное чело его прояснилось, и он, приотворив дверь, звонко крикнул.

— Петровнушка, а Петровнушка, выдь-ка сюда! Вот молодому господину хочется перед чаем водочки откушать, так ты кликни Егоровых Ванюшку — пусть сбегает в кабак, да живо: вот и деньги. А сам я не пойду туда, что там хорошего!..

Сунув деньги в руку Петровнушке, он стал хлопотливо заниматься около чайной посуды, как бы не замечая грозных взоров, на него бросаемых.

— Водки, опять водки!.. Затейщики! Знаем мы вас, небось сами выпросили денег на водку, — говорила она, выходя из комнаты.

— Строгая она у меня, хе, хе... — оправдывался Пал Палыч. — Не любит, когда я с хорошим человеком рюмку, другую выпью, а по старости, знаете, иногда и случается...

Через несколько минут оборванный мальчуган подал в окно неполную

бутылку водки. Пал Палыч поднял её на свет и скорбно покачал головой, приговаривая: «На двадцать копеек, не больше, чем на двадцать... Гривенник не додала, ох-ох-хо»...

Уселись мы за чай, выпили по одной — я без особенного удовольствия, Пал Палыч с блаженной улыбкой на лице. Я не торопил его разговором, будучи уверен, что он сам что-нибудь начнёт рассказывать.

— Чудно мне, добрый мой баринок, что это вы вздумали к нам поступать... Сейчас ведь видать, что вы с высокими людьми знакомы: у господина Ковалёва проживать изволили, от самого Павла Иваныча — именитая особа! — рекомендацию доставили. Ведь в столичном городе проживали?

— Да надоело, Пал Палыч, в столицах-то жить, захотелось и в деревне побывать, а рукомесла никакого не знаю, кроме как пером по бумаге водить, ну, и посоветовали мне в писаря пойти. Может быть, и до волостного из помощников дослужусь...

— Как не дослужиться, как не дослужиться, вам это как рукой подать! А только у нас вам трудно будет, не в такое место вы попали... У нас Григорий Фёдорович, писарь, — ох, и лют же, ох, и зол же! Я уже старик, мне семьдесят третий год идёт, много я на своем веку послужил, сам в волостных двадцать шесть лет пробыл, ну а лютовства такого не видал. Ненавистник он, вот что!.. Другой человек ненавидит по делу, а этот из одной ненависти... А что, по рюмочке ещё прикажете налить?

— Сделайте одолжение, а я и забыл.

Выпили по другой.

— Теперь он большую против вас злобу иметь будет: всё ему мниться будет, что вы на его место поступите — дай-то Бог!.. Тогда и мне, старику, может, полегче станет. И всё из ненависти!.. Получал я в прошлом году 17 рублей жалованья, а он в нынешнем году на сходе и сбавил: довольно, говорит, с него и пятнадцати! А самому тридцати двух рублей мало: выпросил себе пять целковых прибавки — это мои-то кровные рубли к нему и перешли! На пятнадцать-то как проживёшь? Всё дорого... Все как есть, и пятидворные[7], и старосты говорят: «Пал Палычу за долгую службу семнадцать», а он им: «Не ваше это дело, — пятнадцать». И что я ему сделал? Ничего; единственно, как я здесь третий десяток служу, все меня знают, и уважают многие именитые люди — вон, Степановский приказчик всегда три копны старновки[8] на топку присылает... купец тут Махонин — пшенца мерочку[9] отсыпает к масляной на блины — ну, ему это и ненавистно... Так то-с!.. А что, достоуважаемый Н. М., по одной ещё можно?

— Сделайте одолжение, кушайте, а я больше не буду.

— Не будете — и отлично. Потому к этому снадобью привыкать — один только грех, — говорил он, наливая себе рюмку снадобья и не замечая, что позади его, в дверях, стоит Петровнушка.

— Так, так, старый греховодник, дорвался и рад! Ужо опять никуда годиться не будешь; чем бы в волости сидеть, он тут водочку попивает! Вот Григорий Фёдорович опять разгневается, откажет от места, — так чем тогда промышлять будешь?

— Ну, ну, Петровнушка, я только одну, и больше ни-ни! Да присядь с нами чайку выпить, они не побрезгают. Это моя хозяйка, Н. М., лучше матери родной за мной, стариком, наблюдает. Я ведь двадцать пять лет уже вдовею, детей у меня нет — что бы я стал делать? Умирать скорей, да и только!.. А вот с ней двадцать лет маемся душа в душу — и горя, и радости наприняли довольно. Ну, побранит когда, — да за дело, за дело, а не то что этот ненавистник... А ты теперь, Петровнушка, не горюнься — у нас защита будет, Н. М. меня в обиду не даст, и мы кривого этого лиходея теперь бояться — шабаш!.. А когда они писарем станут, тогда меня, старика, и вовсе не обидят: я уж сейчас вижу доброту их душевную...

— Ну, а скажите, Павел Павлыч, каков у вас здесь старшина? Хороший человек?

— Старшина? Это не настоящий старшина: кандидатом срок за старого дохаживает. Вот тот был форменный старшина: строг, потачки не любил давать, свою линию вёл твёрдо, так что даже кривой с ним сладить не мог — за то и сгубил. Приговор тут он насчёт кабаков сочинил... А, впрочем, чего я разболтался? Поживёте, сами всё узнаете. Надо в правление ещё сбегать: Григорий Фёдорыч, должно, сердится... Вы не зайдёте сейчас, а?

И он с внезапно изменившеюся на деловой манер физиономией стал искать свой платок и табакерку и потом, размахивая этими атрибутами, с перевалкой побежал к волости, не глядя, следую я за ним или нет.

Войдя в переднюю при волости, я услышал недовольный голос писаря; он говорил Пал Палычу: «Вот, пустил к себе постояльца и будет теперь целыми днями пропадать... Чтоб у меня не было там этих штук — шуры-муры! Не очень-то его испугались: всяких видали, и не этаких!»...

При входе моём в канцелярию он мельком взглянул на меня и потом стал усиленно щёлкать на счётах. Я подошёл к столу; он всё как бы не замечал меня. «Здравствуйте, Григорий Фёдорович», — говорю. Он быстро поднял голову, и на лице его, желчном и злом, старалась показаться какая-то приветливая улыбка, но очень неудачно.

— А, это вы? Не знаю, как вас звать... т.е. забыл, извините. Аккуратно, аккуратно приехали, это хорошо. Где изволили остановиться?

— Да вот у Павла Павлыча.

Старикашка заёрзал на стуле и ещё усерднее стал водить пером по бумаге; мне стало жаль его, и, чтобы выручить его, я добавил:

— Впрочем, он мне и не предлагает оставаться: говорит, что тесно будет. Надо поискать себе неподалеку отсюда какое-нибудь помещение.

— Вы у Хатунцевых спросите, может быть, и пустят, — посоветовал пи-

сарь. — Семья хорошая, а дом — рукой подать, через улицу перейти только. Сегодня уж заниматься не будем; устраивайтесь, а завтра пожалуйте.

Я последовал его совету и пошёл разыскивать Хатунцевых. Пройдя мимо двух-трех неприглядных изб, я остановился перед большой, новой, крытой под глину, решив, что «хорошая» семья должна жить и в хорошем доме. Расчёт мой оказался на этот раз верным. На дворе поил лошадей высокий, совершенно седой старик.

— Дедушка, а дедушка, вы не Хатунцевы ли будете?

Старик посмотрел на меня слезившимися от старости глазами и ответил:

— Не слышу, родной, оглох. Кричи дюжей.

Я повторил вопрос над самым его ухом.

— Хатунцевы будем, Хатунцевы. Что надоть?

— Да вот, сказали мне, что вы пустите к себе на квартиру.

— На фатеру?.. Уж не знаю, родной; сходи вон в ригу[10], с Васяткой погутарь: он у меня хозяйствует, сын-то... В риге лошадям сечку режет. Сходи, може, пустит.

Я пошел к риге, стоявшей на гумне[11]. Васятка, мужик лет пятидесяти, резал на особом станке солому в снопах, которую подавал ему мальчонка лет девяти. При входе моем «Васятка» взглянул на меня искоса и потом стал опять крошить солому.

— Здравствуйте, Бог в помощь!

— Благодарим, — ответил он, не отрываясь от работы.

— Меня батюшка ваш — вон, на дворе лошадей поит — прислал к вам спросить насчёт квартиры. Пустите меня к себе на квартиру?

Он перестал работать и, внимательно осмотрев меня, спросил:

— А вы из каких будете?

— В волость, в помощники к писарю определиться хочу.

— Такъ-с. В писаря, значит?

— Да, да. Так как же насчёт квартиры-то?

Он опять начал крошить солому; искрошив сноп, ответил:

— Тесно у нас, потому — семья; четырнадцать тоже душ... Да ты один али с женой?

— Один как есть.

— Коли так, то и в клетушке летом до осени поживёшь, что тебе делать-то? А у меня клетушка почитай залишняя есть, опорожню — и живи себе с Богом. Сена тебе дам, полость можно послать; зима подойдёт, тогда подыщешь себе фатеру настоящую.

— А что возьмёшь с меня, Василий... как по батюшке звать?

— Иванычем звали... Да что с тебя взять-то? Сколько тебе Григорий-то Фёдорыч жалованья положил?

— Десять рублей.

— Ну, вот видишь! Что с тебя взять? И не знаю, право. Кормиться с нами будешь?

— Известно, с вами, — где ж больше?

— Ну, ну, — переходи, живи, — опосля сочтёмся. Ты где теперь стоишь-то?

— У Павла Павлыча, — знаете?

— У Пал Палыча? Как не знать, знаем...

Он ссыпал в клетушку нарезанную солому, взвалил ее к себе на плечи и пошёл к дому. Я ему крикнул вслед:

— Так я, Василий Иваныч, завтра перейду?..

— Ну, что ж, с Богом, — ответил он на ходу.

IV

Переночевав кое-как у Пал Палыча, я рано утром стал «переходить» к Хатунцевым. Мужиков никого дома не было, кроме старика, прилаживнего крюки к косам; в сенцах меня встретила молодуха-баба, с грудным ребёнком на руках, очень бойкая и говорливая.

— Куда мне тут идти? — спросил я. — Хозяин вчера обещал мне клетушку отвести под квартиру...

— Так это вы писарем будете? Сказывал, сказывал вчерась бачка за ужином; слыхали. Идите за мной, я укажу...

Она повела меня на двор. С правой стороны его тянулись навесы, под которыми стояли телеги, сохи и проч.; в глубине устроены были загородки для лошадей, коров и свиней, а слева был ряд клеток — иные бревенчатые, иные плетнёвые. К одной из них и привела меня молодуха; отворив дверь, я оглядел внутренность моего жилья. Сбоку стояли козлы, на них были положены доски, на досках сено, покрытое полостью, т.е. белым войлоком в $1^{1/2}$ арш. ширины и $2^{1/2}$ длины. По стенам, на вбитых кольях, висели решета, недоуздки, грабли и всякий хозяйственный хлам. В углу стояли пустые кадушки.

— Тебе тут очень даже спокойно будет!.. Ни тебе мух, ни ребята сюда не зайдут: живи на здоровье.

— Спасибо, спасибо, только вот темно, — окошка нет.

Она засмеялась.

— Да нешто в пуньках[12] или клетях[13] бывают оконца? Это вот в клетях, что при избах стоят, ну, там делают. Да тебе на что и окно-то? Кабы семья, а то выспался и пошёл. Ты платье-то вон на колышек повесь, дай-кось мне... Ишь, платье-то у тебя хо-орошее, барское. Ты сам откуда будешь?

— Я, умница, дальний, нездешний.

— Дальний?.. Что ж, здесь сродственники есть или нет? Ты где же жил-то до места?

— У Ковалёва, Сергея Николаевича.

— Сергея Николаевича!.. Как не знать, батюшка ты мой! Он, как едет на машину, всегда у нас лошадей берёт, потому своих жалеет — тут ведь пески пойдут. Так у него жили? В приказчиках, что ли?

— Нет, не в приказчиках, а так, до места.

— До места, понимаем. Он барин хороший; как не знать, знаем: бедному человеку завсегда уважение сделает. Когда проезжает, нашим ребяткам всегда двугривенничек на крендели даёт и нас, баб, иной раз дарит, коль молочка спросит напиться.

Словоохотливая баба не переставала рассказывать и расспрашивать, покуда я окончательно не прибрал своих вещей. Когда же я стал собираться уходить, то собеседница моя заволновалась.

— Ах, батюшки, я-то с тобой тут закалякалась, а варево ещё и в печь не становила. А я ноне ведь деньщица[14]... Ты у нас кормиться-то будешь?

— У вас.

— Ну, ну, — так приходи ужотка-сь завтракать. С нами снедать будешь аль один?

— Когда с вами, когда нет, — как дела в волости.

— Известно, известно, — там дела...

Я ушёл в волость. Пал Палыч сидел уже на своём месте и что-то строчил; писаря ещё не было. Я подсел к старику; он на мгновение оторвался от работы, как-то рассеянно взглянул на меня, быстро проговорил: «А, а, Н. М., пришли?» и опять углубился в писание, бормоча: «А посему... вышеизложенному... честь имею донести...» и передвигал со строчки на строчку бумагу, которую переписывал, футляр от своих очков, чтобы не перескочить через строку. Тут же на столе лежало ещё несколько бумаг; верхняя была написана на бланке земской управы. Я хотел её взять, чтобы прочесть от нечего делать, но Пал Палыч, заметив моё движение, быстро схватил бумаги и спрятал в стол.

— Нельзя, перепутаете; не люблю я этого. Да и Григорий Фёдорович увидит — сердиться будет.

Я на него посмотрел с удивлением — так этот сухой, деловой тон поразил меня. Позднее уж я понял, что Пал Палыч дома за стаканом чаю и Пал Палыч в волости — два лица совершенно разные. Сорокалетняя служба в волостях сделала из него пишущую машину, и только в домашней обстановке он становился похожим на самого себя; дома он решался и покритиковать начальство, и обругать писаря, и пороптать на судьбу; в волости же он был подчинённым, маленьким человечком — и только. Перед всяким начальством, начиная с писаря, он благоговел и никогда ему не перечил, к «бумагам» относился с благоговением, к мужикам — по-начальнически. Но стоило кому-нибудь из этих мужиков сказать: «Пал Палыч, брось сердиться, пойдём по стаканчику выпьем», как на лице Пал Палыча показывалась

широкая, радостная улыбка, и он говорил: «Ах, друг ты мой, спасибо, что старика вспомнил! Что ж, пойдём — стаканчик отчего не выпить». Они шли, и дорогой Пал Палыч ругал и волость, и службу свою «анафемскую», и писаря. Но, возвратившись из заведения, Пал Палыч мгновенно облекался в суровую оболочку дельца и на своего же приятеля обрушивался примерно такой тирадой: «Дурак, так дурак и есть! Сказано, нельзя этого сделать. Ступай к становому — одна дорога, дубина ты этакая, пойми ты! До вечеру мне с тобой говорить, что ли?» и т.д.

Таков был Пал Палыч. Впоследствии я привык к этим переходам от дружеского тона к деловому и никогда не заговаривал с ним в волости; но в данную минуту я никак не мог понять, чем это я разобидел моего добродушного старикашку? В это время в канцелярию вошёл «сам писарь». Я привстал немного и подал ему руку. Он сказал: «А, вы уже здесь?» и, сунув мне свои холодные пальцы, прошёл к своему месту. Минут пять длилось молчание.

— Вот вам бумага, снимите вот с этого предписания копию, — сказал, наконец, писарь, протягивая ко мне бумагу, но не глядя на меня.

Я взял бумагу — пол-листа — и циркулярное предписание исправника о починке гатей и мостов и стал переписывать его с дословною точностью. Окончив, я отступил на палец и сделал подпись исправника, а затем понёс свою работу показать писарю. В это время в канцелярию вошёл мужчина в белом кителе; он держал в одной руке клеёнчатое кепи, а в другой — классическую нагайку. Я сейчас же догадался, что это местное начальство, урядник. Он развалисто подошёл к писарю и, пожав ему руку, небрежно протянул её потом Пал Палычу, который, привстав, взял её, потряс и спросил: «А, а, Харитон Никитыч, здоровы ли себе?» Но Харитон Никитыч не расслышал, должно быть, этого вопроса, потому что занят был разглядыванием моей особы; я вертел папиросу.

— А это кто такой-с? — обратился «он» к писарю.

— Новый помощник мой! Разве не слыхали? Да-с, видите, господин хоть куда, а к нам на десять рублей пошёл. Должно быть, охота — пуще неволи!..

Как ни старался я сохранять хладнокровие, но не сдержался.

— Что вам за дело, господин Ястребов, поохоте я или поневоле пошёл к вам? Если я пошёл сюда, то единственно по указанию Павла Ивановича, а вовсе не из желания познакомиться с вами — в этом вы можете быть уверены.

— Ох-хо-хо, как строго!.. Испугались очень! — ответил Ястребов, хотя и вполголоса. — Конечно, если б не рекомендация Павла Ивановича, то никогда вам и не бывать тут: кто вас знает, кто вы такой?

— Для этого, — говорю, — существует полиция, обязанная удостовериться в моей личности, если удостоверения Павла Иваныча мало...

И я, вынув из бокового кармана бывший всегда при мне вид мой, подал его уряднику, тот поклонился, улыбаясь, и подал мне руку.

— Ах, зачем же-с?.. Позвольте познакомиться — местный урядник-с... Так в наши края на жительство-с?

— Да, на жительство.

— Вы уж позвольте бумагу вашу к г. приставу свезть. Я сейчас к ним еду, у крыльца и лошадь стоит, так, кстати, уж и свезу... Нельзя-с, сами изволите знать — времена нынче какие строгие пошли!..

— Сделайте одолжение, только не потеряйте.

— Ка-ак это можно-с! Ведь документ!.. Мы сами хоть люди и не очень образованные, а все-таки понимать можем-с...

Я ему ничего не отвечал, а, обратившись к писарю, подал ему свою работу со словами: «Я кончил».

— Хорошо, подождите! — был ответ.

Он неторопливо стал дописывать страницу. Поняв, что это с его стороны «фортель», чтобы заставить меня стоять перед ним в ожидании его резолюции, я отошёл к своему месту и сел; он с сердцем взял моё писание и стал читать. Дойдя до конца и посмотрев на подпись, он насмешливо скривил губы и едко захохотал.

— Ха, ха! Разным наукам обучаться изволили, а не знаете, как копию снять! Пожалуйте сюда, полюбуйтесь, Харитон Никитыч: новый исправник у нас появился, ха, ха!.. Подпись-то не в строку сделана!.. Разве так пишут?

Его нахальство вывело меня из терпения. Я резко ему заметил, что не терплю такого обращения, что советую ему попридержать свой язык и говорить лишь то, что требуется по службе. Этот отпор послужил мне в пользу: Ястребов уже не позволял себе впоследствии таких «начальническихъ» выходок и сделался вообще сухо-вежлив.

Возвращаюсь, однако, к первому моему знакомству с урядником. В тот же день, когда я сидел вместе с семьёй Хатунцевых за обедом и рассказывал им кое-что о себе, в избу вошел урядник.

— Хлеб-соль... А я опять к вам с докукой, почтеннейший Н. М.

Мужики привстали из-за стола и начали кланяться.

— Харитон Никитыч, милости просим, пожалуйте с нами обедать!..

— Некогда, благодарю покорно. К вам дельце есть, — обратился он ко мне. — Пожалуйте сюда на пару слов!

Я вышел за ним в сенцы.

— Господин становой пристав приказали вам сейчас к ним пожаловать. Очень нужно-с!

— Хорошо, я пойду, как пообедаю. Но для чего было из-за стола меня звать?.. А где он живёт, пристав?

— А вот как перейдёте мостик, на правой руке и будет их дом; сразу узнаете. Так вы уж поскорее, я буду в надежде, потому — строго приказали-с!

— Хорошо, хорошо. Пообедаю и пойду.

Я опять сел за стол; он ещё помялся в сенцах и, опять приотворив дверь, повторил убедительным шёпотом: «Так вы уж пожалуйста!»...

Встревоженные нежданным визитом урядника, мужики молча хлебали квас и посматривали на меня; наконец, Василий вскользь заметил:

— Должно, дела?..

— Да, становой что-то зовет к себе.

— Так! Ух, и становой же!..

— А что?

— Строг! Харитон Никитыч или другой там урядник, какой не угодит, он прямо по щекам, а десятских — так плетью лущит... Нет, у этого не забалуешься! Который к нему ежели десятский назначен, так чуть не молебны служит, идя в очередь.

— Что ж у него десятские[15] делают?

— Разное; что прикажут, то и делают: по домашней части или по хозяйству — что потребуется. Посевами они занимаются тоже...

Хозяин замолчал, боясь сказать лишнее. Впоследствии я сам был свидетелем такого эпизода. Сижу в волости, тут же и старшина от скуки позёвывает; входит волостной сторож и говорит:

— Матвей Иваныч! Костюха от станового пришёл, говорит — прогнали, не годятся, потому мал...

— Чем там мал? Для ча не годится? Каких ему ещё десятников надо?..

— Не могу знать. Только, говорит, у него молотьба нынче, так мужика ему заправскаго пришлите, а энтому всего 15 лет, он и цепа не подымет... А какое не подымет: он завсегда дома молотит!..

Послали другого десятского — мужика; хоть и не в очередь, а пошёл, потому что шутки со становым плохи.

В других станах, где приставы сельским хозяйством не занимаются, они получают от каждой волости, входящей в состав стана, 25 — 35 рублей в год на наём постоянного десятского; понятно, что все обязанности такового — позвать кого-нибудь, отнести бумагу — исполняет мальчуган лет 14.

После обеда я пошёл представляться по начальству. Про дом станового незачем было и спрашивать — так он выделялся из общей массы крестьянских изб. На крыльце с навесом вроде террасы, обставленном цветами, сидел пожилой мужчина в белом кителе нараспашку и курил большую самокрученную папиросу. У крыльца стоял с шапкой в руках мужик и о чём-то просил, низко кланяясь. При моём приближении мужчина в кителе крикнул мужику: «Отойди прочь, постой там — тогда позову». Мужик продолжал стоять у крыльца, приговаривая: «Уж вы, батюшка, ваше благородие...», но, заметив энергичный жест руки его благородия, поспешно отретировался. Я поклонился, становой смотрел на меня, попыхивая папироской.

— Я новый помощник писаря, урядник сказал мне, что я вам нужен.

— Да, я хотел спросить — кто вы такой?

— Странный вопрос... Из моего вида вы могли в подробности узнать, кто я такой.

Он помолчал, соображая что-то, потом усмехнулся.

— Да, паспорт... Нынче паспорта, гм... Как вы сюда попали?

— Очень просто: по назначению или, правильнее сказать, по рекомендации уездного предводителя Павла Ивановича Столбикова.

Сцена несколько изменяется. Меня приглашают сесть и хотя настойчиво, но уже вежливо расспрашивают — кто я, чем занимался прежде и проч. Я немногосложно отвечаю. Наконец меня просят написать на бумажке своё звание, имя и фамилию, а документ возвращают обратно. Я с улыбкой замечаю:

— Справки будут наводиться?.. Напрасный труд...

— Нет-с, это так, одна формальность, — замечает он, успокоительно улыбаясь.

Аудиенция кончается, и я ухожу, удостоенный на этот раз пожатия начальнической руки.

V

Таким образом завёл я знакомство с начальственными особами; теперь, по моему мнению, оставалось заняться делом, то есть знакомиться с сельским людом, наблюдать и изучать его жизнь и быть ему полезным, по мере сил своих, словом и делом. Но странная вещь — хотя я и жил в клетушке у заправского мужика, обедал и ужинал вместе с его семьёй, за что платил ему три рубля в месяц, хотя я служил в мужицком присутствии, занимаясь исключительно мужицкими делами, но сам мужик был ко мне не ближе, чем был в Петербурге, и волна народной жизни не касалась меня в своём беге. Мужик кормил меня, но постоянно давал чувствовать, что общение наше с ним случайно и безрезультатно: я был для него чиновником чужого ведомства, до него никакого касания не имеющего. На мои вопросы он отвечал лениво, неохотно, считая их к своему делу не идущими, и поддерживал со мной разговор всё больше на благородные, по его мнению, темы: рассказывал о соседнем приказчике, о бывшем старшине, о свадьбе, недавно состоявшейся у местного попа, о писарях и проч.; он делал это совершенно естественно, из любезности, желая мне доставить удовольствие и решительно не допуская мысли, чтобы я, писарь, горожанин, вообще — не мужик, мог бескорыстно и бесхитростно интересоваться мужицкими делами, и это обстоятельство, что он — мужик, а я — не мужик, давало себя постоянно чувствовать и воздвигало между нами непроницаемую стену, разделявшую весь мир, всё человечество, все интересы,

все вопросы и злобы дня на две стороны — мужичью и немужичью. Такое мировоззрение заслуживает подробного изучения, и я вернусь когда-нибудь к этой оригинальной странице из истории стремления интеллигенции к общению с народом; теперь же упомяну, что я чувствовал себя очень скверно некоторое время, покуда не постарался утешить себя мыслью, что в положении младшего помощника писаря нельзя свободно действовать и что я необходимо обречён на глупую канцелярскую работу без всякого живого дела впредь до получения места волостного писаря; тогда, думалось мне, дело другого рода: тогда у меня развяжутся руки, вырастут крылья, и мне представится полный простор для моей честной и плодотворной деятельности... Наивные мечты!

Так или иначе, а последняя мысль утешила меня и вдохнула мне бодрость переносить моё глупое положение. А глупого в моём положении было предостаточно: я прибыл делать живое дело, а мне давалось переписывать донесение о пропавшей у крестьянина Митина кобыле, поручалось нарезать конвертов, заделать почту, подшить бумаги к делам, составить описи к ним — словом, на меня возложена была самая неинтересная канцелярская чёрная работа, которой, кстати сказать, была целая бездна. Связи и смысла в моих работах не было никаких, и почему одно делается так, а другое — иначе, я совершенно понять не мог; механизм крестьянского самоуправления оставался для меня так же скрытым, как и в Петербурге, а денежных приходо-расходных книг Ястребов мне и в глаза не показывал. Я очень хорошо понимал, что всё это он делает мне назло, что нарочно меня держит на чёрной работе в надежде, что я не вытерплю и удалюсь подобру-поздорову; но я решился всё это претерпеть и добиться-таки своего, то есть познакомиться с делопроизводством в правлении; поэтому во время отлучек самого Ястребова я брал из шкапа дела и рассматривал бумаги, следя, какое исполнение производилось по тем или другим требованиям или предписаниям различных ведомств и лиц. И какая же масса разношёрстнейших ведомств и начальствующих лиц обращается в волостное правление с требованием немедленнейшего исполнения своих приказаний! Уездное по крестьянским делам присутствие, уездная и губернская земские управы, воинское присутствие, училищный совет, дворянская опека, полицейское управление, казённая палата, губернское правление, палата государственных имуществ, казначейство, мировой съезд и мировые судьи, исправник, непременный член[16], становой, судебный следователь, судебный пристав, губернский статистический комитет, агент земского страхования и проч. и проч. — всё это и все эти пишут: «немедленно доставить», «безотлагательно распорядиться», «с нарочным донесть», «лично явиться», разыскать, составить, оценить, выслать, описать, исследовать, «иметь наблюдение» и т.д., до бесконечности... У меня вначале в глазах зарябило, и я отчаялся когда-либо понять всю эту премудрость; с укором глядел я на 90 и 91-ю ст. «Общего Положения», в которых говорится о четырёх книгах, имеющих быть в волостном

правлении, и сравнивал эту ничтожную цифру с теми 38 книгами, которые велись в нашем правлении и в числе коих одних денежных было шесть!.. Меня, однако, утешал Пал Палыч, говоривший, что «не так страшен чёрт, как его малюют», и что единственные вещи, которые надо хорошо знать — это ведение денежных книг, земское страхование от огня и составление призывных списков на военную службу. Но я продолжал унывать, как вдруг мой патрон Ястребов сам, против своей воли, улучшил моё положение.

Однажды, вернувшись скорее, чем предполагалось, с одной из своих поездок по волости, он застал меня на месте преступления, т.е. разбирающим бумаги, подлежавшие исполнению. С сердцем взял он их у меня и, бормоча какие-то ругательства, запер в шкаф, а потом напустился на бедного Пал Палыча, грозя, что он прогонит его, если он дозволит мне ещё раз рыться в бумагах. «Тут может пропасть что-нибудь, а я отвечай за всякого»... Я решил написать Столбикову, что не имею никакой возможности научиться чему-нибудь у Ястребова, что он мне ничего не показывает, заставляя только делать конверты. Последствием моего письма было приказание Ястребову — познакомить меня со всеми делами и с ведением денежных книг; после этого распоряжения Ястребов сильно упал духом, перестал ломаться надо мной и хотя ничего не разъяснял, но позволял, сколько угодно, рыться в книгах и делах.

— Нажаловались на меня, — говорил он, — что я заставляю вас одни конверты делать...

— И конверты уметь делать не мешает, — отвечал я ему в тон, — но странно было бы, если б я забрался к вам за тысячу вёрст с одною целью — научиться делать конверты!..

Так шли мои канцелярские занятия; ну, а знакомство с народом, исследование его быта и проч.? Это, как я уже говорил, вполне отсутствовало. Я, действительно, сблизился с моими хозяевами настолько, что они перестали стесняться в моём присутствии, но в последнее время моего пребывания в Демьяновском я их вовсе мало видел, потому что наступила уборка хлеба и они по целым неделям, от воскресенья до воскресенья, проживали на поле, а если и приезжали домой, то только чтобы поужинать, лечь спать и назавтра встать часа в два ночи и опять ехать на поле; с другими же крестьянами я вовсе не мог сходиться, потому что для этого не представлялось никаких удобных случаев. В волость всякий приходил за своим делом, крестился на образа, кланялся всем присутствующим и начинал говорить об интересующем его предмете; чаще всего этого была жалоба на кого-нибудь. В таком случае следовало подробное изложение обиды с бесчисленными отступлениями, прерываемыми нетерпеливыми окриками писаря: «Короче, говори толком, в чём же дело?» Из слов жалобщика всегда оказывалось, что обидчик его кругом виноват, что он вор, мошенник и разбойник. Конечно, легко было заметить, что некоторые обвинения чересчур преувеличены и даже противоречат одно другому, так что

весь рассказ иногда казался сомнительным и приходилось с горечью сознаваться, что эти «рассказы из народного быта» правильного понятия о самом быте не дадут. Ещё приходили брать паспорта, получать и вносить деньги, свидетельствовать расписки и проч.; словом, в волости мы, служащие, были заняты совершенно сухо официальным делом, дававшим очень мало пищи для наблюдений. Когда же случалось, очень впрочем редко, разговориться с кем-нибудь, то лишь речь заходила о народном быте, рассказчик начинал обыкновенно говорить так: известно, как лучше! Ещё бы, как можно!.. А и так сказать, где ж нам: мы народ тёмный, а вы учёные... Помаленьку, слава Богу — и проч. в таком же отрывочно-непонятном роде. Сначала я думал, что именно моя личность и именно мое неумение разговоры разговаривать производят такое отталкивающее впечатление на мужиков, но впоследствии я убедился, что сюртучник и лапотник — два взаимно отталкивающихся элемента и никаких общих интересов, по мнению лапотника, в данное время не имеют; если же сюртучник представляет собой хотя бы самое микроскопическое начальство вроде волостного писаря или письмоводителя станового, то всякий трезвый крестьянин старается по возможности укрыть всё своё нутро, свои помыслы, желания и надежды от взоров ненавистного племени, не умея в представлении своём отделять личность от занимаемой ею должности и думая обо мне, например, не как о человеке, Н — е М — че, его куме и проч., а непременно как о писаре; пьяный же мужик нередко ругается и придирается, вымещая на попавшемся ему поперёк дороги сюртучнике старинные обиды, когда-нибудь нанесённые ему другими сюртучниками и «стрюцкими». Эта любопытная особенность народной жизни, это многовековое убеждение народное, что сословие стрюцких — особь статья, а «хрестьянский народ» — тоже особь статья — этот камень преткновения для интеллигенции в её стремлении к сближению с лапотным миром будет ещё долго служить темой для исследования и изучения, и я ограничиваюсь здесь только этим беглым указанием на существующую испокон века странную, на первый взгляд, но совершенно понятную, с народной точки зрения, вековую сословную рознь.

Итак, приходилось довольствоваться тем материалом для наблюдения, какой представляли собой волостные заправители и близко стоящий к ним люд. Писарь Ястребов был пришлый, хотя уже обжившийся в Демьяновском человек; происходил он из кантонистов и в молодости был специально подготовляем к писарской карьере; затем служил двенадцать лет военным писарем в полковой канцелярии и, наконец, получив по случаю бельма на глазу чистую отставку, при помощи какого-то покровительствовавшего ему начальства водворился в Демьяновском, где к началу моего рассказа благополучно доживал девятый год. Характеристичен анекдот, который мне о нём рассказывали.

Когда он служил старшим писарем в полковой канцелярии, то на его, конечно, обязанности лежало писание отпусков, отставок и проч. Ни один уволь-

няемый не мог миновать острых когтей Ястребова, всегда умевшего под тем или другим предлогом — в случае непокорности солдатика — затянуть выдачу билета на неделю и больше; понятно, что всякий, желая поскорее вырваться из душных казарм на милую родину, отдавал последнее, лишь бы развязаться со «старшим». «Прихожу это я, — повествует один солдатик, — в канцелярию за билетом. Не готов, говорит, приходи завтра. Прихожу назавтра — не подписан, говорит. Что ты будешь тут делать?.. Аж затосковал я; ну, товарищ мой один, дай Бог ему доброго здоровья, и научил: «Ты, говорит, поклонись старшему писарю, да и отблагодари его, а то неделю целую промаешься». А чем я его буду благодарить, когда у меня два двугривенных всего и капиталу?.. Ну, всё ж-таки я не сробел, подхожу к нему и говорю: так и так, Григорий Фёдорыч, уж вы меня не задержите! А он-то и спрашивает: что дашь? Ничего у меня нет, говорю, вот два двугривенных на дорогу есть, да и всё тут. Покачал это он головой, посмотрел мне на ноги и говорит: иди за мной. Пошёл я. Приводит он меня к себе на фатеру и говорит: скидай сапоги. Взяло меня тут сумление — Господи ты Боже мой, что ж это будет? Одначе снял. Выбирай, говорит, из этих, какие тебе по ноге... И показывает мне — вдоль стенки пар двадцать сапог стоят, и все худые, должно на рынке самые что ни на есть дешёвые выбирал. Батюшка, говорю, да мне триста вёрст идти, не выдержат эти-то! Как хочешь, говорит, я не принуждаю. А сам смеётся... Подумал я, подумал — была не была — отдал ему свои сапоги — четыре с полтиной по тогдашним ценам стоили новые как есть, и взял себе пару из его магазея: красная цена сапогам три четвертака[17]!.. Ну, врать не хочу, благородно опосля этого он обошёлся, в тот же день и билет выдал, значит, ступай на все на четыре стороны»...

Хищнические инстинкты Ястребова, конечно, не замерли в Демьяновке, а только видоизменились. Ни одно хлебное дело не проходило через его руки безнаказанно: кабатчики и не являлись за засвидетельствованием общественного приговора без большей или меньшей — смотря по доходности кабака — мзды для Григория Фёдоровича; торговцы при предъявлении документов в начале нового года также не забывали отблагодарить «нужного человека»; всякие приговоры, взыскания по исполнительным листам, мало-мальски ценные иски в волостном суде — всё это оплачивалось известным процентом в пользу Ястребова, и благосостояние его заметно росло. При тридцативосьмирублёвом жалованье он ухитрялся хорошо одевать свое семейство из шести душ, воспитывать старшего сына в прогимназии и жить вообще в достатке. Я его застал строившим себе дом о четырёх комнатах среди села Демьяновского на общественной усадьбе, отведённой ему обществом в награду за полезную службу в вечное пользование; ныне он преблагополучно уже жительствует в своём новом доме. Но как ясное солнце закрывается иногда тучами, так и в безмятежном житье Ястребова был ненастный период: предшественник настоящего старшины оказался человеком алчным, властолюбивым и самостоя-

тельным. С самого же начала его служения у него пошли «контры» с писарем: он пожелал перехватить те куши, которые по привычке плыли в руки к Ястребову. Дело в том, что прежние старшины, смирные и безграмотные, были совершенно в руках у писаря и довольствовались теми лишь крупицами, которые он находил нужным отпускать им; этот же старшина, Живоглотов, понадеясь на свою грамоту и не умея соразмерять своего аппетита с умением жить, стал вырывать у Ястребова куски прямо из-под носу; тот тщетно старался его урезонить, бранился, ссорился, но все напрасно; наконец, после года мучений он решился поддеть самого старшину на удочку, что не было трудно, — ввиду разыгравшегося у Живоглотова аппетита. Благодаря стараниям Ястребова выплыло наружу дело о подложно составленном приговоре касательно сдачи кабаков в селе Демьяновском племяннику старшины; при других обстоятельствах дело могло бы остаться шитым-крытым, пришлось бы только раскошелиться, вёдер десять поднести обществу да раздать главнейшим мироедам по синенькой[18]. Но вступился Ястребов, донёс куда следует, заварилась каша, и Живоглотов угодил на полтора года в арестантские роты. Ястребов торжествовал, будучи уверен, что участь Живоглотова послужит уроком для будущих старшин, однако ошибся несколько в расчёте.

Дельцов новейшей формации можно сравнить с полчищами неокрылившейся саранчи: раскладывают огни, копают канавы, чтобы задержать её ход — всё напрасно: передовые гибнут ужасной смертью, но трупы их тушит огонь и засыпают канавы, и вторые ряды, не ужасаясь сценами виденной ими агонии, бодро шествуют по их телам к намеченной цели. Ссылки Митрофании, Овсянникова, Юханцева не испугали Рыкова, Мельницкаго и Свиридова[19]; участь Живоглотова не устрашила преемника его, Матвея Иваныча, который хотя и не обладал безмерной алчностью Живоглотова, но тоже не любил упускать своего и поэтому тоже стал в не совсем приязненные к Ястребову отношения. Я скоро заметил их антагонизм, тем более что старшина как будто заискивал немножко у меня, как у своего естественного союзника, и даже успел меня затянуть, совершенно для меня незаметно, в интригу против писаря: интересы их сталкивались, конечно, и ранее, но следующий случай совершенно обострил их взаимные отношения.

В один прекрасный августовский вечер обыкновенно безлюдная площадка перед волостным правлением кипела народом: это собирался обычный в это время года волостной сход для производства полугодового учёта денежных сумм, обращавшихся в кассе правления (для не совсем знакомых с порядками крестьянского самоуправления поясню, что волостной сход составляется из всех сельских старост и сборщиков податей и из выборных крестьян по одному от каждых десяти дворов). Это был первый сход, на котором я присутствовал, и меня сильно интересовало имеющее на нём происходить. Группы выборных, по три и по пять человек, расположились в тени растущих возле здания прав-

ления акаций и лениво перекидывались отрывочными словами; у пожарного сарая стояли телеги и лошади приехавших из соседних деревень; хозяева задавали лошадям корму, не рассчитывая, очевидно, скоро возвратиться восвояси; день был праздничный, нерабочий, и никто не роптал на невольный прогул. Лениво отдыхали измученные на летней работе члены мужицких тел, с удовольствием лежали владельцы их на спине и поглядывали на чистое, голубое небо, сулившее славную уборку проса... Картина была бы идиллической, если бы не группа в несколько человек, очевидно, побывавших уже в белой харчевне и теперь задорно о чём-то переругивавшихся между собой. Старосты со значками на груди толпились в канцелярии и нетерпеливо переминались с ноги на ногу. Ястребов уже несколько раз спрашивал: «Ну, все?» — на что слышались ответы: «Подтыкинского старосты ещё нет... Петуховский не приезжал, кажись»... «Что врёшь-то, петуховский здесь!» «И то? Ку-быть* нет»... «Ан здесь, в трахтире!» Противник умолкал, не находя ничего странного в том обстоятельстве, что петуховский староста одновременно может присутствовать и здесь, и в трактире. Наконец, старшина, несколько раз уже вспотевший в душной комнате, измученный долгим ожиданием подтыкинского старосты, возгласил: «Ну, выходите да собирайтесь живее!» — и все стали выходить наружу. Последним вышел Ястребов с кучей книг под мышкой: это были денежные книги, которые следовало поверить. На крыльце поставлены были стол и два стула — для писаря и старшины. Ястребов стал громко выкликать имена и фамилии выборных, отмечая по списку отсутствующих; по окончании переклички, сосчитав количество явившихся, он объявил, что сход полон, иначе сказать, что на нём присутствуют более половины всех лиц, имеющих право голоса на волостном сходе.

— Теперь, господа старички, — продолжал он, — нам надо поверить, т.е. учесть суммы за полгода, с 1 января по 1 июля. Так слушайте же!

— Эй вы! Слушайте все! — эхом повторил за ним старшина.

Ястребов стал читать заранее приготовленный приговор, в котором после обычного вступления говорилось: ...«Производили учёт денежных сумм, обращавшихся в нашем волостном правлении, причём оказалось: к 1-му января 1881-го года налицо состояло волостных сумм 643 р. 23 к., с 1-го января по 1-ое июля поступило на приход 1024 р. 89 к.; за это время израсходовано 1430 р. 65 к., так что к 1-му июля и т.д.»; в том же роде — относительно переходящих сумм, мирского капитала, штрафных сумм и проч. В конце приговора значилось: «Нашли произведённый расход правильным, а потому постановили: утвердить его, в чём и подписуемся»... По прочтении этого документа Ястребов громко спросил: «Согласны? Так, что ли?» И старшина поддержал: «Согласны?» — Десятка два голосов крикнуло: «Согласны!»

* «Ку-быть» — испорченное «как будто».

— Може*, кто хочет книги али суммы поверить? — спросил опять старшина, и на этот раз Ястребов его поддержал:

— Подходите, господа, кто желает!

— Ну, где там!.. Стоит возжаться... Са-агласны!..

— Так подымайте руки, — крикнул старшина, и сотня рук, как бы принося какую-то клятву, поднялась к голубому, безоблачному небу.

Так происходил учёт, и, как после я на личном опыте узнал, он почти всегда и всюду так происходит; да это и понятно: где же выискаться из числа совершенно безграмотных крестьян охотнику поверить шесть денежных книг с тысячными приходами и расходами? Это совершенно невозможно, и это отлично известно как самому сходу, так и волостным, предлагающим сходу — «для формы» — учесть их. Действительные же учёты хотя и бывают, но в большинстве случаев лишь при смене одного старшины другим: тогда затрагиваются интересы вновь поступающего старшины, и он, а не сход, с помощью писаря, а иногда и постороннего счётчика, которому доверяет, старается точно определить ту сумму, которую ему следует получить с рук на руки; вот при этих-то нефиктивных учётах и раскрываются растраты, влекущие за собой скамью подсудимых и арестантские роты. Обыкновенные же полугодовые учёты — одна формальность, и никогда далее чтения заранее написанного приговора и «дачи на него рук» не идут. Конечно, явление это довольно печально, так как указывает на отсутствие сознания общественной солидарности и на господство начала «моя хата с краю» и «лишь бы моё при мне»; но, чтобы не слишком сурово относиться к демьяновцам, я просил бы читателя сгруппировать на мгновение в своей памяти всё то, что было им читано или слышано об «учётах» в наших земствах, думах, акционерных компаниях и благотворительных учреждениях... Читатель непременно должен припомнить и согласиться, что часто и очень часто учёты производятся в указанных учреждениях так же, как и на крестьянских сходах: демьяновцы, не желая (и, заметьте, почти не умея) контролировать своего начальства, поднимают руки, изъявляя этим согласие на всё, написанное в приговоре; а мы — пайщики, гласные или члены-благотворители — тоже не находим возможным нанести стоящему во главе дела Петру Иванычу или Ивану Петровичу личное оскорбление проверкой его счётов и отчётов: подписано — и с плеч долой!.. «Пожалуйте хлеба-соли откушать!..» А демьяновцам говорят: «Ставлю ведро!..» Вот и вся существенная разница между нашими и их сходками...

После учёта произошёл некоторый перерыв: стали шутки шутить и о своих делах толковать; Ястребов любезничал с десятком выборных, столпившихся около его стола.

— Вот сколько их, книг, — все денежные.

— Поди ж ты! Известно, а мы что знаем?..

* «Може» — испорченное «может быть».

— Да, большие тысячи берегу, потому что старшина ведь мною только и держится. Хоть сумма и у него в руках, а он её и счесть порядком не может.

— Куда уж!.. Известно, тут ведь тоже надо с умом, а так пойди — сунься-ка!..

— Приезжал намедни сам губернатор, спрашивает —«книги»! Я ему и выволок вот эту кучу, говорю «денежные», потом ещё и ещё кучу — он смотрит, а я всё таскаю...

— Хо-хо-хо-хо!.. Так-то!.. И смотрит, говоришь?.. Должно, думал, тоись про себя... а у нас ведь не как-нибудь, в аккурате значит... Ну, ловко!

— То-то, в аккурате! Я стараюсь, ну и вам хорошо.

— Это конечно... Что и говорить!

— Я всегда ваше добро соблюдаю. Вот теперь скоро зима подойдет, опять училище топить надо будет, а сколько вы соломы в него пожжёте? И напрасно совсем: в нём две комнаты совсем лишние, и печка в них особая, её тоже зиму-то протопить чего-нибудь стоит? А вот пустили бы меня в эти комнаты жить, я бы и печь эту топил: и вам бы барыш, и меня бы уважили!..

— Это что! Это пустое!.. Нам что — убытка нет. Известно, коли лишние, отчего же не жить?.. Только ты нам, Григорь Фёдорыч, поднеси магарычик, хоть полведра...

— Много, старички, не из чего: топка там большая будет, убыток один. Четвёрочку[20] могу...

— Ну, что из неё делать — бороды не обмочишь!.. Ты уж не жмись, поднеси старикам! Уважь, и мы тебя не забудем...

— Ну что ж, так — и так. Только как общество?..

Один из выборных, уже навеселе, шепнул что-то на ухо Ястребову, а потом что есть силы заорал:

— Старички, господа пятидворные! Послухайте сюда!

Шумный говор несколько затих. Старшина, всё время тоже беседовавший с другой группой, с неудовольствием спросил кричавшего:

— Ты чего глотку дерёшь, идол? Чего надыть?..

— Я сейчас, Матвей Иваныч. Я одно словечко... Так вот, старички, что я думаю: училища наша нам один убыток, соломы кажинную зиму травим копён триста; шут её знает, куда идёт такая прорва!.. А всё потому, что хоромин в ней много залишних, а на кой их ляд зря топить? Учительша, известно, рада, что ей простору много, ну, а нам это не антирес! Теперь Григорий Фёдорыч, писарь, от себя желает всю зиму две хоромины отапливать — ну чтобы ему и жить там. Так как, старички, согласны будете? Полведра жертвует!.. — особенно громко выкрикнул в заключение оратор.

— Жалаим, жалаим!.. — крикнули с полсотни человек и громче прочих те избранные, которые перед этим торговались с Ястребовым.

Но тут внезапно вмешался в дело старшина; он мгновенно стрях-

нул с себя свою апатию и азартно стал выкрикивать, жестикулируя руками:

— Старики! Это не в порядке, так нельзя!.. Как же теперь общественское здание, учёба там, начальство разное наезжает, и, к примеру, писарь поросят заведёт либо кур?.. Нехорошо будет. Учительше опять стеснение — хоромину у ней отнять надо... Это не дело, я так печать прикладывать не буду! А в мыслях у меня — надо сделать вот как: у нас теперь два магазея[21], новый ежели пустить под хлеб, а старый перечинить и училище из него сделать, он как раз выйдет в четыре покоя, а энто училище продать с укциона, да на деньги, что выручим, и починить магазею. Так ли я говорю?..

— Так, это что ж!.. И так можно, — поддержали его с десяток голосов.

— Не надо, не надо, — кричали в другой стороне. — Опять деньги гноить на чинку!.. Знаем уж, наслышались об этих штуках довольно!..

— Дубина ты неотёсанная! Ты пойми, чинить эвто училище тоже ведь надо? А где денег возьмём?..

— А ну те и с училищем! Так вовсе его к ляду!..

— Дубина так дубина и есть!..

— Сам съешь!..

— Брось его, что с ним толковать...

— Старики! Григорь Фёдорыча пустить?

— Пустить!.. Продать!.. Ну их в болото, пусть по-старому остаётся!.. Пустить!.. Не надо!.. Прода-ать!..

Писарь отошёл в это время в сторону с недавним оратором; они меня не замечали и жарко шептались:

— Ты не сумлевайся, Фёдорыч, али впервое?.. Ставь, говорю, полведра, и вся недолга...

— Поставить не долго, да что выйдет-то?

— То и выйдет, что все к ней потянутся, а ты всех и пиши к приговору.

— Ну, ладно, а вам потом, кто понужней, особливый магарыч.

— На этом спасибо...

Шепчущиеся уходят. Через минуту я начинаю замечать, что крики постепенно стихают, но не потому, что мужичьи глотки охрипли, а потому, что толпа стала быстро редеть, устремляясь по направлению к «заведению», где поставлена была выговорная водка. Старшина гневно махнул рукой и пошёл в волость; сход, таким образом, кончился.

Подвох в этом деле со стороны писаря был совершенно ясен: он приобретал за полведра (ц. 2 р. 60 к.) удобную квартиру с отоплением, потому что и маленькому даже понятно было, что писарь будет пользоваться бесцеремонно училищным топливом и самое большее, что истратит копны две соломы — для отвода глаз. Такое хищение общественного скудного пирога производилось на моих глазах ещё впервые, и я с живейшей энергией, достойной лучшей уча-

сти, принялся действовать против писаря, естественным образом найдя себе в старшине горячего союзника. Не зная оборотной стороны медали, я думал, что старшина, так же как и я, бескорыстно хочет решить училищный вопрос выгоднейшим для общества способом. Правда, я с ним пытался спорить и доказывать, что невероятно, чтобы приспособление хлебного амбара под училище стало дешевле хотя бы и обстоятельного ремонта крытого железом училищного здания, но, слыша энергичные возражения старшины и не имея ни малейшего понятия о стоимости ремонта, я должен был в конце концов уступить.

Между тем Ястребов не дремал и уже написал приговор волостного схода относительно разрешения ему занять две училищные комнаты, и двое из шестерых грамотных, бывших на сходе, уже приложили руки к этому приговору. Старшина, узнав об этом, раскипятился и потребовал, чтобы приговор был уничтожен; он обещал во всяком случае к нему своей печати не прикладывать, что делало de facto приговор недействительным. У него с Ястребовым произошла по этому поводу крупная ссора.

— Ещё погоди — дай срок, увидим, чья возьмёт! — кричал старшина.

— Ладно, не таких объезживали!

— Не объездишь... Подавишься!

— Не подавлюсь, — подтрунивал Ястребов.

Вскоре после этого как-то в отсутствие писаря старшина спросил у Пал Палыча, где лежит приговор об училище.

Пал Палыч усердно щелкал на счётах.

— Эй, Палыч, оглох, что ли? Дай приговор, говорю тебе.

— Эх, Матвей Иваныч, собьёте, некогда. Спросите вон у Н. М.

— Да я не знаю, где он, — заметил я.

— У Григория Фёдорыча в столе, — быстро ответил Пал Палыч и продолжал как ни в чём не бывало стучать на счётах.

Я нашёл между прочими бумагами приговор и, показывая его старшине, сказал:

— На что он вам?

— А вот на что!.. — И приговор, выхваченный у меня из рук, оказался во мгновение ока изорванным в клочки.

— Пусть теперь собирает руки, пусть теперь в училище переходит: я его оттуда метлой!.. — говорил старшина.

Пал Палыч как бы и не слыхал шума от разрываемой бумаги и продолжал невиннейшим образом подводить итоги.

— Ах, зачем вы это!.. — вырвалось у меня. — Вы и так могли бы сделать его недействительным: стоило бы только не прикладывать печати, созвать новый сход...

— Ну, эта музыка-то долга! Вот так-то лучше... Хо, хо!..

— Да ведь он может новый написать?

— Не-ет, не посмеет! А то опять тоже... Жалься на меня, сколько влезет, а я не попущу!..

Старшина ушёл, ушёл и я чай пить, а Пал Палыч, к удивлению моему, от чая отказался и продолжал неистово щёлкать костяшками счётов. Я пил второй стакан, когда волостная пара подкатила Григория Фёдорыча к волости; вскоре затем оттуда вышел Пал Палыч и присоединился к моему самовару.

— Что это вас ныне не дозовёшься чай пить, Пал Палыч? Что вы там экстренное считали?

— Мм... ведомость о хлебных магазинах.

— Да ведь это к 1-му числу, а нынче только 24-ое?..

— Так Григорий Фёдорыч приказали.

К окну подходит десятский и говорит:

— Н. М.! В волость идите, писарь требует.

— Меня?..

— Вас. Пожалуйте скорее.

— Ладно, вот допью стакан. Что это он меня зовет, Пал Палыч? Ни разу ещё не бывало...

— Не знаю-с, не знаю-с, ангелочек мой!.. Да воскреснет Бог, и расточатся... — мурлыкал Пал Палыч, равнодушно барабаня по столу своими короткими пальцами.

Только что я перешагнул порог канцелярии, как Ястребов, задыхаясь от злости, говорил:

— Отлично-с, почтеннейший, отлично-с! Верно, в Петербурге научились казённыя бумаги рвать?.. Шуры-муры с старшиною разводить...

— Я и в мыслях не имел рвать вашего приговора, а только достал его из стола по требованию старшины.

— Только достали, ха, ха!.. Не имели никакого права-с доставать! Вы младший, ещё не утверждённый помощник, и не смеете в моих бумагах рыться! Вы так все бумаги у меня со старшиной порвёте, а я отвечай за вас!..

— Однако Григорий Фёдорыч...

— Что там — Григорий Фёдорыч! Знать я ничего не хочу-с. Завтра же всё Павлу Иванычу будет известно, — пусть полюбуется...

— На кого из нас любоваться-то будет, — сказал я и вышел из канцелярии, чтобы не слушать расходившегося ненавистника.

Пал Палыча уже не было дома: он куда-то успел уйти. Несомненно было, что он счёл своим долгом, в видах самосохранения, сообщить Ястребову, кто дал старшине приговор; понял я теперь, почему он так усердно щёлкал на счётах, покуда я доставал приговор, а старшина рвал его... Поздно вечером, когда я, уже отужинав, ложился спать, в клетушку ко мне ввалилась грузная фигура Пал Палыча; он скорее упал, чем сел на кучу сложенных в углу хомутов. Глаза его были мутны, лицо в поту: он был жестоко пьян.

— Проклятый, проклятый, ястреб кривой!.. Держит меня в когтях, не вырвешься. И что ему от меня надо? Нет, погоди, и на нашей улице будет праздник... Я ведь свинья, ангел мой; ты не сердись на старика, на пьяного дурака... Ведь боюсь я его — без куска хлеба оставит, на улицу выгонит! Боюсь, ох боюсь, потому и свинья!..

Я старался заснуть, но не мог, и потому поневоле слушал жалобы бедного старика.

— Теперь Пал Палыч из чести вон, теперь он никому не нужен... А бывало, возьмёшь волостного голову за бороду — мотаешь, мотаешь его, пока рука устанет, ну бросишь... Ястребов теперь помыкает тобой, как старой шваброй. Терпи, дурак, за то, что глуп был! Сколько денег в руках бывало, ничего не сберёг, всё прахом пошло!.. Ну, и терпи. А тоже ведь от короны служил, от ко-ороны, в четырнадцатом классе считался... Да, Ястребов, шалишь... Так-то!..

Бормотания становились всё тише и тише, и наконец гость мой незваный громогласно захрапел. Утром, когда я проснулся, его уже не было: ушёл, должно быть, чуть свет в кабак — на него нашёл запой...

Быстро стали чередоваться «события» в нашем демьяновском миру. На другой день после объяснения моего с писарем он привёл свою угрозу в исполнение — отправился жаловаться к Столбикову; я был совершенно уверен, что Столбиков не обратит никакого внимания на донос Ястребова — но ошибся. Ястребов, вернувшись, сообщил мне с ехидной улыбкой, что «Павел Иванович требует вас к себе для объяснения». Я не ожидал такого пассажа, но делать было нечего, и я отправился на допрос; обидно было, что доносу Ястребова придано значение.

Славянофильствующий начальник мой принял меня на этот раз гораздо холоднее, чем в предыдущий, и хотя предложил мне сесть, но самым начальнически-небрежным тоном. Я передал ему историю об училище, пассаж с приговором и неожиданно получил замечание:

— Видите ли, А — в, я предупреждал вас, что вы входите в новый мир, где существуют свои обычаи и нравы...

— Да помилуйте, Павел Иванович, какие это обычаи! Это просто явное хищение...

— Мм... Хищения я тут не вижу; Ястребов у меня на отличном счету, и то, что он делает, пустяки в сравнении с тем, что делается в других местах... Вы же сразу стали в такие резкие с ним отношения, что ужиться вам будет уже трудно.

— Не трудно, а невозможно, и я покорнейше прошу вас, Павел Иванович, перевести меня куда-нибудь в другую волость.

— Хорошо, я подумаю.

Если я ошибся в расчётах относительно доноса Ястребова, то и он ошибся относительно результатов моего объяснения со Столбиковым. Впоследствии,

посвященный в тайны нашего уезда, я узнал, что Ястребов первый фаворит Столбикова и что не было ещё примера, чтобы какая-нибудь кляуза, пущенная Ястребовым, осталась без всяких последствий. На этот же раз всё дело кончилось тем, что я через неделю получил уведомление от Столбикова об открывшейся в Кочетовской волости[22] вакансии на место волостного писаря и что я могу ехать туда принимать должность. Но Ястребов всё-таки торжествовал: я, как неудобный сожитель, был от него убран. Ввиду моего сомнительного поражения, он сильно помягчел перед моим отъездом, тем более что я становился теперь ему товарищем: он мне обязательно давал указания, как принимать должность, расхваливал место в Кочетове и в заключение ехидно добавил:

— И знаете, что я вам скажу, Н. М.: не суйтесь никогда в воду, не спросясь броду, особенно в незнакомых местах. Вы у нас человек новый, наших порядков и делов не знаете и хотите с налёту рассудить, кто прав, кто виноват. Вот вам не по сердцу пришлось, что я хотел двумя училищными комнатами воспользоваться, и на этом основании вы стали тянуть руку старшины. А этого небось не знали, что он шёл против меня только потому, что сам метил не на две комнаты, а на всё училище?..

— Это каким родом?..

— Очень просто-с. Училище стоит на базаре, на самом бойком месте, вот ему и хотелось переделать старый амбар под новое училище, старое же училищное здание вместе с местом купить с торгов — а он, покуда старшиной, купил бы его задарма — да и перевесть туда харчевню, которую содержит на имя свояченицы... Поняли-с?

Да, я понял — и устыдился своей «непрактичности»...

VI

С очень понятным чувством тревоги подъезжал я к селу Кочетову. Вот место, где я должен был стать лицом к лицу с «народом», вот арена, на которой я впервые могу употребить свои силы и знания на помощь трудящимся и обременённым, вот близится разгадка мучивших меня сомнений и недоумений... Теперь всё зависит от меня, и только от меня: сумею я воспользоваться обстоятельствами, сумею я понять и быть понятым — и моё внутреннее «я» осветится ровным, спокойно-сознательным светом; не сумею — и опять хаос представлений, смешение понятий...

Село Кочетово раскинулось двумя длинными рядами дворов версты на три; под селом протекает небольшая, летом почти пересыхающая речка; в низинах, близ речки, растёт местами тощая ольха, а кругом, в другие три стороны, тянутся, покуда глаз хватит, поля, поля и поля... Не на чем остановиться глазу поотдохнуть; нет уютных, прелестных лесных ландшафтов, так изобиль-

но разбросанных в северных губерниях России; природы здесь как будто нет, есть только материал для земледельческого труда — чернозём. Мне, коренному жителю севера, привыкшему к нашим дремучим лесам, освещённым кое-где ясно смеющимися полянами, прорезанными прихотливыми изгибами неумолчно журчащего ручейка, мне очень скучны казались и местность, и люди, и даже само солнце того края, куда забросил меня порыв своенравной судьбы. Уже три года живу я здесь среди голых полей, но не могу забыть поэтических картин моей родины; знакомство же с людьми, живущими на этих безбрежных полях, еще более укрепило во мне антипатию к этим равнодушным, тупо самодовольным, жирным полям. Люди здесь гораздо жестче и бессердечнее, чем у нас на севере; в них нет поэтической жилки — мать природа не научила их пониманию прекрасного и изящного; не слышно здесь песен, кроме бессмысленного визжания девок и баб, одетых безвкусно пёстро, с громадными золочёными треугольными головными уборами, нет здесь ни сказок, ни былин нашего севера, нет игр и забав нашей удалой молодёжи... Жевание семечек подсолнуха да кулачные бои — единственное развлечение в праздничные дни; самая обыкновенная из забав — горелки, не говоря уже о хороводах, — здесь неизвестны. Соберутся девки у кабака в кучу и начнут визжать что-то непонятное, с припевом: ай-ле-ли, ле-ли, а парни либо сидят в кабаке и учатся у старших глотать водку, либо забавляются угощением друг друга пинками и подзатыльниками... Старшие, т.е. домохозяева-мужики, народ сухой, узко положительный; за всё это время мне не случалось ни разу натолкнуться на человека, живущего не исключительно мыслью о рубле, а интересующегося чем-либо умственным. Северный мужик имеет своё миросозерцание, своё толкование, подчас поэтическое, для разнообразнейших явлений жизни, его занимают и тайны природы, и чудеса мироздания, и вопросы веры; встречаются поэтические натуры, обессмертившие себя в некоторых произведениях нашей литературы; есть аскеты, фанатики, люди мысли, люди убеждения — есть народная интеллигенция — в Кочетове и на тридцать вёрст кругом, т.е. насколько я знаю эту местность, — нет её: всё здесь живёт рублём и из-за рубля. А, между тем, народ здесь вдвое и втрое богаче тверитянина или новгородца; казалось бы, что ему представляется больше досуга для работы мысли, потому что он не так забит нуждой, как северянин, и можно было бы ожидать, что он разовьёт в себе интеллект настолько, насколько никогда не развить его новгородцу с вечно болезненно раздутым брюхом от мякины пополам с осиновой корой... Но это ошибка: воронежец гораздо тупоумнее, гораздо ограниченнее потомков тех неспокойных людей, которые ватагами ходили изведывать новые края, потешить раззудевшуюся молодецкую руку, а дома у себя изгоняли нелюбого князя, приглашая другого, и долее других племён отстаивали от алчности и властолюбия татарских данников своё могучее, вольное вече!.. Скучный край, скучные люди! Будто большая фабрика для добывания хлеба

раскинулась на сотни вёрст, и снуют по этой фабрике суетящиеся люди, все помыслы которых устремлены на добычу возможно большего количества хлеба... Мне, может быть, ещё придётся касаться печального факта почти полного отсутствия внутренней, душевной жизни в населении этой местности, и я не стану здесь подробно рассказывать, как и почему я во всё время пребывания моего в Кочетове не мог сродниться с окружающим и как я оставался чужим, временным гостем между чуждыми мне, несимпатичными людьми, в чуждой, несимпатичной обстановке.

Кочетовская аристократия приняла меня хотя несколько недоверчиво, но несравненно любезнее, чем демьяновская; оно и понятно, потому что разница между волостным писарем, человеком всегда сравнительно достаточным, и помощником его, едва зарабатывающим себе на хлеб, огромная; кроме того, должность писаря такова, что и немужики имеют до него часто дело: торговцы и кабатчики — дела с документами, попы — страхование домов своих, получка писем и газет; частные землевладельцы, кроме этого, — ещё заключение условий с рабочими, взыскания за потравы и проч. Понятно, что приезд мой всех заинтересовал, стоустая молва, далеко забежав вперёд, уже разгласила, что новый писарь — столичный житель, бывалый человек, знакомый со всеми местными тузами, — словом, писарь, каких ещё не видали. Предшественник мой не пользовался ни авторитетом, ни властью: он очень недолго прослужил на этом месте, что-то около полугода, и имел громадное пристрастие к пиву, почему и благодушествовал постоянно с разными просителями и жалобщиками в «Центральной белой харчевне», помещавшейся как раз против волости. Только что выслушает он одного жалобщика и выпьет при этом, конечно, на его счёт — смотря по важности жалобы — бутылку или две пива, только что придёт в канцелярию, чтобы для очистки совести поводить пером по бумаге, как вдруг какой-нибудь местный тузик зовёт его «на два слова — дельце есть». Непременные атрибуты «дельца» — новые две бутылки пива — и прощай все дела! Однажды перед волостным сходом, беседуя в «Центральной» то с одним, то с другим, он так набеседовался, что растянулся, и никакие совокупные усилия старшины и сторожа не могли его привести в чувство... Сход собрался, а дело не делается; как тут быть? Порешили, что помощник его будет читать бумаги; но вдруг другая беда: любитель пива задевал куда-то ключи от шкафа; пришлось ломать замок. Между тем, собравшимся надоело ждать без дела, и они стали допытываться о причинах задержки; узнав таковые и воочию убедившись, что «первый министр» лежит мёртвым телом в аптеке на кровати, сход воспользовался этим случаем — скинул из писарского жалованья 10 руб., а помощнику набавил два руб., за что получил от него полведра водки; таким образом, писарское жалованье в момент моего поступления равнялось 25 рублям в месяц. Наконец, один «злосчастный случай» — как выражался мой предместник — окончательно доконал его: 10-го числа каждого месяца все

старшины и писаря этого уезда собираются в крестьянское присутствие для получения приказаний, выговоров и проч. Поехали 9 сентября и кочетовские заправилы; однако к заседанию присутствия явился один старшина, а писаря, как на грех, и потребовали. «Где писарь?» — «Не могу знать-с; приехал со мной, да и сгиб куда-то», — отвечал старшина. Писарем были уже давно недовольны, этот же случай переполнил чашу: его во мгновение ока отрешили. А с милым человеком случилась неприятная оказия, помешавшая ему явиться в присутствие: возвращаясь поздно вечером от приятеля, обильно угощавшего его пивом, он прилёг в одном из городских скверов отдохнуть и проснулся без пальто, шапки и сюртука, вследствие чего попал в часть...

Конечно, ко мне, как невольному, но осязательному виновнику его несчастия, он не мог не относиться без некоторого раздражения, но я скоро смягчил его полдюжиной пива и за это имел удовольствие быстро и беспрепятственно принять все дела. Думал я было проверять их по описи, но порешил принять их так, как они есть, — всё равно упущений, если таковые имеются, по неопытности, сразу не заметишь, а если их нет, то тем лучше для меня; таким образом, вся передача дел заключалась, собственно говоря, в передаче мне связки ключей от шкафов, где хранились текущие и архивные дела.

Старшины не было в Кочетове, когда я приехал. Он отправился производить раскладку податей[23], как мне сказали; впрочем, я из этого немного понял, так как ни о каких раскладках от Ястребова не слыхал. Первый день я проискал квартиру; во второй день стал знакомиться с бумагами, требующими исполнения; оказалась их масса, месяца по два и по три лежали неисполненными. Вечером, часов в семь, слышу — подъезжают к крыльцу с колокольчиками. Старшина, думаю. Действительно, входит мужчина в полушубке, лет 35, рыжий и юркий, с начальническими замашками (кричит: «Сторож, достань там из тарантаса мой халат»).

— Здравствуйте, — говорю. — Новый писарь.

— Слыхал, слыхал. Что ж, в добрый час!

Помолчали; он пытливо смотрит на меня, я шуршу бумагами. Молчание становится тягостным.

— Куда ездили? — спрашиваю, чтобы не безмолвствовать.

— Раскладку ездили-с делать с Федотычем — сельский писарь у нас так прозывается. Запустил наш сокол ясный: у добрых людей весной всё кончается, а мы только осенью, Господи благослови, зачинаем.

— Да, это нехорошо.

— Нехорошо, что и говорить. А вы раскладку умеете делать?

— Как вам сказать, — конечно, сумею, хоть и не приходилось ещё делать, надо присмотреться; но теперь вот бумаги все исполняю запущенные, так вы уж с Федотычем продолжайте ездить, а я ему за труды заплачу.

Посмотрел он на меня и говорит:

— А чай пили уже — не знаю, как вас назвать?..

— Зовут так-то. А вас?

— Яков Иванычем.

— Так нет, Яков Иваныч, не пил ещё.

— Что ж, пойдёмте?

— Пожалуй, пойдёмте для первого знакомства.

Должен сказать несколько слов о любопытной в своём роде личности Якова Иваныча. Он далеко не походил на господствующий тип старшин-мироедов, добивающихся этой должности лишь для лучшего обделывания своих торгово-промышленных предприятий: он был совершенная противоположность и Живоглотову, и Матвею Иванычу. Причина такого уклонения от общего типа коренилась отчасти в его личном характере, преимущественно же в его семейном положении: в то время, как большинство старшин вместе с тем старшие в своей семье, домохозяева и, следовательно, бесконтрольно заведующие всем своим хозяйством, Яков Иваныч был вторым сыном у старика-отца, чистокровного земледельца, державшего ещё в своих руках бразды домашнего правления. Отсюда вытекало то обстоятельство, что Яков Иваныч был человек как бы подначальный, и голос его в семейских делах не имел должного значения, так как первенство в семье принадлежало отцу и отчасти старшему брату; таким образом, кулаческие инстинкты, если бы они и были в Якове Иваныче, не могли бы развиться и быть применены к делу без согласия этих двух старших членов семьи.

В самом деле, представим себе, что старшине благодаря его влиянию на какое-нибудь сельское общество представляется возможность почти задаром снять участок общественной земли; будь он домохозяином, не будь он под началом — он, наверное, не устоял бы от искушения и воспользовался бы представлявшимся случаем ухватить жирный кусок пирога; но, как младший член семьи, он может снять эту землю лишь с согласия старших в семье, которые, очень может быть, от этого лакомого куска и откажутся, потому что им, не начальникам, а заурядным мирянам, чересчур уж зазорно было бы перед обществом пахать и бороновать на его глазах украденный у него участок земли. Торгового или какого-нибудь промышленного дела Яков Иваныч также не может вести без согласия своих старших на их капиталы, а своих у него нет по той причине, что из 240-рублёвого годового жалованья, получаемого им в должности старшины, он обязан вносить «в семью» 200 руб.; принцип родового начала так ещё могуч, что Яков Иваныч не смеет и протестовать против такого деспотизма родителя, а остающихся 40 рублей даже плюс примерно 60 руб., получаемых в год «безгрешных благодарностей», чересчур мало для начатия собственного дела и едва-едва хватает ему на поддёвки, сапоги, гостинцы жене и тому подобные мелочи. Я безошибочно могу сказать, что за пять лет своего старшинства (я застал его служащим второе трёхлетие) он скопил себе не более

150 рублей, которые благодаря его добродушию редко лежали у него в кармане, а чаще всего ходили малыми партиями по рукам его хороших приятелей, богатых, умственных мужиков, сельских торговцев и проч., которым требовалось иногда до зарезу 25 — 50 рублей, чтобы временно обернуться, сделать какой-нибудь оборот; процентов за эти приятельские ссуды Яков Иваныч не брал, а довольствовался угощениями в «Центральной харчевне». Характер у него был весёлый, общежительный; говорить он любил до страсти и, за неимением лучшей компании, готов был по часу разговаривать с какой-нибудь бабой или мужиком, пришедшим в волость жалобиться о своих кровных обидах. Говорит он, говорит с этой бабой, расспросит и о родных её, и о соседях, подробно обсудит её обиду и вдруг в то самое время, когда баба, подкупленная ласковым обращением, уже начинает верить, что всё немедленно будет сделано как по щучьему велению, т.е. обидчик её будет посажен в холодную, а осминник[24] земли отобран у него и возвращён ей, — в это самое время вдруг входит в волость какой-нибудь богач-мужик или соседний приказчик.

— Якову Иванычу доброго здоровьица! Как живёте-можете?

— Благодарим, благодарим, Афанасий Козьмич, как вы себе поживаете? Что давненько не видать?..

— Слава Богу... (понижая голос) тут дельце есть одно, пойдём чайку попить?

— Что ж, пойдём.

Берёт шапку и направляется к двери; баба за ним.

— Батюшка, Яков Иваныч!.. Что ж о моём деле-то ничего не приказал? Что ж ты суда-то мне никакого не дал?..

— Ах ты разумница, разумница! Какой же я суд тебе могу дать? Я не судья, а старшина. Ступай вон к писарю, проси записать жалобу на Егорку; он те законы покажет и в воскресенье на суд его вызовет — ну, там и разберут ваши дела. А то нешто я судья, ну сама ты посуди?..

Афанасий Козьмич теряет терпение и вопрошает:

— Яков Иваныч, скоро ли ты?

— Сейчас, сейчас!.. Так ты ступай, запиши у писаря жалобу, поняла?

— Да как же, батюшка, Яков Иваныч...

Но Яков Иваныч уже шествует с Козьмичом в «централку», горячо о чём-то рассуждая и размахивая руками.

Нужно правду сказать, что Яков Иваныч очень часто посещал «Центральную харчевню» и, наверно, добрую четверть своего старшинства проводил в её гостеприимных стенах; но и этого нельзя ставить ему в серьёзный укор. Дома он не любил бывать, потому что его не считали там за старшину: «Ты у меня потолкуй ещё, — кричал на него отец, — я те виски так оттреплю, даром что ты старшина, до новых веников не забудешь»... И только что он приедет домой, его то на мельницу пошлют, то цеп в руки сунут, то топор (до старшин-

ства он был плотником и даже хаживал в артелях); поэтому домой в своё село, отстоявшее вёрст на пять от волости, он езжал или только на праздники, чтобы хорошенько пообедать, или ночевать к жене, и в последнем случае приказывал прислать за собой лошадей пораньше на другое утро и возвращался опять в Кочетово. Но в волости, если там не случалось собеседников, ему решительно нечего было делать: он был безграмотен, и вся волостная канцелярщина проходила мимо него, не задевая; печать, заменявшая его подпись, всегда хранилась в шкафу у писаря, и почти все бумаги получались, исполнялись и отправлялись без его ведома. Бывало, в почтовый разве день спросит: «Ну что, не пришёл штрах[25] от исправника за подати?»... И когда «штраха» не оказывалось, то он или заваливался спать на диван, или «балакал»* с жалобщиками, а за неимением таковых — и с десятскими, или же, соскучившись этим бесцельным балаканьем, шёл коротать время в «централку». Иной раз чуть не нарочно придумаешь какое-нибудь дело, чтобы он только не болтался и не мозолил глаз.

— Яков Иваныч, в Подбережном Архип Федулыч просил застраховать новую ригу, так ты бы съездил. Или: Яков Иваныч, что это у нас в Ольховке подати совсем стали, ты бы понаведался...

И Яков Иваныч рад-радёшенек предлогу взять лошадей и поехать к Федулычу, у которого рига могла бы быть застрахована и сельским старостой, или в Ольховку, где его приезд не страшен, потому что вся забота о податях кончится двухчасовым «балаканьем» со старостой у какого-нибудь кума за самоваром и полуштофом[26] водки. Впрочем, когда от исправника приходила угроза наложить штраф за медленное поступление податей, то Яков Иваныч в течение нескольких дней выказывал кипучую деятельность: летал из села в село, ругался с старостами, сажал двух-трёх недоимщиков для острастки в «холодную», уставал к вечеру, как гончая собака, и, наконец, опять мало-помалу успокаивался — до нового циркуляра исправника.

Одно было нехорошо в Якове Иваныче: очень он уж робел перед каждым «начальством», будь это хоть акцизный надзиратель или судебный пристав. Когда, бывало, кто-нибудь из похожих на начальство останавливался в волости для чаепития во время смены лошадей, то Яков Иваныч чуть не сам ставил самовар и бегал со стаканами и блюдцами. Я старался, по возможности, убедить его в неприличности его поведения, упрашивал его держаться с большим достоинством, но он односложно отвечал:

— Ведь стрескает!..

— Да зачем же он тебя стрескает, если не ты будешь стаканы подавать? Ведь на это сторож есть!.. А если и вздумает стрескать, то ты, во-первых, этим подслуживаньем его не умаслишь, а во-вторых, он даже смелее будет трескать, потому что увидит, какая ты баба... Другого ещё побоится — пожалуй, отпор получит, а с тобой уж церемониться не будет...

* «Балакать» — синонимы: болтать, балагурить.

— Так-то оно так, а всё-таки — член!..

Однако благодаря моим насмешкам и убежденьям Яков Иваныч начал понемногу переставать лично подавать стаканы и только покрикивал на сторожа: «Эй, Петрович, живей там поворачивайся!»... И то уж прогресс.

Так вот каков был, в общем, мой ближайший начальник Яков Иваныч.

VII

В нашей волости, как и в большинстве других, издавна существует правило для сельских старост собираться каждое воскресенье для составления так называемого в «Общем Положении» волостного правления. Но уже самим «Положением» обязанности этого правления ограничены одними пустыми формальностями: каждое 1-ое число приложить печати к денежным книгам в доказательство произведённого будто бы учёта, который, за неграмотностью членов правления, никогда не производится; назначить день для продажи с торгов имущества какого-либо неплательщика; дать старшине доверенность на получение с почты денежного пакета — и только. Но единовременный созыв старост тем удобен, что при этом гораздо легче исполнять присылаемые в волость разного рода поручения и запросы от начальствующих мест и лиц. Старостам в этот день читаются начальнические предписания, относящиеся до всех или до одного из них, выдаются повестки от мирового судьи и на волостной суд, делается распоряжение о высылке в волость лиц, до которых есть дело, назначаются дни для созыва сельских сходов, если есть надобность в них, и проч., и проч. В это же время и старосты спрашивают указаний по разным возникшим в их обществах недоразумениям и вопросам: как поступить с таким-то недоимщиком, что делать по случаю несогласия, возникшего при дележе имущества двумя братьями, надо ли выбрать опекуна к оставшимся после смерти мужика сиротам и можно ли посадить в «холодную» подравшихся на сходке двух сватов?.. Вопросов масса, и самых разнообразных; в старину громадное большинство их безапелляционно решалось миром, и дела вроде драк, разделов и опеки никогда не доходили даже до волости, не говоря уже до высших административных мест и лиц; но теперь, в период общей централизации, когда власть и авторитет «стариков» и мира почти совсем пали, когда последний пьяница-прощалыга узнал от «верного человека», что «по закону» можно идти и против мира и что мир часто остается «по закону» виноватым, что на «стариков» есть управа в волости, а на волость можно найти расправу в городе, — теперь почти все, даже ничтожные мирские дела доходят до волости, а порядочный процент из них передаётся выше — в город. Ввиду этого, ввиду опасения как бы «в ответ не попасть» старосты добровольно отказываются от имеющейся у них даже «по закону» власти и о всяком

деле советуются с волостью, чтобы этим санкционировать свои распоряжения; волость же, т.е. старшина и писарь, тоже из опасения взысканий со стороны «города», стараются о возможно меньшем личном участии своём в разного рода делах, и потому — взгляните, как завалены прошениями и жалобами канцелярии крестьянского присутствия, непременного члена, исправника и мировых судей!.. Посмотрите, какая масса дел разбирается в волостных судах, дел самых ничтожных и кляузных!.. Старшина и писарь — лица подначальные и ответственные, а волостные судьи — безответственны, и, как они посудят, так тому и быть; поэтому осторожные волостные самостоятельно никаких жалоб не разбирают, а, умывая руки, направляют их в волостной суд; выгодность от соблюдения такого нейтралитета хорошо понята и сельскими старостами, и потому волостные суды буквально завалены жалобами об оскорблении «на словах» или «действием», о «самоуправном отнятии конопляного недоуздка», о «переломе ноги забежавшему на огород к соседу поросёнку», о «придушении семилетним ребёнком двух соседских писклят»* и проч. в том же роде. Всё стало, таким образом, делаться по закону, и первым последствием нового порядка вещей явилось огромное развитие кляузничества и ябеды...

Итак, в первое воскресенье после моего прибытия в Кочетово собрались по обыкновению старосты. Для «формы» надо было сделать постановление от волостного правления о принятии меня на должность волостного писаря; я было хотел при сей удобной оказии просить о прибавке мне жалованья до прежнего размера, но по здравом размышлении решил подождать некоторое время, чтобы тем вернее можно было рассчитывать на успех. Любопытную коллекцию крестьянских физиономий представляли собой собравшиеся старосты: тут были самые разнохарактерные личности, но опытный глаз сейчас мог бы отличить представителя богатого и сильного общества от захудалого, бывшего помещичьего. Вот, например, опершись обеими руками о стол, разговаривает вполголоса с моим помощником мужик в новом полушубке и крепких, густо смазанных дёгтем сапогах, с хитрыми, бегающими во все стороны глазами; он искоса посматривает в мою сторону и, видимо, расспрашивает обо мне: это староста села Доброго, самого богатого и зажиточного села Кочетовской волости. Вот сидит на денежном сундуке с ничего не выражающей, кроме скуки, физиономией другой хорошо одетый староста: это начальник села Кочетова, присмотревшийся уже к волости и ничего в ней страшного или интересного не находящий; он ждёт не дождётся, как бы улизнуть скорей в «Центральную». А вот у дверей стоит в рваном полушубке и лаптях мужик с редкой, белобрысой бородкой: это, без сомнения, глава общества с полуторадесятинным на ревизскую душу наделом[27]... Всех сельских обществ в Кочетовской волости восемнадцать, старост же собралось только двенадцать человек; очевидно, за дурной погодой и скверной дорогой дальние не приедут. Старшина, оглянув собрание, начинает такую речь:

* Писклята — местное название цыплят.

— Староста! Как теперь прежний наш писарь неугоден стал и его сменили, а нам нового прислали, вот Н. М., так вы как — согласны?..

— Что ж, пускай послужит.

— Глядите вы, Яков Иваныч, — вам виднее!..

— Известно, коли ежели прислали, надо быть, господин хороший...

— Я, окромя хорошего, от него ещё ничего не видал, — вступается старшина. — Не знаю, что далее будет...

— Ну, и в добрый час, — слышатся общие пожелания.

— Так надо будет, господа, сделать постановление, что вы утверждаете меня в должности с прежним двадцатипятирублёвым жалованьем... Так? — спрашиваю я.

— Так, так!..

— Прикладывайте же печати, а кто грамотный — расписывайтесь, — сказал я, прочтя текст постановления.

— Никого нет грамотных, — замечает мой помощник и начинает отбирать печати.

Ко мне подходит и таинственно нагибается один из старост:

— А что, — не знаю как назвать — на четвёрочку с вашей милости нам не будет?

— Т.е. как это — четвёрочка?

— Хе, хе, — известно, водочки старостам для ради первого знакомства... Уж это как водится, спрыснуть, значит. Потому честь честью, мы уж для вас, а вы для нас...

— За что же я водку буду вам подносить? Не понимаю.

— А как же, всё-таки, значит, начальником нашим вас поставили. Уж вы не пожалейте!

Старшина перегибается ко мне через стол и тоже шепчет:

— Уж вы сделайте им уважение, Н. М., киньте им рублёвку! Всё ж они старались...

— Да кому и над чем они старались?..

— Как хотите; а то дайте, оно с испокон веку ведётся.

Я притворяюсь углубившимся в чтение бумаг, а между тем обсуждаю вопрос: дать или не дать? С одной стороны — дать, перед собой как будто совестно, а с другой — не дать, — сочтут за жадность, и только... Решил дать, но по окончании всех дел.

Когда розданы были повестки и письма, сделаны некоторые необходимые распоряжения и старосты уже стали собираться уходить, я подозвал к себе просившего четвёрочку.

— Нате, получайте, — говорю я, давая ему рубль, — пейте на здоровье, хоть и не за что. Только уж так даю, чтоб жадным не назвали.

Он взял бумажку и с сожалением разглядывал её.

— Что ещё? — спрашиваю.

— Маловато бы, четвёрочка ведь рупь тридцать.

Я с понятной досадой вынул из своего тощего кошелька ещё тридцать копеек и, сунув ему в руку, сказал: нате, отвяжитесь, пожалуйста.

Однако он не скоро отвязался, рассыпаясь в благодарностях и пожеланиях — сто лет мне прослужить у них в волости и проч. Несколько минут спустя я имел удовольствие видеть, как сельское начальство гурьбой отправилось в «Центральную харчевню» пропивать мои «рупь тридцать».

Не знаю, как было прежде, но теперь редкий из старост умеет держать себя с достоинством: они или безличны, или чересчур нахальны. Вообще преобладают два типа: если выбирают тихого, смирного мужика, ничего не знавшего, кроме своей сохи, то выбор его на должность нисколько его не изменяет — он остаётся вполне мужиком и на звание своё смотрит как на обузу, наложенную на него за какую-то провинность. На сходках он не играет никакой роли, «прениями» не руководит и заинтересован в том или другом решении дела не более и не менее, чем и все прочие его однообщественники; в волости он чувствует себя как на скамье подсудимых, старается по возможности менее попадаться на глаза старшине и писарю, а если им встречается до него надобность и они начнут ему что-нибудь приказывать или о чём-нибудь спрашивать, то он отвечает невпопад, усердно поддакивает, кивает головой, стараясь выразить на своём лице понимание, и в конце концов всё-таки ничего не поймёт, всё переврёт, повестки перепутает, вышлет в волость Ивана Дмитриева вместо Дмитрия Иванова и все три года своей службы положительно страдает. Такие старосты — плохие слуги обществу, и мирскими делами во время их служения заправляют глоты[28] и мироеды; общественных сумм они на себя никогда сознательно не растрачивают, но в конце концов при учёте их они всегда оказываются виновными в растрате 20, 50 и даже сотен рублей, смотря по величине общества. Растраты — эти дело рук тех же мироедов, делается же это примерно так. При сдаче общественного лужка условятся на восьми рублях «в мир» и на ведре водки; водку тут же разопьют, деньги получает староста на руки, и три четверти сходки расходится по домам. Остаются одни заправилы и глоты.

— Кондратич! Эй, староста, — кричат, — ставь на общественный счёт ещё четверть.

А Кондратич, предчувствуя такое требование, собрался уж домой улизнуть незамеченным, да не успел; он начинает отговариваться, но к нему пристают, ругают, обещаются доехать чем-нибудь и в конце концов уломают-таки поставить ещё четверть. За три года таких четвертей и осьмух набирается достаточное количество, а глоты ревут на сходке при учёте:

— Когда «Матрёнкин лог» сдавали — ведро ведь выговорено было — так, старики? А у него, анафемы, показано ведро с четвертью!.. Опять быка мирского нанимали — ведро выпили, а он семь рублёв пропитых поставил!..

— Побойся Бога, Мирон Евдакимыч, да ты сам опосля с Егоркой Дубовым да с Митькой Косолаповым меня «за пельки»* брал и четверть ещё стребовал! Вспомника-сь!..

Моментально подымается общий гам.

— Как так? Общество ведро пьёт, а вы потом ещё четверть?.. Нет, шалишь, это вы дюже умны будете!.. Так-то-с!.. Мы ведро, а они само собой ещё четверть...

— Да ведь это Мирон...

— Какой там к чёрту Мирон! Не у Мирона деньги, а у тебя, ворона щипаная! Четверть?.. Этаких-то четвертей вы с Мироном за три года потрескали, може, во сколько, нам за вас отдувайся...

И в конце концов, чтобы смирного малого не обижать, покровительственно предложат те же Мироны и Егорки с отходящего из старост Кондратича выпить ведро или два, — смотря по размеру начёта, остальное простят и, насмеявшись, обозвав его вороной и рохлей, отпустят опять к столь милым ему сохе и бороне, а он, идя за старым саврасым мерином по борозде, долго с горечью вспоминает, как с него ни за что, ни про что, за праведную его трёхлетнюю службу, сорвали два ведра...

Но есть старосты и другого типа: эти и в кабаке, и в церкви, и, тем более, на сходке помнят, что они не простые мужики, а начальственные лица. У них и замашки и аппетиты начальственные; они покрикивают на десятского: «Эй, ты, чучело, поворачивайся!» Они с угрозой спрашивают провинившегося перед ними: «Ты знаешь, кто я такой есть? Не видишь медали?» Такой староста смотрит на общественные суммы, как на свои; поглупее который — в конце концов попадается, поумнее — выходит сух из воды. Мне рассказывали про один любопытный экземпляр этого типа. Он давно уже желал быть старостой, но, за молодостью, его долго не выбирали; когда же его, наконец, выбрали, он немедленно отправился в город к непременному члену. Этот господин ещё часто будет нам встречаться, и здесь я кратко скажу, что он был капитан в отставке, чистокровный бурбон, глуп, зол, драчлив и высокомерен. К такому-то господину является Федот и отвешивает ему низкий поклон. Происходит разговор.

— Ты что?

— Да вот, ваше выскродие, меня в староста выбрало общество.

— Ну, так что ж?

— Явите божескую милость, ослобоните!

— По какой причине? Семья большая или болен?

— Никак нет, это всё слава Богу, да только...

— Что «только»?.. Разевай рот, говори толком!

— Драчлив я, ваше выскродие. У меня не так, как у прочих, будет: строг

* «За пельки» — за петельки, т.е. взять грудь зипуна или полушубка.

я, и, как ежели что, сейчас у меня, значит, рука зудит. И в семье меня боятся, а в обществе и вовсе страху нагоню...

— Хо, хо, хо!.. Так драчлив, говоришь, — рука зудит, ха, ха!... Страху задашь? Это, брат, хорошо, так и следует. Я и сам воли не люблю давать, не гляжу, что теперь всё благородные манеры пошли. А кулак и у меня не плох, слыхал?..

— Как не слыхать-с, слыхал, хе, хе... Так уж ослобоните, ваше выскродие! Боюсь, жалобы пойдут, погубят ни за что: вы же меня штраховать будете... А у меня такой уж карахтер — не стерплю. Ослобоните!

— Ха, ха, ха! Ну, братец, ловко! Ну, удружил!.. Ослобонить!.. Да мне таких и нужно, чтоб подтягивали, а то воли много дали, дворянами всех сделали... А о жалобах ты не думай — ни одной не приму и разбирать не стану. Ступай себе, служи, и не бойся, хо, хо!..

И начал Федот служить: десятские его больше боятся, чем станового; мужики, когда их позовут на сборню, бросают ложки, если обедали, и бегут к начальнику, перед которым во всё время разговора стоят без шапки; недоимщики и прочие виноватые выходят из сборни с встрёпанными волосами и распухшими щеками; бабы — и те знали кулак Федота и неоднократно сиживали в амбарах, заменявших на эти случаи классическую «холодную».

Исполнителен был Федот до совершенства: всё, что в волости прикажут, у него на другой день уже исполнено в точности: мосты и гати — в отличном состоянии; в реке конопля не мокнет; пожарный инструмент — в исправности; даже ночные караульщики всю ночь стучат в колотушки. Федоту оказывали почёт не меньший, чем старшине: если он войдёт «с хорошим человеком» в дальнюю комнату харчевни чаю напиться, всё мужичьё оттуда мигом ретируется, чтобы не мешать разговору приятелей; становой — и тот относился к Федоту с невольным уважением: язык как-то не поворачивается упомянуть родительницу этого степенного, солидно держащего себя, красивого мужика. И растрат у Федота к концу трёхлетия его службы не оказалось: он копейки мирской не пропил, а Мироны и Егорки за все три года шкаликом на общественный счёт не попользовались; сколько назначит Федот выпить — ведро или полведра, столько и поставит, а больше ни капельки, хоть всё общество взбунтуйся. Правда, что при нём кабак, который прежде ходил за 400 р., стал сдаваться только за 250 р., — никто из кабатчиков не давал больше, намекая, что много уж очень стало «тёмных» расходов; да участки земель и сенокосов, которые сдавались за 10 — 15 рублей, стали ходить по 8 — 12 рублей... Все понимали, в чем тут причина, но никто не перечил, да и перечить нельзя было: к чему ж тут придраться, если меньше дают? Цена, значит, упала, и только. Те же деньги, которые Федот на миру принимал к себе на руки, т.е. официальный доход за мирские угодья и оброчные статьи, были правильно израсходованы до копеечки, так что и Миронам не подо что было подкопаться... Вот каков

был, по рассказам, Федот; я уже не застал его в должности старосты — его не выбрали на второе трёхлетие, — и опять гати стали расплываться, мосты проваливаться, а вода в реке вонять коноплей... Зато доход с кабака сразу поднялся до прежнего размера — 400 рублей...

Между типами Федота и безответного пахаря-старосты Кондратича существуют, конечно, переходные ступени, т.е. личности старост, более или менее приближающиеся к тому или другому типу. Но, вообще, чем лучше староста для волости, для начальства, тем хуже для общества; исключение составляют разве совершенные олухи, но жадные до денег: эти и общество обкрадут, и как должностные лица — невозможны.

VIII

Постараюсь теперь обстоятельно рассказать о том, как в Кочетове добились передела земли на наличные души мужского пола, или, говоря книжным языком, коренного передела. История эта будет долга, как долга она была и в действительности: окончательное решение вопроса последовало лишь через полтора года после первой постановки его; но подробно изложить весь этот процесс заставляет меня то обстоятельство, что здесь ярко обрисуются и отношения партии кулаков-мироедов к общей массе серого крестьянства, и отношение начальствующих лиц к возбуждённому вопросу, и личное моё участие как волостного писаря в этом деле.

Сообщу для ясности несколько данных о кочетовском обществе. В нем около 1300 ревизских душ[29] с наделом в 8 тысяч десятин земли, из которой до 6 тысяч — пахотной, а остальная — под усадьбой, лесом и прочими угодьями; таким образом, общество это, по всем внешним признакам, богатое, многоземельное: на ревизскую душу приходится до $4^{1/2}$ десятины пахоты, т.е. по $1^{1/2}$ десятины в каждом поле. Последний передел происходил, как и у всех государственных крестьян этой местности, в 1858 г., т.е. при X ревизии; с тех пор не было не только коренного передела, но не в обычае была и так называемая скидка и накидка тягол, потому что земля здесь хороша, арендная её стоимость уже с конца 60-х годов превышает лежащие на ней платежи, и надел, с барышом окупаясь, никому не был в тягость: пашущий свой надел крестьянин дорожил им, потому что его надельная земля обходилась ему дешевле, чем арендуемая на стороне; непашущий, бездомовый или безлошадный сдавал её охотнику, который вносил все лежащие на ней платежи и давал ему ещё несколько рублей «верхов», т.е. уплачивал разницу между арендной её стоимостью и количеством взнесённых за неё платежей. Таким образом, вымершие души ни крестьянину, ни сиротам, ни вдовам не были в тягость: все они пользовались или дешёвой землёй, или «верхами».

Не так стояло дело в момент X ревизии для крестьян, по той или другой причине отставших от земледелия, например, променявших его на какое-нибудь ремесло или промысел, или же опустившихся до безлошадности и батрачества; этим приходилось бы сдавать свой надел с доплатой от себя, потому что, по тогдашней чрезвычайно низкой арендной стоимости земли (75 коп. — 1 рубль за десятину) в этой местности, платежи за душу превосходили арендную стоимость надела; эти, как милость, просили общество «ослобонить» их от земли, т.е. взять землю на мир, а их пустить на все четыре стороны. Общество, взяв с них отступное (мне не удалось выяснить — сколько), составило в 1858 г. приговор, по которому просители, всего до 70 ревизских душ, отпускались на прожитие в пригородные слободы, а наделы их поступали в общество навсегда.

В то время земля была дешева, её было вволю на стороне, и в обществе ею не очень дорожили: многие клины и отрезы, затруднявшие развёрстку, остались в миру, т.е. неподелёнными на души; самые же мелкие полоски, в четверток и осьминник[30], тут же пропивались «навечно», т.е. до нового передела, который, как оказалось, заставил себя ждать двадцать пять лет. Я лично знаю некоторых владельцев таких участков, «навечно» купленных ещё отцами и дедами нынешних хозяев: так, некто Иван Дронин владел в течение 25 лет полдесятиной земли, доставшейся его отцу за четверть ведра водки, поднесённой мирским мерщикам; Степан Бородкин владел в двух местах отрезами, всего около $^3/_4$ десятины, за поднесённые вовремя полведра и т.п. Такой гуляющей земли набиралось около 50 десятин да мирской, сотенной[31] неподелённой на души, было около 300 десятин: эта последняя состояла частью из наделов вышеупомянутых добровольных «бобылей», т.е. крестьян, отказавшихся от пользования своими наделами, частью из отрезов, специально оставленных сотнями* для сдачи в аренду на мирские нужды. Всё это громадное количество земли эксплуатировалось обществом самым безобразным образом: оно сдавалось в аренду разным мироедам почти за полцены, половина, если не больше, этой полцены тут же пропивалась, и только жалкие остатки шли на удовлетворение мирских нужд: на уплату десятским и разного рода караульщикам жалованья, на починку мостов, пожарного инструмента и проч. Понятно, что мироеды, ежегодно снимавшие эти земли и бравшие на них чуть ли не рубль на рубль барыша, должны были явиться самыми ожесточёнными противниками передела, так как при нынешних ценах на землю клины эти и отрезы неминуемо пошли бы в развёрстку, ускользнув из рук постоянных съёмщиков. Противниками передела должны были явиться и те домохозяева, у которых предвиделась «убыль в душах», т.е. потеря одного или нескольких наделов их умерших родственников, которыми до ревизии они думали пользоваться беспрепятственно. Иные из домохозяев этой категории могли существовать почти одними верхами: получая, например, за каждую из пяти владеемых ими душ

* Мелкое деление сельского общества — в Кочетове восемь сотен.

по 15 рублей «верхов», один из них имел таким образом 75 рублей чистого дохода от своего надела без всякой затраты мускульного труда. Рядом с такими многоземельными домохозяевами, владевшими наделами умерших братьев и детей, были такие, которые владели, по числу ревизских душ, одним или двумя наделами, а в семье имели наличных пять и более душ мужского пола — словом, равномерность в распределении земли за двадцатипятилетний период времени сильно нарушилась, и во многих крестьянских головах уже бродила мысль о коренном переделе; толчок для осуществления этой мысли пришлось дать мне.

Прошло месяца полтора, как я занял место писаря в Кочетове. Однажды утром, когда ещё из посторонних никого в правлении не было, входит ко мне в канцелярию кочетовский староста, Дормидон Афанасьевич. Два слова о нём: мужик он был хитрый, лицемерный, добившийся должности старосты при помощи подкупа и подпаиванья и норовивший за три года своего царствования вернуть с лихвой затраченный им на выборах капитал; при всём этом он был ограниченного ума и ленив в исполнении своих служебных обязанностей. Со временем я его в совершенстве распознал и имел с ним жестокие стычки, но в начале своей службы я не знал сельского люда и под влиянием воспитанных городом традиций о мужике в частности и о народе вообще видел в каждом, носящем полушубок, предмет для умиления... Только долговременная практика и развившаяся опытность научили меня быть недоверчивым и искать у всех просителей, жалобщиков и советчиков изнанку их просьб, жалоб и приятельских советов. Так было и в данном случае: по всей видимости, Афанасьич явился ко мне по мирскому делу из желания порадеть миру, между тем как он действовал из совершенно личных расчётов, совпадавших, к счастью, с желанием значительной части мира.

— С добрым утром, Н. М., как почивали себе?

— Благодарю. Что скажете?

— Признаться, дельце тут есть одно, погутарить* хотелось бы.

— Так что ж, говорите.

— Дело-то вот какое, Н. М., — большое... Наслышамшись мы, что в прочих местах кой-где землю делят на новые души, а у нас в обществе равненье тоже давно потеряно: у кого пять должно быть душ, а у него одна, а то есть такие, что один, как пёрст, а владеет четырьмя душами. Ну, и мирской земли зря много пропадает... Так что вы нам скажите, как по законам-то? Признаться, мы тут кой с кем подговорились да пришли насчёт этого посоветоваться...

— А скажу я вам, что задумали вы дело хорошее... Да вы не одни ведь пришли, так зовите и остальных, я порасскажу, что вам знать хочется.

Афанасьич приотворил дверь в «сельскую» — так называлась комната в правлении, служившая сборней, — и, махнув рукой, громким шёпотом сказал:

* Погутарить — поговорить.

— Идите, что ж вы?..

Трое мужиков, очевидно, ждавших этого оклика, вошли в канцелярию и, истово покрестившись на иконы, поочерёдно пожали мне руку.

— Ну, что скажете, почтенные? — начал я разговор.

— К вашей милости. Афанасьич говорил вам, что насчёт земли задумали?

— Что ж, дело хорошее.

— Это точно. Да сумление нас берёт.

— Какое сумление?

— Говорят тут кой-какие из наших мужиков, да и солдат один дюже твёрдо стоит на том, что беспременно царский указ должон быть, царь письмо должон прислать, тогда и делить можно. А теперь будто и не моги — в Сибирь будто за самовольство сошлют... Так вот мы и сумлеваемся.

Я не мог не рассмеяться этому «сумлению». Очень уж выходило смешно.

— Ох, вы, чудаки, чудаки!.. Каких это царских писем вы ждать будете? Бывают, действительно, указы перед ревизией, так вы не ревизию ведь производить будете, а передел своей надельной земли, а в своём добре всяк волен и по закону можете хоть каждый год делить, никто вам препятствовать не смеет, лишь бы приговор был законный.

И я, достав «Общее Положение», прочитал статью, в которой упоминается, между прочими правами схода, и право производить переделы земли. Крестьяне слушали меня с напряжённым вниманием: видно, слова мои были для них совершенною новостью. Когда я, прочитав статью и разъяснив им, что на постановку приговора требуется согласие двух третей всех домохозяев, спросил: «поняли?», то они с просветлевшими лицами разом ответили:

— Как же, поняли, поняли!.. Покорнейше благодарим, что потрудились. Так, значит, никакой опаски нет и в ответе за это не будем?

— Не будете, говорю я вам. Да вот что: вы, староста, об этом сход хотите собирать?

— Да надо будет, — всё ещё нерешительно отвечал он.

— Так чтобы показать, что тут никакой опаски нет, я сам начну говорить об этом деле на сходе: ведь не буду же я на свою голову беду накликать, если б закона не было говорить про это!

— Вот покорнейше благодарим, вот уважите! Уж потрудитесь, этак повернее будет, они скорее поймут; да и солдату этому укажите, какой такой закон есть!

Всё, что я выше говорил о мирских клиньях, о значении, которое они имеют для местных богачей-мироедов, всё это я узнал уже впоследствии, а в момент начатия кампании я ничего в мирских делах не смыслил и никаких закулисных пружин не подозревал, принимая всё за чистую монету. Настойчиво расспрашивать первых попавшихся под руку крестьян я стеснялся, чувствуя

над собой постоянное тяготение клички «писарь», — должности, столь подозрительной для крестьянской массы; знакомств же я не успел ещё завесть, и говорить по душе было не с кем, да я, в своём незнании деревни, и не подозревал, что было так много, о чём говорить.

Через несколько дней после этого разговора, когда староста уже оповестил через десятских по селу, что в ближайшее воскресенье будет сходка «насчёт земли», подходит ко мне старик-крестьянин, истый патриарх с виду, с правильными, строгими чертами лица и по пояс длинной, совершенно седой бородой — просто бери кисть и рисуй: лучшего натурщика для крестьянского патриарха-общинника не найти.

— Что скажете?

— Да вот, поговорить с вашей милостью надо бы.

— Говорите, пожалуйста. (В такой форме начинаются в волости девять разговоров из десяти).

— Наслышамшись мы, будто общество хотят кой-кто смутить — землю чтоб делить на новые души.

— Да. Только какая же здесь смута?

— Не всяко лыко в строку; просим извинить, коли обмолвились. Смуты тут, известно, нет, а все ж... Значит, правда, что делить-то хотят?

— Кой-кто поговаривает.

— Так-с. А хотел я вашу милость побеспокоить: в правах они сейчас будут?

— Это если поделят-то? В правах законом дозволено. А до вас это разве касается?

— Да изволите видеть: землю тут мирскую снимаем, за год деньги вперёд отданы; так если по весне делить будут — разорят... Уж надо правду говорить.

— Зачем разорят? Они деньги вернут.

— Из каких это вшей, прости Господи, вернут они? — разгорячился патриарх. — Почитай, половину пропили, а половину так, кой-куда порассовали; и выйдет — ни земли, ни денег. Уж вы — забыл как звать вас — не оставьте, дайте помощь! — внезапно переменил он речь.

— То есть как и в чём помочь?

— Уж будто не знаете? У вас это дело всегда в руках... Известно, чтоб хоша до будущего года погодили с дележом; как землю отдержим, ну тогда с Богом! А мы уж вас ублаготворим, в обиде не будете, не сумлевайтесь...

— Да чего же вы от меня хотите? Что я могу сделать? — спрашивал я, всё ещё недоумевая, о чём просит патриарх.

— Приговора не пишите, вот что. Растолкуйте им, что сейчас делить нельзя, законы, что ли, покажите... А вы не сумлевайтесь: ни старшина, ни староста в это дело соваться не будут.

— Нет, уж это извините: никаких подлостей я делать не буду и небы-

валых законов показывать не стану. Прощайте, не мешайте мне — я занят.

Патриарх нехотя поднялся со стула и в нерешительности простоял с минуту, думая, не «фортель» ли это только с моей стороны, чтобы набить цену за прочтение небывалого закона. Но видя, что я пишу, не обращая на него внимания, он ещё раз окликнул меня, уже тоном ниже:

— Так как же быть-то? Не уважите?

— Я вам сказал, что нет, и довольно с вас, — резко ответил я.

— Так прощенья просим-с, — сказал он, уходя. — Только напрасно это вы круто дюже!..

Я с облегчением вздохнул, когда седая, как лунь, борода скрылась за дверью... Это было ещё первое предложение крупной взятки, и мне, совершенно неопытному в житейских делах идеалисту, большого труда стоило хладнокровно держать себя и не поступить с патриархом по его заслугам. Мелкие «благодарности», впрочем, предлагались мне уже неоднократно: то паспорт, подписавши, отдаёшь, а тебе в руку гривенник суют; то удостоверение напишешь, а тебе на стол пятачок кладут, и проч.; но в таких случаях достаточно бывало строго сказать: «возьми назад, не надо», как сконфуженный доброхот спешил, бормоча что-то в виде извинения, обратно спрятать своё приношение в карман заскорузлого полушубка; торг же о прочтении несуществующего закона предлагался мне ещё в первый раз, и не могу сказать, чтобы я спокойно чувствовал себя этот день в звании волостного писаря...

Глухого слуха, что на сходке будет толк «насчёт земли», было достаточно, чтобы в воскресенье народ толпами повалил к волости: из 510 домохозяев, составляющих кочетовское общество, явились на сход 420 человек — количество необычайное, почти небывалое. Толпа глухо волновалась и, разбившись на кучки, обсуждала вопрос дня; это была первая большая сходка, на которой мне приходилось играть роль, и я был несколько взволнован... Сельский писарь кончил перекличку; старшина взлез на перила крыльца «правления» и стал предлагать сходу на разрешение мелкие вопросы, подлежавшие обсуждению: выдать ли одному крестьянину увольнительный приговор для путешествия к святым местам; кого выбрать в опекуны к сиротам умершего однообщественника и ещё что-то в этом роде. Все эти вопросы решены были почти моментально простым поднятием рук: видимо, все как бы торопились перейти к сути; и вот воцарилось мёртвое молчание. Старшина сделал витиеватое вступление примерно в такой форме:

— Таперича, почтенные господа старички, прошу послушать нашего нового господина волостного писаря. Он хочет вам разъяснить оченно интересное для вас дело, от которого у многих в глазах зарябит...

Послышалось два-три одобрительных смешка, мгновенно, однако, затерявшихся среди общего торжественного молчания. Старшина слез с перил; очередь говорить была за мной. Я встал на порог крыльца и был, таким обра-

зом, на голову выше стоявшей на земле публики. Приподняв шапку — на что половина народа ответила мне таким же приветствием, я поклонился и начал свою речь так:

— Господа! Для первого нашего с вами знакомства я хотел бы поговорить об одном деле, которое, как я слыхал, задумано некоторыми из вас уже давненько...

Речи моей, как совершенно не интересной для читателей, я приводить не буду; упомяну только, что я старался по возможности ярко обрисовать то неравномерное пользование землёй, которое происходило от долговременного изменения состава семей; потом я объяснил, что переделы дозволены законом и что в других местах с иными жизненными условиями они практикуются очень часто, иногда ежегодно; в заключение я сказал, что для составления приговора о переделе необходимо согласие $^2/_3$ общего количества домохозяев в селе. Сказав всё это, я отошёл к сторонке; толпа колыхнулась, но опять замерла: никакого взрыва не произошло — никто не решался первым прервать молчания. Не выдержал только староста Афанасьич и, влезши на место старшины, на перила, завопил:

— Так что ж, старички, делить согласны? Желаете?

Из толпы раздался голос, как я впоследствии узнал, кривого Парфёна, отчаянного обиралы и мироеда.

— Какой там чёрт желает!.. Это, може, писарю нужно, да ты смутьянишь... Лестно небось на шесть душ получить!..

Эти слова кривого Парфёна были искрой, упавшей на давно заложенную пороховую мину: моментально поднялся рёв и гам невообразимый. Груди четырёхсот здоровых, на деревенском воздухе взросших человек приводили воздух в сотрясение; отдельных звуков не было слышно — стоял сплошной гвалт. Непривычный к такого рода вечу, я в испуге прокричал на ухо стоявшему рядом со мною старшине:

— Что это они? Бить хотят того, кто кричал?

— Ничего, — ответил он, — это они всегда так. Вот поугомонятся, тогда и разберутся, кто куда тянет.

Действительно, минуту спустя гул стал понемногу затихать, и из общего хора начали выделяться наиболее энергические восклицания: «Делить!.. Не надо! Грабить вздумали!.. У вас научились!.. В кабаках наснимали!.. Молод дюже... Делить, делить!.. Не надо!» и т.д.

— Пойдём отсюда, Н. М., — сказал мне старшина, — их ведь не переслушаешь: покуда глоток не обдерут себе, никакого толку не будет.

У меня с непривычки уже стоял звон в ушах, и я с удовольствием воспользовался предложением старшины и ушёл с ним в волость; но и тут стоял гвалт, хотя и не такой могучий, как снаружи.

В канцелярии собралось до десятка мужиков «поумственнее», принад-

лежавших, однако, к разным партиям; были тут двое, трое богачей-мироедов и в том числе знакомый уже мне патриарх; было человека три мужиков, в спор не вступавших и только с любопытством слушавших резоны противников, и было, наконец, несколько человек — сторонников дележа. Слушавшие безмолвно мужики принадлежали к индифферентной партии, которой от дележа не было ни тепло, ни холодно, так как у них благодаря неизменившемуся составу их семей не произошло бы ни убавки, ни прибавки в душевых наделах.

— Вот если б царский указ, — говорил патриарх, — тогда, известно, исполнять надо.

— Будет тебе, Фёдор Степаныч, туману на нас наводить, — азартно выкрикивал худощавый, в старом полушубке мужик.

Я узнал его впоследствии поближе: это был довольно разумный, работящий, но какой-то бесталанный человек — в течение пяти лет он два раза начисто погорел, а за год до описываемого времени у него увели разом обеих бывших у него лошадей; кроме того, у него была большая семья с пятью душами мужского пола, а землёй он владел только на две ревизские души. Прибавка к наделу была для него единственным лучом надежды выбиться из того тяжкого положения, в которое вогнали постигшие его несчастья.

— Туману ты не наводи, — продолжал он, — мы ведь тоже кое-что смекаем! Полянские нешто получили указ, а вся волость землю переделила?.. Панские тоже писем не дождались, а по весне делёжку задумали... Опять писарь законы читает, что во всякое время без указов делить можно...

— Это что говорить! Знамо, на свою голову врать не будет, — одобрительно поддакнули сторонники худощавого мужика.

— Теперь скажем о земле, — продолжал он, наступая на патриарха и приходя в азарт. — Бу-удет вам общество-то ломать: ведь у вас целая прорва земли мирской за пазухой сидит вот уже двадцать годов, а нам по нужде по нашей земли нетути? Нешто это порядки, нешто это по-Божьи? Да что толковать: Бога-то у вас давно нетути!..

— Бог-то, молодец, у всех есть, — поглаживая бороду, отвечал патриарх. — Ты рассуди — ведь всяка тварь под Богом ходит, так как же без Бога-то? А вот ограбить нас — это вы точно, что желаете...

— Грабить?.. Кого грабить? Это вас-то? — кричали противники.

— А то что ж, известно грабить! — в свою очередь воодушевляясь, наступал патриарх. — Аренду отнять хотите, деньги взяли, а земли не будет? Это-то по-Божьи, а? По-Божьи, спрашиваю?..

— А зачем вы по кабакам землю-то снимаете? Напоите народ да задаром и возьмёте?.. Сами грабили, так скусно было, а теперь — так назад, на Бога спираться?..

Конца разговора, если бы таковой и мог быть, мне не пришлось, однако, дослушать, потому что крики на дворе сильно ослабли и являлась возможность

прийти к какому-нибудь соглашению. Старшина опять влез на перила и старался унять самых рьяных противников, все ещё перебранивавшихся; наконец, водворилась относительная тишина.

— Ну, что ж, господа старички, — начал старшина. — Как у вас речь о новых душах зашла и переговорили вы теперь, так чем дело кончать задумали?

Несколько голосов крикнуло: «Делить!» Им отвечали: «Не надо!» — но поднимавшаяся опять было буря затихла при возгласе старшины:

— Помолчите, эй вы, оглашенные! Ругаться да орать будете — толку мало выйдет. А кто желает делить — пусть руку поднимет, вот и видно будет. Ну, поднимайте, кто ежели желает!

К неописанному удивлению моему поднялось не более полусотни рук, остальные оставались опущенными. Старшина тоже обозлился.

— Что ж вы, оглашенные, кричать — все кричите, а рук не поднимаете? Поднимайте, говорю вам, кто желает.

Та же история: на этот раз поднялось, кажется, ещё менее рук, чем в первый.

Старшина в сердцах соскочил с перил и хотел идти в волость, но я удержал его и сказал, чтобы он таким же путём опросил не желающих делить. Тут произошло нечто, могущее поставить в тупик постороннего, незнакомого с деревней, наблюдателя: и нежелающих оказалось десятка три, четыре, не более. Таким образом, более 300 человек «воздержались от подачи голоса».

— Что ж мне с вами до полночи, что ли, стоять? — вопил старшина. — Коли ни так, ни этак решать не желаете, то ступайте по домам... Что ж без толку стоять?

— Скажите-ка, Яков Иванович, — спросил я старшину, когда мы вошли с ним в волость, — отчего они ни так, ни этак рук не поднимают?

— Не обдумали всего, должно быть есть какая-нибудь загвоздка. Гаять[32] все гают, потому знают, что из их гаянья ничего не выйдет; а как подошло время дело кончать, ну и сомнительно для большинства стало, боятся дело второпях кончить. Вот они ни в ту, ни в другую сторону и нейдут.

— Что ж, как же теперь с этим делом быть?

— А пройдет недельки две, раскинут умом, столкуются, тогда и решение выйдет.

Я выглянул на улицу: перед крыльцом оставалась кучка человек в двадцать, остальные уже разошлись по домам. Я вышел к этой кучке и, оставаясь в тени незамеченным, расслушал, о чём они толкуют, какая именно загвоздка смутила большинство: ходило мнение, что если будет передел земли до объявки ревизии, то при ревизии прирезки земли на «новые души» уж не будет, поэтому многие сторонники передела боялись высказаться решительным образом, чтобы не лишить себя в будущем желанной даже для этого многоземельного сравнительно общества прирезки...

IX

Прежде чем продолжать рассказ о переделе земли, позвольте познакомить вас с Иваном Моисеевичем Гериком, крестьянином села Кочетова, отец которого, выкрест из евреев, лет двадцать с лишним тому назад приписался к кочетовскому крестьянскому обществу. Личность эта настолько любопытна как по своим индивидуальным качествам, так и по той роли, которую она играет в Кочетове, что мне частенько придётся говорить о ней; поэтому я, не откладывая, хочу здесь же, хотя и бегло, очертить её.

Отец Герика, выкрест из евреев, солдат, заведывал когда-то этапным пунктом в с. Кочетове; на этой должности он сумел нажить кой-какие деньжонки и благодаря этому обстоятельству имел возможность сделать некоторое приношение кочетовскому обществу, за что и принят был «на землю» в число крестьян. Деньжонки у Моисея Герика, однако, не удержались, и когда подвыросли двое его сыновей, Иван и Фёдор, то им пришлось жить тяжёлым трудом. Фёдор больше оставался дома, пахал землю и заведывал скудным хозяйством, а Иван должен был посторонними заработками доставлять какую-нибудь поддержку обнищавшей семье; с 15-летнего возраста стал он заниматься самыми разнообразными работами: гонял гурты, ходил в извоз, копал землю и, наконец, определился на винокуренный завод рабочим. Теперь, став почти первым человеком в Кочетове, он не загордился и даже любил порою вспоминать о пройденных им мытарствах. Помню, сидели как-то мы в волости и посматривали в окно, лениво перекидываясь незначащими фразами. Зима была в этот год снежная, и весною, когда происходило действие, образовались громадные зажоры[33] по всем дорогам; такая-то глубокая зажора была как раз против волости. Видим мы, едет мужик с возом соломы, лошадёнка тощая, сбруя мочальная, лаптишки у мужика старые, полушубок весь в дырах — словом, отчаянная бедность так и бросается в глаза; и попал несчастный воз этот в самую зажору: лошадь выбилась из сил, вытаскивая его, споткнулась и упала. Горемычный мужик, по колена в воде, надрывался, помогая своей кормилице встать, но безуспешно. Моисеич, бывший с нами, участливо глядел на эту сцену и, вздохнув, сказал: «Вот точь-в-точь, бывало, и я так-то надрывался. Везу воз, и сам не разберу, кто дюжей везёт — я ли, лошадь ли?.. Надо ослобонить его, вспомнить старину». Он скинул с себя поддёвку и, выйдя на улицу, по колено в воде побрёл к возу; поднять лошадь, налегнуть на воз — было для него минутным делом, так как силы он был замечательной, — и несчастные создания, мужик и его кляча, стали кое-как продолжать свой горький путь. Когда Моисеич вернулся, я советовал ему пообсушиться, говоря, что он может простудиться, но он только рассмеялся: «Не такие видывал я виды... По пояс в воде и по часу приходилось возиться, да потом вёрст десять по морозу идти — заскорузишь даже весь — и то ничего, Бог миловал!»

На винном заводе скоро заметили Моисеича: он постепенно повысился с пяти- на десятирублёвое жалованье; мало-помалу ему, как сметливому, исполнительному и верному служащему, стали давать значительные поручения, и, наконец, владелец завода сделал его сидельцем на отчёте в одном из своих кабаков. Четыре года орудовал Моисеич в кабаке: грабить народ — не грабил, а только «по совести» подливал воду в бочку в небольшой убыток своему патрону; делал же он это так совестливо, что водка его всё-таки считалась лучшей в околотке, и торговля у него шла шибко в ущерб конкурентам. За эти четыре года он несколько поправился и заручился репутацией дельного и умственного человека. Случилось, что кочетовские кабаки снял один мещанин, незнакомый с местными условиями и жителями; он просил управляющего винокуренным заводом указать ему надёжного человека, которому он мог бы доверить ведение дела в Кочетове; ему указали на Моисеича — и вот Моисеич уже компаньон в торговом предприятии. С тех пор Моисеич стал выходить в люди, построил себе каменную связь из двух изб, стал заниматься поставками картофеля, который отправлял вагонами в Ростов; мелким кулачеством он не занимался, но плывшего в руки, конечно, не упускал: так, например, он был одним из значительных арендаторов мирской земли, которую засевал картофелем. При случае, когда интересы его не затрагивались, он горой стоял за обиженного, за правду; для всего же общества, для мира, он был преданным и верным слугою: его выбрали поверенным по общественным делам, и он оказался как раз к месту: выхлопотал в земстве в пользу общества не выплаченные за шесть лет деньги за починку гатей — всего 600 руб., оттягивал два года нарезку бобылям земли и, наконец, выиграл возбуждённую им против них тяжбу в Сенате. В последнее время он попал в гласные, и в первую же сессию удивил всех «господ» своими здравыми суждениями и смелыми спорами даже с председателем собрания; он горой стоял за мужицкие интересы и имел за собой 21 голос гласных мужиков.

Таков был Моисеич по внешности; внутреннее же содержание этого замечательного человека я не мог себе вполне уяснить: несомненно, что он был умён, и поэтому в нём часто замечалось презрение к людской пошлости и глупости. Но и сам он, не получивший никакого образования, едва умеющий подписывать свою фамилию и отродясь не читавший ни одной книги, не имел, кажется, никаких твердых нравственных правил: иногда он являлся образчиком честности и бескорыстия, иногда просто мошенничал; часто прощал сделанное ему зло или обиду, а случалось, был мстителен и низко злопамятен. Он отлично понимал людей и ладил с людьми самого тяжёлого характера. Винозаводчик Борщёв, внук дворового человека, сумевшего воспользоваться милостями барыни, был, как и все богачи-выскочки, заносчив и груб до крайности; достаточно было от него зависеть хотя бы самым косвенным образом, положим, относительно покупки или продажи чего-нибудь, чтобы он забывал всякую вежливость и начинал ругаться по-кабацки; служанки стояли пред ним

по три и более часа, ожидая от него приказаний; рабочих он бил прямо палкой по голове; крестьян, приезжавших продавать рожь или картофель, бранил всячески — за что, неизвестно. И вот с таким ошалелым миллионщиком Моисеич умел отлично ладить, сохраняя свое достоинство. Вот несколько случаев, которые пришли мне на память.

Вздумал Борщёв для распространения водки своего изделия понаснять кабаков побольше, захватив, насколько окажется возможным, все значительные сёла в округе. Снимать кабаки он доверил трём лицам, в числе которых был и Герик. Эти лица в два месяца сняли до 80 кабаков в нескольких смежных уездах; Моисеич отличился, быстро и хорошо устраивая самые невозможные сделки. Но Борщёв все брюзжал: «Все меня обкрадывают, — жаловался он Моисеичу, — небось и ты только думаешь, как бы меня надуть».

— Да около кого же нам, маленьким людям, и поджиться-то, как не около вас? Ведь и вы подживаетесь около тех, кто покрупнее, и ничего, не жалуетесь!

— Это как так?..

— А когда вбухиваете в затор лишних пятьдесят пудов муки — нешто не поживаетесь? Так что ж нам глаза-то колоть?..

— Да ведь я, каналья ты этакий, не граблю никого...

— Да и я не граблю: вот привёз вам 900 рублей — остались от снятия кабака в Нагорном. Что мне стоило их в расход поставить? Ничего; у вас я не служу, документов на меня нет, ну и гладки взятки. А грабить тоже не хочу — нате, получайте...

Стал Борщёв подыскивать контролёров — учитывать сидельцев в кабаках. Разговаривал он с одним из таких господ в то время, как в комнату вошёл Моисеич.

— Вот смотри, чучело, какого я золотого человека нашёл... — похвастался Борщёв.

— Ну-ка, расскажи, как ты будешь сидельцев учитывать?

— Как приеду в село, оставлю лошадь у крайнего двора, а сам пешком в заведение; прийду, да прямо к денежному ящику — цоп! Показывай, много ли выручки?..

— Хо, хо, хо!.. — заливался Борщёв. — Молодчина!..

— А как сиделец, не говоря дурного слова, да прямо вам в ухо? — заметил Моисеич.

— Это за что? — удивился «контролёр».

— А за то — не лезьте к денежному ящику. Разве вас сиделец знает, кто вы такой есть? Вы должны тихим манером войти, Богу на образа помолиться, сидельцу открытый лист из конторы подать, да и учесть, а потом деньги потребовать; он вам и сам их отдаст, из денежного ли ящика, из жениного ли сундука — до этого вам дела нет: где хочет, там и бережёт, лишь бы целы были.

— Да, братец, — сказал Борщёв «контролёру», — ступай-ка с Богом: не годишься ты...

— Почему это у меня все колёса воруют, на худые обменивают? — удивлялся Борщёв. — Недавно ещё шестьдесят новых станов купил. А говорят — половина уже развалилась?

— Да разве у вас по-людски делается? — отвечал Моисеич. — Есть у вас плотник при телегах; обязанность его — смотреть за ними, чтоб целы были. Отпустит он, скажем, Тимохе телегу с новыми колёсами, он и прав, покуда Тимоха не вернется; а вернулся, он обязан телегу принять от него, колёса осмотреть, всё ли ладно. А у вас нешто так?

— А то как же?!.

— Да вот у вас как. Отпустил плотник пятьдесят телег, сидит — трубочку покуривает, ждёт, когда вернутся. А вы тут и идёте. «Ты что, такой-сякой, без дела сидишь? Вот я тебя, мошенник!» — «Да я телеги!»... — «Знаю я телеги!.. И без тебя поставят. Ступай в подвал!» Плотник пойдет, а Тимоха уж давно этого случая ждал: вместо новых колёс оденет старые, телегу — под сарай, а новые — к себе на двор; да так в день-то телег пять и обрядят... Вот вы выгадали на плотнике двугривенный, а на каждой телеге потеряли по два рубля...

— Ну, ладно, ступай! — только и сказал Борщёв, между тем как всякого другого на месте Моисеича он изругал бы самыми площадными словами.

Моисеич очень тяготился некоторыми вещами, чего в трезвом состоянии никогда не выдавал; но мне пришлось раза два видеть его выпившим и в нервно-расстроенном состоянии. Со слезами, правда, пьяными, на глазах жаловался он, что он неуч, невежда; что он хотел бы жить по-людски, жить «по чистой совести», что у него нет поддержки (подразумевая под этим, вероятно, нравственные правила); он плакался, что его компаньон по кабакам держит его в руках, не отпуская от себя благодаря двухтысячному векселю, который он имел глупость выдать в виде обеспечения и который ему теперь не отдают, хотя он, Моисеич, уже давно желает покинуть кабацкое дело. Он неподдельно возмущался слабостью народа к вину, нарушением общинных традиций, развитием кляузничества и сутяжничества и прочими обрисовывающимися тёмными сторонами народной жизни... Ещё несколько черт: он был весельчак, юморист и остроумный рассказчик, любил бывать в обществе деревенской аристократии, не жалел денег на угощение «хороших людей», был падок до женского пола и не прочь был в компании прокутить целую ночь, никогда, впрочем, не вредя этим своему делу, потому что после бессонной, пьяной ночи мог целый день заниматься, чем ему надо было, без всяких признаков усталости...

Так вот однажды вечером, несколько дней спустя после вышеописанного схода, приходит этот Иван Моисеич прямо ко мне на дом. Я пил чай.

— Какими это судьбами, Иван Моисеич? — говорю я, так как уже успел с ним познакомиться.

— С добрым вечером, Н. М., вот пришёл к вам чайку напиться, как будто сердце чуяло, что у вас самовар на столе.

— Милости просим, подсаживайтесь.

Выпили стакана по два, поговорили кой о чём. Я всё жду, что-то будет? Потому что не чай же пить, в самом деле, пришёл Моисеич; и он, видно, понял, что я жду от него объяснения: отставил допитый стакан.

— За чай-сахар покорнейше благодарим, Н. М. Признаться, пришёл-то я к вам, собственно, не чай пить, ведь это уж дюже чудно было бы называться на чай, ни разу сам не угостивши... Пришёл же я к вам насчёт людской глупости поговорить, а вы меня, мужика, не перебивайте, дайте всё высказать по порядку. Это опять всё насчёт дележа земли. Небось слыхали, что дело это кой-кому из нас не по скусу, потому что мирских клиньев да душ наснимали мы порядком; признаться, и моих деньжонок там сотни три сидит... Вот между нами, как меж тараканами перед пожаром, и пошла возня: эти-то здесь суетятся, а я — признаваться уж, так во всём — в город успел смахать, чтоб об этом деле разузнать. Ну и узнал: дело правильное, делить можно во всякое время, только делёжку эту плевок стоит затянуть, хоть бы и приговор поставлен был правильно. Только подать жалобу в присутствие — пока расследуют, не меньше трёх месяцев пройдет; не выйдет по-нашему — взять копию да в губернское... Этак уж, верно, на год затянется, а нам только это и нужно, чтобы год землю отдержать. Понятно-с?.. Ну а здешние-то умники к вам да к старосте на поклон задумали, думают одними поклонами прожить на свете: собрали с восемнадцати дворов арендателей по десятке и мне принесли, велели свою десятку добавить, чтобы вам полтораста дать да старосте сорок, лишь бы приговор этот затянуть. Вот и деньги: ей-Богу, не лгу, посмотрите сами.

Он вынул из бумажника объёмистую пачку мелких кредитных билетов, повертел её в руках и опять спрятал. Я молчал, ожидая, что будет дальше.

— Так вот дело-то какое, — продолжал Моисеич после некоторой паузы. — К незнакомому человеку не пойдёшь с чем-нибудь опасным, а тут беды никакой, по-моему, нет: дураки сами деньги суют, только бери, а их жалеть, по-моему, нечего — у них денег этих много, не горбом достают... Старосте я ничего не дам — его и впутывать в это дело не для чего; а вам я сотенку предлагаю, другую же у себя оставлю, за комиссию, значит. Ей-Богу, тут ничего дурного нет: я не прошу вас, как те олухи, читать какие-то законы и указы; говорю вам только: что вы ни делайте, а ваша не возьмёт, так с какой же стати от добра отказываться? А коли на честность дело пошло, так вы делайте, как допреж[34] загадывали: собирайте сходку, говорите там что хотите и ведите дело по своей линии, а я поведу по своей. Через год же — я перекрещусь, коли хотите, — тоже ведь крещёный, хотя и «из насих» — через год это дело оборудуем враз: я сам за это дело возьмусь, только дайте срок аренду додержать. Нешто я не вижу, что обществу большое утеснение, а многосемейным и прямо петля?

Нешто у меня глаз нет?.. Вижу, — и делить мы будем, верно вам говорю, — только на будущий год. Ну, как?.. А если не согласны, я всё у себя оставлю, скажу, что вам отдал, а дело всё-таки по-моему выйдет...

Что мог я, неискушённый и неопытный в житейских делах, поделать с таким могучим противником, наперёд отрезавшим мне все выходы из моего скверного положения? Прежде чем я узнал что-либо о деньгах, всё село уже знало, что деньги эти собираются для меня; не прими я их — никто бы не поверил этому, а поверили бы Моисеичу, что он отдал мне мою долю. Кроме того, мне начинало выясняться одно обстоятельство, на которое я вначале не обратил никакого внимания: это факт аренды и затраты больших денег как со стороны нескольких кулаков, так и со стороны многих исправных домохозяев-хлебопашцев, не упускающих, по силе вещей, случая снять задёшево мирскую землю. И по закону, и отчасти по совести арендаторы эти были вполне вправе требовать отсрочки передела до окончания срока их аренды или же исключения арендуемых ими участков из оборота передела; но в последнем случае и значение самого передела наполовину умалилось бы. Между чем было выбирать: произвести ли весной пародию на передел земли, оставляя участки арендаторов нетронутыми, или же, отложив дело на год, произвести тогда беспрепятственно передел всей мирской земли? Я начинал склоняться к отсрочке передела, но меня ужасала мысль, что подумает общество, узнав происшедшую перемену в моих намерениях, и не будет ли оно вправе поставить эту перемену в непосредственную связь с фактом сбора для меня денег? Теперь я вижу, что единственный выход из глупого положения, в которое поставил меня Макиавель в смазных сапогах, это было бы взять у него всю предназначенную мне сумму денег, то есть сто рублей, и представить её на благоусмотрение сельского общества, рассказав ему, в чём дело. Но на такой смелый шаг у меня не хватило опытности, и я решился на компромисс, оказавшийся впоследствии довольно неудачным. Я отказался взять от Моисеича все деньги, объясняя, что возьму их, когда дело кончится, потому что я не люблю брать вперёд, но в виде задатка попросил у него двадцать пять рублей, которые он мне с некоторым недоумением на лице тотчас и отдал.

Следующая сходка была малочисленнее первой: не собралось и четырёхсот человек, но собравшиеся, видимо, составили уже себе известное мнение о предстоявшем их решению вопросе. Хотя шум и крики не умолкали во все время сходки, но это уже не был стихийный гул, как в первый раз, а осмысленный спор и перебранка между двумя сформировавшимися партиями... По предложению старшины, сход разделился на две стороны: направо стали желающие произвести передел в следующую же весну, налево — вовсе не желающие его или желающие отсрочки его на год; в этой группе стояли все арендаторы, в том числе и Моисеич. Направо оказался 291 человек, налево около 80. Выше где-то я упомянул, что в Кочетове считалось 510 домохозяев, поэтому, согласно 54 ст. «Общего Положения», передел земли мог состояться только в том случае,

если за него выскажется не менее 340 голосов. т.е. $^2/_3$ общего количества: таким образом, 49 голосов до законного количества не хватало. Я понимал, что при данных обстоятельствах приговор будет недействителен, но, в видах личного интереса, решил написать его. Я влез на перила и сказал сходу:

— Господа! За раздел получилось 291 голос; этого количества, по закону, недостаточно. Закон требует, чтобы две трети голосов было бы за передел, тогда только его можно произвести. Вас теперь не хватает 50 человек желающих (слышатся разные возгласы: «Хо, хо, — что, взяли? Съели?»... И с другой стороны: «Ну, так, теперь уж не хватает! То всё ладно было, а как что, так и не хватает!). Вы думаете, господа желающие делить, — продолжал я, — что тут стакнулись с арендаторами продать вас, сделать мошенничество? Вы, может быть, уже слыхали, что и деньги для меня сбирали (резкий возглас: «А то не слыхали?..») и что я взял их, поэтому их руку и тяну? Честью вас заверяю, что денег их я для себя не брал и руки их не тяну. Слушайте же: чтобы вас уверить, что тут никакого мошенничества нет, я напишу вам приговор с 290 голосами: изберите кого-нибудь, пускай в город пойдут и представят этот приговор в присутствие: вам скажут там, что приговор не годится (возглас: «Известно, ведь сам писать будешь?»...). Да поймите же, что не самый приговор будет плох, а плохо будет то, что вас подпишется 290 человек, а надо 340! (возглас: «А ты добавь ещё»...) Ну, уж от этого увольте: я добавлять никого не стану — это ведь подлогом называется, а за подлог в остроге сидят... А насчёт денег — это точно, приносили мне кучу целую, сто рублей; да не взял я их себе, потому что отродясь никогда не мошенничал, а пришло мне на мысль, что не мешает вам ещё раз от богачей-арендателей за мирскую землю угощение принять, благо у них денег много, и они с ними дуром навязываются... Так вот я и взял из этих денег только четвертную, будто в задаток, чтобы глаза им отвесть, да и кланяюсь вам теперь этими 25 рублями — выпейте на них за здоровье ваших благодетелей да посогрейтесь, а то на морозе ведь перемёрзли, пожалуй.

Толпа безмолвствовала: сказанное мною было так ново, так непонятно для неё. И точно, мужик привык видеть, что все всегда стараются с него что-нибудь содрать: поп, писарь, старшина, староста, урядник и проч., и проч., а тут вдруг выискивается человек, принадлежащий к сословию дерущих, и вдруг ни с того ни с сего, ничего не прося, вынимает двадцать пять целковых и даёт: на, пей. Многие приняли это за шутку, но когда я подозвал знакомого мне мужика, содержавшего ямщицких лошадей, и почти насильно всунул ему в руку пачку кредиток, то вокруг меня раздались самые различные восклицания.

— Вот так штука, братцы, — видали?.. Мы думали — с нас ещё будут тягать, а тут нам дают!.. Хо-о-ох, ловко!.. Эй, братцы, брать ли?!. Глядите, как вы!.. Чего глядеть, бери коли дают, потом разглядим! — и т.п.

Мужик, которому я сунул деньги, в недоумении сжимал их в руке.

— Н. М., помилуйте, да что же мне с ними делать?

— Раздели по сотням, пусть делают, что хотят.

Я постарался скорей ускользнуть домой, надеясь, что в темноте меня не узнают. Но не тут-то было: через пять минут по моём приходе в комнату мою вваливаются человек восемь мужиков.

— Ну, что вам ещё?

— Боязно примать, Н. М.! Нет ли тут подвоха какого? Ты уж нам по совести скажи, как это дело будет?..

— Да какой же тут подвох может быть?

— А вдруг мы за эти самые деньги отвечать будем?

— Поймите же, это мои деньги, мне их дали, но себе я не взял; а арендаторов захотел всё-таки хоть на малость наказать, чтоб они зря с такими штуками ко мне не совались; ну, и взял у них только двадцать пять рублей, собственно для вас, на пропой, значит... Поняли?

— Теперь поняли, покорнейше благодарим, как не понять, а нам было сумнительно, — заговорил один, но другой его перебил:

— Ну, чего таперь сумнительно! Видишь, господин писарь уважение нам делают, от своего куска и нам ломоть дают... Покорнейше благодарим на этом! Пойдем, ребята, за ихнее здоровье выпьем!

И все стремительно двинулись к выходу. И только спустя некоторое время узнал, что значило — «от своего куска и нам ломоть даёт». Дело в том, что люди, всем складом своей жизни убеждённые, что в каждом эксперименте, над ними совершаемом, в каждой попытке принять участие в их личных или общественных делах кроется какой-нибудь подвох, какое-нибудь посягательство на их тощий карман, — люди эти никак не могут поверить заявлениям, что «писарь» не взял ста рублей и так, от доброго сердца, даёт им на водку 25 руб. Это всё логично и объяснимо, но на практике было для меня очень огорчительно, когда мне передали, что поступок мой получил такое толкование: взял, мол, двести (вариант — сто) рублей, но посовестился (вариант — от доброго сердца) и от своего куска кинул, чтобы заткнуть глотки, кусок в 25 рублей. И в конце концов я выиграл только то, что многие признали за мной «совесть», а некоторые «добрую душу», и лишь поумнее, вроде старшины и Моисеича, признали, что я не заурядный писарь и что со мной надо держать ухо востро... Иван Моисеич, так тот никогда не заговаривал со мной об этом казусе, стыдясь, вероятно, выпавшей на его долю роли, и около года меня дичился, но потом мы почувствовали надобность друг в друге и вели сообща много дел, не поминая прошлого.

Кстати: в пропитии тех двадцати пяти рублей приняли участие не только желавшие передела, которым, собственно, я и предназначал презент, но и стоявшие против передела. И никто их не попрекнул при поднесении стакана с водкой, признавая совершенно в порядке вещей, что всякий берёт свою долю из свалившегося с неба куска...

Приговор был мною написан и представлен через несколько дней старо-

стой и тремя выборными в присутствии по крестьянским делам; им сказали там то же, что и я говорил, т.е. что недостаточно голосов и что приговор поэтому недействителен. Тем дело это на время и кончилось.

X

Как-то весною следующего года приехал к нам в Кочетово тот непременный член, о котором я уже говорил вскользь. Кочетовское общество не пожелало принять обратно в свою среду конокрада, сидевшего в арестантских ротах и подлежавшего, вследствие отказа общества, ссылке в Сибирь на поселение; непременному члену и надо было проверить приговор о непринятии в свою среду арестанта.

Приехал к нам Щукин вечером, когда мы, писаря, занимались. У меня на столе стояли две свечи, а на том, за которым работали мои два помощника, — три. Проходя через нашу комнату, Щукин остановился у их стола и уставился на свечи; помощники, конечно, привстали.

— Это что? — спрашивает Щукин.

Помощники молчат, не понимая вопроса.

— Отчего у вас три свечи? — поясняет капитан.

Помощники молча переглядываются. Наконец, один из них, побойчее, да к тому же уж получивший назначение в урядники в другой уезд и занимавшийся у меня последние дни, собрался с духом подшутить над начальством.

— Это во имя Св. Троицы, ваше высокоблагородие.

Его высокоблагородие подумало и изрекло:

— Это хорошо, но лучше, если две или четыре, а три свечи — дурная примета. Потуши одну!

Чуть-чуть не прыснув со смеху, помощник мой исполнил приказ...

На другой день, когда сходка уже собиралась, к Щукину, пившему чай, подошли двое кочетовских мужиков и, объяснив ему, что общество уже полгода не может прийти ни к какому соглашению относительно передела земли, просили его «разбить» сход и поверить голоса — «чтобы на чём ни на есть, а решить дело».

Щукин бросил на них грозный взгляд:

— А кто вам позволил делить землю? Разрешение имеете, а?..

Мужики в недоумении молчали. Видя их затруднительное положение, я, стоя в дверях комнаты, объяснил, что по «Общему Положению» разрешения от начальства на передел земли крестьянам не требуется, а нужно лишь согласие известного количества домохозяев. Против моего ожидания, Щукин промолчал и только угрюмо посматривал на меня; потом вдруг накинулся на мужиков:

— Пьянствовать захотели, а?.. Мало трескаете, больше понадобилось? «Землицы нетути», а водка есть, а подати стоять?.. Канальи!..

— Помилуйте, ваше высокоблагородие, пьянство уменьшится, потому земли ровнее будет: теперь у кого лишняя — сдаёт, у кого не хватает — принаймает, ну известно, магарычика и выпьют; а поделим — сдачи и съёмки меньше будет. Насчёт же податей будьте покойны: у нас уже годов двадцать ни одной копеечки в недоимке не было — так ещё отцами нашими заправлено.

Щукин сопел и сердито вращал глазами; наконец, буркнул: «Пошли вон!» Мужики мигом исчезли.

Поверка приговора о конокраде была быстро покончена. Щукин спросил сход: не принимаете такого-то? Десятка три мужиков, ближе стоявших и расслышавших вопрос, ответили: «Не примаем!» Тем дело и кончилось. Потом Щукин произнёс речь примерно такого содержания:

— Тут мне заявили, что вы землю делить хотите? Всё общество этого желает, или только горланы смуту заводят?.. А?

Общество, конечно, отмалчивается.

— Старшина! Ты должен знать, как тут дело? Желает общество или не желает раздела?

— Одни, ваше высокоблагородие, желают, другие нет. Желающих, однако, большинство.

— Так чего ж ко мне лезут, отчего приговора нет?

— Голосов быдто не хватает, ваше высокоблагородие.

— Ну, а не хватает — я-то что ж поделаю? А?.. Я тут ни при чём... Эй, какой там чёрт в шапке стоит? Забываться стали, канальи?.. Барином захотелось быть? Старшина, разыскать его и посадить в арестантскую на сутки, мерзавца!.. Ну, так делайте, как хотите: делите или не делите — мне наплевать, не моё дело... Слышали?..

Строгое начальство уехало; сход разошелся в какой-то апатии, даже не побранившись по поводу передела. Провинившегося мужика не разыскивали и в арестантскую не сажали: Яков Иваныч, хотя и подавал стаканы начальству, но за спиной их чувствовал себя самостоятельным и позволял себе критически относиться к наиболее нелепым распоряжениям «членов».

— Какой это член? — говорил он. — Ни слова сказать толком не умеет, только и слышно: я да я!.. Мужику надо дать понятие, что и как... Вот у нас членом, допрежь этого, г. Русаков был; не скажу, чтобы и он во всех статьях хорош был, но, по крайности, он мужика не гнушался и умел такое слово сказать, что его всякий понимал. Хоть бы об этих конокрадах: выйдет на крыльцо — «Здравствуйте, старички», — скажет. И потом начнёт:«Таперь, старички, задумали вы из среди себя человека исторгнуть, как есть — взять и в Сибирь его вогнать... Вы подумайте, старички, дело это не лёгкое, как человека от родного своего места ввергнуть за большие тысячи вёрст»... Ну, скажет

это — «подумайте», да и уйдёт в волость, а через десять там али пятнадцать минут опять выйдет, спросит: «Надумались?» и всех к сторонке к одной сгонит, да и скажет: «Переходите на другую сторонку, кто согнать его желает!» Так вот как образованные господа с мужиком обращение имеют: а это что — страм один...

Прошёл год. Вместо старого исправника появился в нашем уезде новый, человек ещё молодой. Он сразу проявил себя: несколько урядников, считавших единственною своей обязанностью обревизовывать питейные заведения в своих участках, лишились возможности продолжать свою плодотворную деятельность; один становой был переведён в другой уезд, а ещё один — причислен к губернскому правлению, за штат; старшины и старосты стали платить штрафы за дурное содержание мостов и пожарного инструмента; хлебные магазины стали поверяться не на бумаге, а на месте, в натуре; в полицейском управлении закипела деятельность, и даже постоянно дремавшее присутствие по крестьянским делам оживилось благодаря многочисленным заявлениям исправника о целом ряде неисправностей, найденных им в уезде. К Бельскому — так его фамилия — был для всех самый свободный доступ: дома ли, в присутствии, в управлении, на перекладных в дороге — он всех выслушивал, кто к нему ни обращался, делал, что мог, и если не было повода и возможности принять прямого участия в деле, то помогал, по крайней мере, советом... Не задаваясь широкими задачами, оставаясь тем, что есть, он с полной добросовестностью, без пустозвонства и шума исполнял свои и служебные, и человеческие обязанности. Помню, я, имея до него какое-то дело, вошёл в комнату, где он разговаривал с какой-то бабой; из слов её я понял, что она вдова и что муж оставил ей дом; детей у ней не было; прав на наследство законным путём она не предъявила, не подозревая совсем существования пятнадцати томов законов и думая дожить век свой под сенью дедовских обычаев. Таким легковерием её воспользовался племянник по покойному мужу, какой-то городской прохвост, и заявил права на наследство. Когда судебный пристав описывал дом, то племянник объяснил бабе, что это её вводят во владение, а приставу — что эта женщина живёт у него на квартире. Вызов наследников по газетам, которых никто не читает, состоялся, сроки все прошли, и делец новейшей формации выгнал тётку из дому при помощи полицейской власти, выкинувшей сундуки бедной женщины на улицу. Вот она и мыкается по добрым людям — не научат ли её, что делать ей, горькой... Исправник молча её слушал, постукивая ногой о пол.

— Батюшка мой, желанный, на тебя одна надёжа! Сказывал мне человек один, коли уж ты не поможешь — так некого больше искать... Не оставь меня, сироту, родимый! — И баба, зарыдав, упала на колени.

— Встаньте, встаньте, — сказал исправник надтреснутым голосом. — Я по совести должен сказать, что ничего тут поправить не могу, потому что всё дело, кажется, сделано по закону (он усмехнулся)... Но я вот что попытаю:

на будущей неделе приеду к вам в село и поговорю с вашим племянником. Усовестить-то его вряд ли удастся, а может быть, случится... Так идите с Богом и ждите меня; всё, что смогу сделать, сделаю. Идите, пожалуйста, а то у меня дела много.

Я потом стороной услышал, что племянник от дома не отказался, но обязался уплачивать тётке ежемесячно по три рубля. Немного сделало заступничество исправника, да и это случилось только благодаря каким-то воскресшим счётам племянника с полицией...

Одна из пригородных слобод, Воробьёвка, почти не занимается хлебопашеством, так как все жители её промышляют в городе каменщиками, штукатурами, малярами и проч. Большая часть надельной земли, что-то около двух тысяч десятин, была сдана лет восемь тому назад одному из воробьёвских мироедов по четыре рубля за десятину на двенадцать лет, причём на обязанности съёмщика лежали как ремонт сельского запасного магазина, так и пополнение хлебных запасов в законном количестве; кроме того, он же должен был на свой счёт содержать трёх полицейских десятских; за всем этим ловкий мироед получал ежегодно от арендуемой им земли чуть ли не рубль на рубль барыша, так как сдавал под озимое по 16 — 18 руб., а под яровое по 14 — 15 рублей за десятину. Но этим он не довольствовался и выгадывал ещё на том, что имел в «общественном» магазине только микроскопическую долю законного количества хлеба, да и то затхлого, никуда не годного; в десятские же он набирал увечных, глухих стариков, которым и платил рубля полтора в месяц жалованья... Бельский узнал, что арендатор этот, далеко до окончания арендного срока, хочет заблаговременно вновь снять на несколько лет мирскую землю и хищничать, таким образом, по-прежнему; вот как он рассказывал про свою попытку расстроить планы арендатора.

«Приезжаю я в Воробьёвку в тот самый день, когда сход должен был собираться: народу уж было порядочно. Беру с собой старосту и приглашаю всех, кто желает, идти за мной: пошло человек более полусотни. Ведите меня, говорю, к вашему хлебному магазину. Привели. Крыльцо развалилось, навес над ним вот-вот упадёт.

— Кто у вас должен чинить магазин? — спрашиваю.

— Арендатель Грачёв, — отвечают.

— Смотритель магазина тут? — спрашиваю.

— Смотритель померши с полгода, а нового ещё не выбирали, — отвечает староста. — Ежели угодно-с, ключ от гамазеи у меня.

— Отворяй.

Отпер; вошёл я. Пол прогнивает; закрома пусты, только в одном, как бы для виду, лежит четвертей примерно тридцать какой-то трухи. «Это что такое?» — говорю. «Рожь», — докладывает староста. «Ну-ка, возьми горсть!» Взял он и в смущении пересыпает ее с ладони на ладонь. — «Много ли ревизских душ в вашей Воробьёвке?»

— Под тысячу будет...

— Ну, ладно, — говорю, — а много ли тут этой трухи? Ведь и тридцати четвертей не наберётся? Где же «под тысячу» четвертей хорошего хлеба и пятьсот чистого овса?.. Отчего ты, староста, не собираешь хлеб? Ведь ты виноват будешь — я тебя под арест возьму.

— Я не виноват, — отвечает он, — это арендателя дело полностью содержать магазины: у нас и контрахт на это есть.

— А для чего у тебя сходка собирается? — спрашиваю я, будто ничего не знаю.

Он замялся, но при повторении вопроса объяснил, что всё тот же «арендатель» хочет новый «контрахт» на 12 лет делать, хотя и старому ещё два года до срока остаётся; на новый срок он прибавляет рубль на десятину. Я вернулся в волость и думал объясниться с самим арендатором; но он не являлся, узнав, вероятно, о моей ревизии магазина. Мне нельзя было долго оставаться, так как у меня были неотложные дела в городе, и я решил потолковать с обществом, чтобы раскрыть ему глаза на денной[35] грабёж, практикуемый Грачёвым. Касаться размера арендной платы, т.е. нарушать «свободу договора», я не имел права, и поэтому ограничился указанием в пределах своей компетенции на неисполнение Грачёвым контракта, т.е. на разрушающийся, пустой хлебный магазин. Я советовал с ходу перед заключением нового контракта обязать Грачёва исполнить все пункты старого. Меня слушали со вниманием, соглашались со всеми моими доводами, поддакивали и, наконец, объявили, что Грачёву земли на новый срок совсем не сдадут. Я предложил старосте составить об этом решении общества приговор и уехал в полной надежде, что всё сделается к лучшему... Через два месяца нечаянно узнаю, что Грачёв вновь снял всю землю на девять лет, прибавив лишь по четвертаку к пяти рублям за десятину, т.е. к цене, которую он давал прежде, и выставив несколько лишних вёдер водки для схода да приличное угощение в трактире для избранных... Так труды мои и пропали почти даром. Но я всё-таки помаленьку допекаю этого господина: всех десятских-инвалидов его я забраковал, велев нанять новых, помоложе; магазин заставил починить, а о недостаче хлеба сообщил в земскую управу... Да вряд ли что из этого выйдет»...

Отдержав год арендуемую землю, наши кочетовские мироеды не стали снимать её на новый срок, боясь передела.

С своей стороны, Иван Моисеич сдержал данное мне слово: он стал ревностно пропагандировать необходимость передела и из противника стал моим сторонником.

— Теперь все начеку, никто супротивничать не станет, побоятся, как бы не вышло чего худого. А всё-таки лучше было бы, если б кто из начальства приехал на сход: тогда дело решилось бы враз, без всяких споров, — говорил мне Иван Моисеич.

Пообсудив с ним этот вопрос, я решился обратиться за содействием к исправнику, который, как я надеялся, с полной охотой возьмётся за такое дело, взявшись, сумеет выполнить его. Внутренне скорбя о печальной необходимости обращаться к полиции за содействием восстановлению подавленных общинных традиций, я изложил исправнику обстоятельства этого дела, и он с первого же слова согласился приехать в Кочетово к назначенному дню и, при атрибутах своей власти, рассеять заблуждение относительно «царских писем».

Он приехал довольно рано, когда не весь ещё народ был в сборе. Сидя в «присутственной» комнате волостного правления, он пил чай и расспрашивал о волостных порядках, о жизненных условиях в деревне, о моей прежней жизни, о причинах, заставивших меня променять комфортабельную городскую жизнь на презренную должность писаря. В его расспросах не было никакой задней мысли, и я ему совершенно свободно рассказывал, что и как я делаю и думаю делать. Он со вниманием слушал.

— Да, — сказал он, — вы попали на хорошее дело. Я сам родился в деревне и в деревне вырос; я обучен на медные деньги, но с чистым сердцем могу сказать, что никогда от деревни не отшатывался и что интересы деревни мне так же близки и понятны теперь, как и в молодые годы. Я служу, как видите, в исправниках, но всё, что могу сделать полезного, или как человек, или как исправник, делаю по мере своего умения.

— Степан Васильевич, — заметил я, — ловлю вас на слове. Я держу в засаде несколько человек, которые желали бы с вами поговорить о своих делах и нуждах...

— Пожалуйста, сделайте одолжение, впускайте их! Я всё рад сделать, что могу. — И он наскоро стал доедать кусок булки, запивая её чаем.

Первым вошел угольский[36] староста, которому я нарочно дал знать, чтобы он приехал к этому дню в волость. Несколько слов о нём. Ему всего 30 лет; он женат, детей не имеет, и, таким образом, вся семья его состоит из него и жены, бабы смирной и работящей. Хозяйство у него небольшое, лошади нет, изба крошечная, но благодаря тому, что он довольно искусный столяр и что кормить ему приходится только жену, он живет вполне безбедно, допуская даже такую роскошь в крестьянском быту для этой местности, как ежедневное чаепитие. Обеспеченный своим мастерством в материальном отношении и обладая от природы недюжинным умом и стойким характером, он держал себя в обществе самостоятельно, не подлизываясь и не угождая богатым кулакам-мироедам, которых в Угольском, как и в каждом большом селе, был непочатый угол, и часто даже прямо вредил их интересам. Это их обозлило, и они подбили общество выбрать его в старосты противно деревенским обычаям в старосты одиночек не становить; сделано же это было в надежде, что он испугается тяжёлой должности и связанной с нею ответственности, побоится перспективы забросить свой дом, перестать столярничать и, таким образом, обнищать; ду-

мали, что он смирится и запросит пощады, а может быть, предполагалось подвести его под какую-нибудь уголовщину, чтобы окончательно угомонить... Но ожидания мироедов не сбылись. Селиванов от должности не отказался, пощады не запросил, обязанности старосты отправлял отлично, самостоятельно расправлялся с виновными, поколачивал их «для острастки» своим бадигом[37], работал на верстаке по вечерам при огне и продолжал попивать чаи с своей супругой; мирские же дела все сразу забрал в свои руки, и мироеды попали, таким образом, из огня да в полымя... Впрочем, пусть он сам рассказывает об одном из своих столкновений с деревенскими хищниками.

— Какое у вас дело? — спросил его исправник.

— Да вот, ваше благородие, с богачами нашими немножко не поладил, да и сумление берет, не дюже ли круто завернул? — нисколько не робея перед начальством, отвечал Селиванов. — Они мне всё Сибирью грозятся, а Н. М. и послали меня к вашей милости...

— Рассказывайте, рассказывайте, в чём у вас было дело?

— Изволите видеть — олех[38] у нас есть почитай что заветный, тридцатилетний, крупный, на избы годится. Дали мы приговор срубить из него четыре десятины — для себя, значит. Ладно; а думают у нас землю поделить осенью, если кочетовские поделят. Так один из богачёв и стал вдруг на сходе говорить: на какие, мол, души лес-от делить будем — на старые аль на новые? Сказал он это слово, и бунт у нас поднялся страшенный... Иные, кто понимает, что это пустой разговор, молчат, а беднота и надрывается: кто своё, а кто своё тянет. Ну, я их маленько сообразил; говорю, что не дозволю на новые души делить, потому и землю ещё не поделили, и приговора ещё нет на это дело; да и то сказать: негоже лес, тридцать лет нами и отцами нашими бережённый, за который уйма денег в казну переплачена, вчера народившимся сoплякам в надел давать. Сам это я говорю, а сам про себя мекаю: к чему это Гаврило Иваныч эту смуту затеял, ведь не спуста же, а к чему-нибудь, да гнёт?.. Только выходит тут наш же общественник — кабаком занимается — Никита Петрович и говорит это обществу: «Старички! Так и так, для чего смуту иметь и друг на друга обижаться? Не лучше ли богоугодное дело сделать и лесок этот самый на церковь пожертвовать? Церковь, мол, у нас без ограды стоит, мы ограду и соорудим во славу Божию»... Ну-с, таперь-то уж я понял, что и как, потому Гаврило Иваныч с Никитой Петровичем всегда одно дело орудуют сообща; наши же мужики и рты поразинули: и лесу-то жалко и, к примеру сказать, церковь Божия... А Никита Петрович сейчас ведро водки от себя, от усердия, значит: кушайте, мол, старички, на здоровье, да ограду и спрыснемте. Пить-то, почитай, все пили — у нас хоть от самого чёрта, — и то не побрезгуют, лишь бы поднёс, — а вижу, что многие и в мыслях не имеют лес отдавать. Я и говорю: «Старички! А если мы такое дело задумали, ведь нам старателя надо, чтобы он мог всё это произвесть — и лес продать, и ограду соорудить?» «Известно, надо!» —

кричит Гаврило Иваныч. — «Так кого же выбрать? — спрашиваю, — давайте Игната выберем?» — «Куда ему, он уж стар дюже», — говорит опять Гаврило Иваныч. — «Ну, Дениса!..» — кричат из толпы. «У Дениса семья большая, отяготительно ему будет», — бракует опять Гаврило Иваныч. — «Что ж, — говорю, — старички, видно, у нас в обществе лучше Гаврилы Иваныча и Никиты Петровича народу нет, так давайте их и выберем!.. А они это сейчас и размякли: «Мы, — говорят, — не прочь на храм Божий порадеть и еще обществу от себя ведро жертвуем». — «Ладно, — говорю, это ваше дело, а вот я только объявляю, кто ж у нас лес купит». — «У нас уж покупщик есть, — говорят новые старатели, — батюшка отец Никита согласие своё даёт»... А батюшка-то наш лесом занимается и большую торговлю ведёт. «Этак я не согласен, — говорю я, — поторопились вы маленько покупщика-то искать; а по-моему, надо торги назначить, окрестных покупщиков оповестить и, кто дороже даст, тому и продать; а продавши, деньги в банк положить. «Умён ты, — говорит Никита Петрович, — а как же строить-то будем, коли деньги в банке лежать будут?» — «Да вот как: нужно вам, скажем, сто рублей — мне скажите, я вам достоверение дам — вы деньги из банка получите, что нужно купите да счёт мне и представите!..» — «Как, ты нас на расписках держать хочешь? Доверия нам нет?» — кричат они. — «А вы что ж меня за мальчика, говорю, считаете? И лес взять хотите, и деньги у себя держать?.. Умны вы дюже, посмотрю!.. Нет вам никакого леса, нет и приговора! Кто свою долю хочет жертвовать, жертвуй — хоть лес, хоть корову, хоть жену с детьми, а я заказываю общественной ни ветки не давать — жалуйся на меня кто хочет!.. «На том я и ушёл. Они там, батюшки мои, чуть с рычагами за мной не погнались: как же, два ведра поднесли и задарма!..

— Так вы об этом-то деле сомневаетесь? — спросил, улыбаясь, исправник.

— Нет-с ещё, не об этом. Вот дня через два я оповестил лес рубить. Вышло нас на работу человек восемьдесят. Вдруг слышим, у нас в селе набат... Что такое?.. Побросали мы топоры — думаем, уж не пожар ли?.. Дыму, однако, не видать. А тут прибегает церковный сторож и говорит, что батюшка о. Никита требует меня в караулку; я ему на это говорю, что теперь я делом занят и что в караулку мне нечего ходить, а что есть у нас сельская сборня, туда батюшка может вечером прийти, коли у него дело до меня есть. Гляжу, через полчаса и сам батюшка в лес пожаловали... «Ты что это, антихрист, говорит, делаешь?» — «Батюшка, говорю, я не антихрист, а староста и прошу вас не оскорблять меня, потому я этого не попущу; а делаю я — сами изволите видеть что: лес общественный делим и рубим». — «Да как же ты смеешь? Ведь он на церковь пожертвован?» — «Нет, говорю, никто его не жертвовал, а вот как срубим да поделим по душам, тогда всяк свою часть волен хоть куда хошь девать. А зачем изволили вы в набат бить, народ пужать?..» — «Анафема,

говорит, ты церковь грабишь»... Ну, я тут топор бросил да медаль на себя и надел. Повторите, говорю, батюшка, что сказали?.. Он замолчал, только погрозился: «Помни же», — говорит. — И ушёл. А потом слышу, похваляется, что непременно в Сибирь меня загонит... Известно, он человек учёный, все законы знает, а я что знаю? И взяло меня сумление, ваше благородие, — не буду я за это в ответе?..

— Вы мне всё рассказали, как было?

— Всё, как было.

— По сущей совести, ничего не утаили?

— Вот же ей-Богу, всё как есть!..

— Так вас не в Сибирь, а благодарить вас за полезную вашу деятельность надо; вы поступили и по совести, и по закону. А батюшка сам не прав: в набат не следовало бить; да для чего же он бил?..

— Кто его знает! Видно, «своих» сзывать, на помощь, значит, — лес нам не давать рубить. Да они никто не пошли, потому мало их, человек пятнадцать, а нас без малого сотня.

— Как звать вашего батюшку? Которого числа и в каком часу били в набат?.. — стал задавать исправник вопросы. — Хорошо, идите. Я поручу приставу произвести об этом дознание, и если заявление ваше подтвердится, то я буду просить преосвященного[39] разъяснить вашему чересчур рьяному к церковным интересам батюшке, в каких именно случаях полагается бить в набат.

После старосты вошли два мужика: один — высокий, худощавый, угрюмый старик; другой — молодой ещё, юркий, с плутовским лицом. Это были «ходоки», поверенные одного бывшего господского сельского общества; они уже неоднократно донимали меня, заставляя рыться в архиве, давать им разные «скопии»[40], справки, писать приговоры и проч. и вот по какому поводу. Семь человек из их господских дворовых людей пошли ещё до X ревизии[41] на военную службу, причём «послуги» были обществу зачтены; когда же отставные солдатики вернулись со службы после 1861 г., то надела у них в родном селе не оказалось, дворни уже не было, и им приходилось измышлять себе средства к существованию; за них заступился тогдашний посредник и, в силу своей диктаторской власти, приказал обществу нарезать им земли. Общество поджалось и выделило солдатам по полоске. Прошло около двадцати лет; земля вздорожала в десять раз, и крестьяне стали с алчностью смотреть на душевые наделы солдат из дворовых людей, т.е. из лиц, не имеющих права на получение от общества надела. Теперь общество это от кого-то прослышало, что солдаты их неправильно владеют землею, потому-де на них от господ земли не нарезано; глаза у мужиков и разгорелись: пять душевных наделов (двое солдат к этому времени уж умерли, и наделы их вернулись в общество) — это, по крайней мере, сто двадцать пять рублей в год одной аренды!.. Кусок чересчур лакомый, чтобы не попытаться его ухватить. Немедленно выбрали двух

поверенных: старшего, Дубинина, испытанного кряжа, вынесшего от бывших господ не одну тысячу лозанов, и младшего, Капустина, не битого, но умственного пролазу. Сначала общество хотело просто отобрать у солдат их наделы и потом уже, по их выражению, судиться с ними; но я их убедил, что они за своевольство в ответе будут и что им следует сначала допытаться, вправе ли они это сделать, у уездного присутствия; в уверенности же, что лучше исправника никто не столкуется с ними, я и направил их к нему.

С этими ходоками исправник долго протолковал: сначала выслушал их, потом стал усовещевать. Он указывал им, что от крестьян отошло к солдатам не более чем по сажени земли с души, что это такая малость, о которой и говорить не стоит, что солдаты эти — старики и скоро перемрут, и тогда наделы их без всяких хлопот вернутся в общество; что обижать служивших за них людей, все несчастие которых состоит в том, что они принадлежали по воле барина к дворне, — грех и что, обидя стариков, они будут виноваты и перед законом, и перед своей совестью... До сих пор с исправником говорил только младший ходок, Капустин; старший же угрюмо молчал, но тут заговорил.

— Душевно изволите говорить, ваше благородие, хорошо вас и послухать; да что с обществом поделаешь, коли оно, как один человек, порешило?.. Опять, ваше благородие, солдаты эти не нищие: только двое у нас в селе живут и землю пашут да табаком занимаются; а прочие — кто где... Один в кабаке сидит, прочие на чугунке в сторожах али в лесу в караульщиках — доподлинно не знаю; они и землю-то нашу кровную в глаза не видят, а нам же её сдают ежегодно да верхи берут. Ну, и стало нам обидно за свою же землю им деньги платить, а они возьми, да чужому дяде из другого села и сдай; это уж вовсе не в порядке...

Прошло несколько минут в тяжелом молчании; ходоки глубоко вздыхали.

— Ну, старики, я не верю и не хочу верить, чтобы правда на небо ушла; я убеждён, что в миру есть ещё совесть. Если уж всё общество ваше находит, что солдаты эти неправильно пользуются землёй, то делать нечего — хлопочите, чтобы законным порядком признали эту неправильность. А моё вам последнее слово — напрасно вы из такой малости людей собираетесь обижать: с миру по нитке, голому рубаха; вы же — только водки больше попьёте... Ступайте!

Стали являться новые просители: один жаловался, что его неправильно в сотские выбрали, другой просил оставить у него на поруках приставшую к нему лошадь, какая-то старуха пришла жаловаться на своего зятя, что он ей хлеба не даёт, со свету сживает... Со всеми исправник радушно говорил, всех удовлетворил, насколько мог. Я слушал его и думал: сколько горя на Руси, сколько мелких бед и недоразумений было бы устранено, если бы имелось побольше таких честных, преданных своему делу служак, каков исправник Бельский...

Как я уж упоминал, со вступлением его на должность изменился к лучшему состав становых приставов и, насколько вообще возможно, состав уряд-

ников. До Бельского заведывали станом, в состав которого входила наша волость, двое друг друга заместивших становых, оба преинтересные в своем роде личности. Первый, Конев, имел страсть разъезжать по питейным заведениям и «белым харчевням»; приедет, например, и начинает придираться с какими-нибудь пустяками к хозяину. Происходит сцена вроде следующей.

— Отчего у тебя, друг мой, паутина на полке?.. Разве ты не знаешь, что в законе сказано?.. «Содержатель заведения имеет наблюдение, дабы посуда была чиста»... Так-то, братец. А как же она может быть чиста, когда вокруг пыль, паутина, грязь, — ужас, ужас!.. Нет, друг мой, сердись не сердись, а актец я на тебя напишу: нельзя, не я, а закон того требует!.. Понимаешь? Закон!

Содержатель нимало не смущался, однако, перспективой составления «актеца», ибо по опыту знал, к чему это ведёт. Он шёпотом приказывал жене или служащему приготовить закусочку и поставить самовар, а затем звал начальство за перегородку: «Вам там удобнее писать будет, ваше благородие, пожалуйте». Следовала выпивка, затем назначалась цена несоставленному «актецу»: иногда, при большом финансовом расстройстве в делах станового, брался четвертной билет, иногда же дело ограничивалось пятишницей и даже трюшницей. Собираясь уезжать, Конев целовался с радушным хозяином и приговаривал: «Да смотри, чтоб нам друзьями оставаться, чтоб обиды на меня никакой, — ни-ни!..»

Так держал Конев бразды правления лет пять, но наконец сорвалось, — и как ещё сорвалось! Приехал он в одно село для сбора податей, заставил гнать народ в сборню[42] и при себе приказал сборщику принимать деньги. Принимали и набрали целую пачку; Конев протянул к ней свою руку со словами: «Дай-ка, я пересчитаю; ты ведь, мужиковина, и считать не умеешь!» Стал считать — и вдруг пятишницы не оказывается. «Ты, видно, обчёлся, — говорит он сборщику, — тут не 187, а только 182 рубля». Сборщик стал шарить по лавке и под столом, разыскивая исчезнувшую ассигнацию, как вдруг один из стоявших у стола мужиков протягивает — о, дерзость! — свою грязную лапу к форменному обшлагу станового и говорит сборщику: «Да ты, дядя Митряй, вот где поищи пятишницу-то, а то что зря под столом смотреть»... Всеобщий хохот!.. Сборщик торжественно вытаскивает из обшлага пятишницу, один угол которой предательски торчал наружу. Конев, в смущении от неудавшегося фокуса, старается оправдаться, говоря, что он захотел испытать сборщика, что нарочно спрятал «на время» бумажку, но ему не верят: подымается хохот, насмешки градом сыплются на сконфуженного начальника, слышатся даже возгласы: «Куроцап, разбойник!» Ему ничего не оставалось, как, севши в сани, удариться в бегство... Дело дошло до начальства, и неловкий фокусник во избежание скандала был уволен в отставку.

Его место занял некто Псаревский. Этот к кабатчикам не ездил, пятишниц не таскал, водки не пил, но был жесток и на руку, и на слова. Ругался он

художественно, а встрёпки, волосянки тож, задавал настолько мастерски, что знатоки в этом деле, всю жизнь получавшие начальнические зуботычины и побои с окровавлением и без оного, только руками разводили: «Ну, и мастак же драться, ловок, шут те возьми! Дня два в голове звон стоял — так по щекам отдул лихо и по всем углам избы за виски таскал; а ни одного синяка нет тебе на всём теле — никто и не поверит, что бит был!» Этот Псаревский был большой любитель до «скоромного» и не упускал ни одного случая позубоскалить с пришедшей к нему по делу бабой или девкой. Циник он был ужасный, и один из его поступков и был причиной его перевода в другой уезд. Вот как было дело.

Во время летних работ, когда все мужики были на поле, в одну из небольших деревушек вёрст за двадцать от Кочетова, в богатый дом зашли три цыганки с предложением бабам поворожить. Предложение, конечно, принято, потому что нет, кажется, на свете более любопытного и падкого на всякие шарлатанства существа, как деревенская баба, и, покуда две старые цыганки ворожили, третья, молодая девушка, вышла будто на двор, да из незапертой клетки и утащила сундучок с деньгами — около тысячи рублей. По всей вероятности, существование этого сундучка было заранее известно ворам, потому что на задворках стояли повозки с ожидавшими их прочими цыганами; молодая цыганка передала сундучок одному из сообщников, а сама успела вернуться в избу, где товарки её продолжали рассказывать разные небылицы глупым бабам. Наконец, попрощались, получили за ворожбу пяток яиц и ушли, как будто к соседям, а на самом деле бросились к ожидавшим повозкам и — марш просёлками на Кочетово. На этот раз, однако, расчёт цыганок не удался: они надеялись, что сундучка хватятся только разве мужики по возвращении с поля; вышло же иначе: одна из баб вошла в клеть за каким-то делом тотчас после ухода цыганок и нечаянно заметила отсутствие сундучка. С воем и плачем кинулась она в избу, а потом все вместе в поле, где работали мужики; на счастье, поле было недалеко. Мужики, узнав, в чем дело, вскочили на коней и пустились разными дорогами в погоню. Под Кочетовым одному из них удалось почти что нагнать уезжавшие от него вскачь повозки, но лошадь его стала приставать; тогда он принялся кричать «караул». Народ, бывший на поле, сообразил, в чём дело: образовалась новая погоня, и цыгане были пойманы в версте от Кочетова. Произошел ужасный самосуд: цыган били и кулаками, и палками, и кнутом; обе повозки были перерыты, но дорогого сундучка в них не нашлось. Опять били, опять искали, и так до трёх раз: цыгане стоически переносили мучения; наконец, их повезли в волость. Народу собралось человек пятьсот; можно было ежеминутно ожидать, что толпа доконает своих исконных врагов-конокрадов, разорвав их в клочки... Пошли допросы, обыски; цыган, в числе девяти человек, заперли — для их же безопасности — в арестантскую; за становым послали нарочного. Приехав, он вновь перерыл все вещи, но сундучка

или сколько-нибудь значительной суммы денег не нашёл. Вот тут Псаревский и отличился: молоденькую, хорошенькую цыганку, главную виновницу кражи, он приказал подробнейшим образом обыскать, а для лучшего успеха — раздеть её донага, что и было исполнено десятскими тут же на глазах у собравшейся в сборне толпы не менее ста человек. Во время «обыска» Псаревский плотоядно облизывался, да и толпа чувствовала себя неспокойно — животные инстинкты разыгрывались, несмотря на жалобные стоны и слёзы цыганочки... (Считаю необходимым объяснить, что я пишу со слов очевидцев; самого же меня при всей этой истории не было: я был в отъезде «по делам службы»). Денег, конечно, при ней найдено не было, да и вряд ли их искал Псаревский: вернее всего, он не хотел упустить удобного случая доставить себе безнаказанно редкое удовольствие... Что же касается пропавших денег, то дело было так: цыгане по дороге взломали сундук и бросили его в лог, а при виде погони один из них ускакал верхом на пристяжной другой дорогой, увезя с собой деньги, так что погоня гналась по ложному следу. Ускакавший цыган так и остался не разысканным и уж, конечно, не выданным своими сообщниками, упорно отрицавшими даже самый факт таинственного исчезновения одного члена из их табора и одной пристяжной лошади... Дело же о чересчур строгом и публичном обыске молодой цыганки получило некоторую огласку, и Псаревский проживает теперь в другом уезде, заведуя, в наказание, огромным, разбросанным на полсотни вёрст станом.

А то, по соседству, был и такой становой, которого раза два поджигали и которому пришлось как-то прыгать из окошка волостного правления вместе с приятелем своим, писарем, утекая от бушевавших крестьян; «бунт» же этот произошёл по тому обстоятельству, что становой вместе с писарем сняли у пяти-шести мироедов мирской лужок под сенокос, рублей за пятнадцать (точных цифр не помню), в то время как он стоил втрое дороже; собравшаяся сходка об этом узнала, вознегодовала и пошла шуметь, требуя к себе на ответ чересчур невыгодных съёмщиков; а те предпочли улепетнуть через окно... Этот становой также переведён в другой уезд, правда, с повышением... за долголетнюю полезную службу.

Теперь у нас становым добродушнейший старичок, никому зла не делающий... виноват, — страшный злодей для своих собеседников. Дело в том, что старичок считает себя компетентным лицом решительно по всем отраслям знания и вопросам жизни. Он одинаково легко и усыпительно рассуждает о политике Гладстона и о приготовлении малороссийских вареников, о финансовом кризисе в России и о воздушных шарах, о социалистах и — и о чем угодно. Ни разу не случалось за двухлетнее наше знакомство, чтобы старичок сказал «не знаю» или замолчал бы по собственному побуждению, когда в одной комнате с ним был хоть кто-нибудь, достойный быть его собеседником. Когда он приезжал к нам в волость и, расположившись на отдых, приглашал меня принять

участие в чаепитии, я усердно курил папиросы, думал свои думы и изредка — так минут через пять — говорил «да» или «вот как!», не заботясь, впопад ли говорю, и не зная, к чему относится моё восклицание: к рассуждениям ли о воздушных шарах или к критике немецких мероприятий против социалистов; а добродушный хозяин бесконечно разглагольствует, очень довольный моим молчаливым вниманием. Поэтому мы с ним были большие друзья, и лично для меня другого станового не надо было.

Однако пора возвратиться к давно прерванному рассказу. За полуторагодовой промежуток времени, прошедший со времени первых сходок по поводу передела земли и до описываемого момента, мнение мирян об этом предмете несколько поизменилось. Многие, остававшиеся нейтральными относительно решения этого вопроса, подчинились духу времени и хоть слабо, но стали признавать, что «делать нечего, — видно, супротив мира не пойдёшь, хоша и убыточно маленько будет». Это те домохозяева, у которых количество наличных душ мужского пола совпадает с количеством ревизских, и число наделов не должно было поэтому подвергнуться изменению, но самая величина наделов необходимо должна была несколько уменьшиться сравнительно с размером прежних наделов на ревизские души, потому что, по ревизии, пахотная земля, принадлежащая обществу, была поделена на 1300 душ, а наличных душ мужского пола, на которых приходилось нарезать её теперь, оказывалось никак не менее 1800. Но домохозяева эти помнили, что часть земли, неподелённую на души, бывшую до сих пор в общем владении сотен и сдававшуюся из году в год на покрытие общественных нужд и на пропой, предполагалось ныне тоже разверстать на души, так что уменьшение нового душевого надела должно было произойти не в пропорции 1/1300 : 1/1800, а несколько меньшей. С другой стороны, самые ярые противники передела, арендаторы общественных участков, отдержав свою аренду, отказались от новой съёмки, и им, таким образом, уже не грозила опасность потерять свою оплаченную вперёд аренду. Словом, предсказание Ивана Моисеича, что препятствий к разделу больше не будет, оправдалось: если и было человек сорок домохозяев, которым вследствие значительного сокращения числа их надельных душ передел был прямо невыгоден, то они, по малочисленности своей, открыто противоречить составившемуся подавляющему большинству не осмеливались, и многие из них даже не пришли на сходку, созванную по случаю приезда исправника.

Он стал говорить со сходом не с крыльца, как это обыкновенно практиковалось, а войдя в самую толпу и составив из неё широкий, так называемый казацкий круг. Пригласив сход надеть шапки, что было после некоторого колебания исполнено, Бельский в ясных, «хороших» словах разъяснил необходимость от времени до времени делить землю — во избежание крайней неравномерности в распределении её; между прочим он указал на то обстоятельство, что есть уже молодые солдаты, вернувшиеся с царской службы домой и не

имеющие дома ни борозды земли, как рождённые после X ревизии... Толпа слушала с глубоким вниманием; речь исправника была для неё как бы выводом из всех её мыслей, споров и брани по поводу передела; кой-где слышались вздохи и сочувственные восклицания; когда же Бельский, кончив говорить, предложил всем желающим передела земли стать по левую от него руку, а не желающим — по правую, то ни одного желающего стоять по правой стороне не оказалось: приговор был постановлен единогласно 387 домохозяевами.

У всех как бы тяжёлая обуза спала с плеч; раздались восклицания: «Слава Богу, наконец-то покончили! Пора уж!.. Ну, Господи благослови, в час добрый!.. Покорнейше благодарим, ваше благородие, что потрудились из-за нас»... и проч. Бельский ушел в волость, а сход занялся выработкой деталей будущего дележа. Было, между прочим, определено произвести передел сроком на шесть лет; 1-го сентября этого года определить количество душ мужского пола, кои окажутся налицо, и нарезать им равные душевые наделы, причем два поля переделить осенью того же года, в сентябре или октябре, а третье, которое будет засеяно озимым, поделить на будуший год, тоже осенью, по снятии урожая; количество «сотен» оставить то же, т.е. восемь, а «десятков» сделать — сколько выйдет; вдовам. имеющим одних дочерей или хотя бы и бездетным, но живущим самостоятельно, дать по половине душевого надела без платежа податей и отбывания повинностей, и проч. Я не буду вдаваться в подробности производства передела. так как здесь меня не интересует этот вопрос; но нахожу необходимым упомянуть о некоторых частных обстоятельствах, его сопровождавших.

Бобылям[43], о которых я упоминал выше, наделы были нарезаны наравне с прочими, т.е. чересполосно, и оставлены в мирском владении сотен до тех пор, пока спор о земле не будет разрешён Сенатом, куда кочетовское общество апеллировало на решение губернского по крестьянским делам присутствия, решившего, что бобыли, сами отказавшиеся от земли, имеют полное право в каждую данную минуту требовать её себе обратно; на случай же, если и Сенат решит это дело в пользу бобылей*, и была устроена чересполосица их наделов с тою целью, чтобы они не могли свой участок сдать целиком в посторонние руки, а принуждены бы были или сами обрабатывать землю, или сдавать её подесятинно своим же однообщественникам. Далее, не все вдовы получили даровые полунаделы: четверым из них (двум «черничкам», затем одной, имеющей богатого зятя, и одной, имеющей 300 руб. денег, положенных в банк покойным свекром на имя её двух дочерей девочек) общество отказало в этих полунаделах ввиду их относительной обеспеченности в материальном отношении; прочим же восьми вдовам, не имеющим никаких средств к жизни, даровые полунаделы были даны. Все безземельные крестьяне — т.е. лица, приписавшиеся

* Летом 1884 г. меня уведомили, что Сенат кассировал решение губернского присутствия, поручив ему рассмотреть это дело вновь.

к обществу после ревизии и владевшие земельными наделами только на бумаге, большею частью по собственному желанию, благодаря малодоходности земли и связанным с нею повинностям — ныне себе надел потребовали, так как «верхи» получаются теперь без всякого труда; этим господам, аристократии из бывших дворовых людей, — всего на одиннадцать душ — земля была нарезана, но при всеобщем неудовольствии, так как при приписке своей они словесно обещали никогда земельного надела себе не брать и приписывались к обществу как бы для одного счёта.

Самый дележ тянулся недели три; но это неудивительно, если принять во внимание, что пахотной земли у кочетовского общества имеется более 6000 десятин. Каждое утро толпы пеших и конных крестьян человек в 20 — 30, представители своих десятков, отправлялись на поле, вооруженные заступами и саженью[44] в виде циркуля; все имели с собой запасы хлеба на день. Пахотные поля кочетовские исстари разбиты на столбы, которые при переделах не изменялись, а о владении тем или другим столбом бросался между сотнями жеребий. Столбы, однако, были так неравны между собой, что разница между душевыми наделами в той или другой сотне доходила до $^1/_{20}$ десятины и более; дело в том, что все столбы предполагались шириной в 80 саженей, так что при 30 саженях, отложенных по длине, и должна бы была получиться казенная десятина в 2400 кв. саженей, но столбы имели форму неправильную: в одной сотне на всем протяжении его оказывалось всего 76 саженей в ширину; в другой в начале столба — 82 сажени, а в конце — 79 саженей и т.п.; но на эти небольшие неточности внимания не обращалось, и площадь длиною в 30 саженей, отложенных по ребру столба, какова бы ни была его ширина, считалась за десятину. Крестьяне, конечно, замечали неточность своего измерения, но перемерку самих столбов с нарушением столбовых меж произвести не решались вследствие громадности работы; перемерка же каждой десятины, при огромном количестве их, была бы также затруднительна. Измерения производились молчаливо и сосредоточенно, и только по поводу какого-либо спорного обстоятельства подымался шум и крик; трудно было понять постороннему наблюдателю что-нибудь в этой массе отдельных, бессвязных восклицаний, выкрикиваний и ругательств, и новичок мог бы подумать, что поднялась такая неурядица, которая и в год не распутается. Однако голоса спорящих мало-помалу стихали, наконец, замолкали вовсе, и мерщик опять продолжал свою работу, выкликая: раз, два, три и т.д. до тридцати, а счётчик с биркой и ножом в руках заканчивал: «первая» или «вторая», — подразумевая: десятина. Все сомнения разрешались тут же, на месте, и ни одной жалобы на неправильность дележа не было предъявлено волостному суду; точно и довольно быстро вычислялась площадь очень сложных фигур вроде неправильного многоугольника с несколькими округлёнными (логом или речкой) сторонами. Сажень в виде циркуля, развёрнутого под прямым углом, служила и для измерения, и за

астролябию для восставления и опущения перпендикуляра; всё делалось так просто и отчётливо, что решительно всем участникам в дележе было понятно, что делает или хочет делать мерщик, измеря эту сторону клина или разбивая острый угол треугольника — клина тож — пополам; если же в ком-нибудь рождалось сомнение, то тут-то поднимался крик и шум и продолжался до тех пор, пока оставался хоть один сомневающийся. На поле оставались до позднего вечера, особенно когда приступили к дележу дальних столбов, отстоящих от села верстах в 12 — 15; поздними вечерами приходилось мне видеть из окна, как кавалькада серых воинов подъезжала с поля прямо к кабаку и распивала четверть или две — в счёт арендной платы за какой-нибудь маленький клин, который не стоило делить на души и который сдавался поэтому в аренду в одни руки; охотники снимать такие клинушки находились всегда тут же, между мерщиками. При сдаче за водку десятина шла не дороже 7 — 10 рублей, между тем как нормальная её стоимость была не менее 10 — 15 рублей; впрочем, цифры эти выведены мною по расчёту, потому что десятины в отрезе никогда не остаются, а бывают только клочки в четверть десятины и менее. Эта разница в цене не может, однако, служить значительным упрёком мерщикам в пропивании мирского добра: прежде чем осуждать, нужно войти в положение людей, целые дни проводящих в поле на мирской службе, в то время как прочие однообщественники их живут дома и работают на себя; вознаграждения за эту исполняемую мирскую работу мерщики не получают, и она им в прямой убыток, так как дом и хозяйство их лишаются на всё это время работника. Понятно, что мерщики считают себя вправе после двух-трёх рабочих дней выпить шкалик-другой на мирской счёт. Из расспросов моих по поводу этого обстоятельства оказалось, что всего пропито было разных клинушков, величиной от $^1/_{10}$ до $^1/_4$ десятины, на сумму около 120 рублей, что составляет расход по измерению земли на одного домохозяина около двадцати копеек. Этот расход, конечно, должен считаться очень скромным ввиду того, что двадцать коп., разложенные на шесть лет, определят ежегодный расход на предмет правильного распределения земли всего около трёх коп. на домохозяина — величина окончательно ничтожная; в силу этого ли, или просто в силу обычая, мне никогда, даже в частном разговоре, не приходилось слышать выражения неудовольствия по поводу пропитого мерщиками клинушка. Кроме того, не надо упускать из виду, что состав мерщиков не постоянен, а совершенно случаен и что каждый из сидевших нынче дома может завтра отправиться на поле мерить и затем вечером принять участие в общей выпивке. Бобыльские наделы и некоторые другие, более крупные участки, по тем или другим причинам не попавшие в развёрстку, становились общественной собственностью всей сотни, которая впоследствии и распоряжалась ими по своему усмотрению, без всякого контроля со стороны всего сельского общества или старосты. Таким образом, сотня есть не что иное, как мелкая, но самостоятельная по-

земельная община; то же самое до некоторой степени относится даже к десяткам, т.е. полюбу соединившимся домохозяевам, у которых в общей сложности десять надельных душ; эти десятки также владеют иногда микроскопическими клинушками, не поделёнными между ними на души, и эти клинушки составляют уже собственность только этого десятка. Таким образом, крестьянин может быть: первое — неограниченным (в известном отношении) собственником своего надела и второе — участником: а) в мирских землях своего десятка, б) своей сотни и в) своего сельского общества. Эти-то мирские, не поделённые на души клинушки обыкновенно сдаются «десятками» или «сотнями» — смотря по тому, в чьём владении состоят — в аренду, и при этих сдачах происходит злоупотреблений гораздо больше, чем, например, при разделе земли. Дело в том, что в процедуре сдачи в аренду мирских клиньев и десятин участвуют только немногие наиболее состоятельные или многосемейные домохозяева, у которых есть кому остаться дома, нарезать сечки, напоить скотину и которым ничего не стоит потолочься час-другой около кабака ввиду даровой выпивки в том же кабаке; большинство или, во всяком случае, порядочная часть таких сдатчиков — всегда мироеды, между собой не конкурирующие. Дело происходит обыкновенно так.

Иван, мужик из среднесостоятельных, не опускающий случая схватить «счастье», если оно даётся в руки, облюбовал себе сотенную мирскую десятину. Первым долгом он направляется к Парфёну, самому завзятому горлодралу, кулаку и выжиге на первый взгляд, и вместе с тем самому нужному человеку в сотне, — если к нему присмотреться поближе, — знающему все мирские распорядки и нужды, все мирские клоки, будь они не более $^1/_{15}$ десятины, характеры и наклонности всех своих односотенных домохозяев, их семьи, их коров и лошадей, количество свезённого ими с поля хлеба, количество проданного в городе овса, количество заготовленной ими к празднику водки — словом, решительно весь домашний их обиход... Вот к такому-то всеведущему Парфёну и приходит Иван.

— Добро ли поживаешь себе, Парфён Семёныч? — начинает Иван.

— Бог грехам терпит!.. Помаленьку! Садись, Иван Иваныч, гостем будешь.

— И то сяду. Чтой-ты, никак, строиться задумал, кирпичу навёз?

— Какая моя стройка — так, случай подошёл. За землю, значит, кирпичом один человек заплатил. Я себе думаю — взять хоть кирпичом, на что-нибудь да пригодится; больше с него ведь нечем взять, а про деньги и не поминай... Ты уж не купить ли хочешь?

— Нет, на что мне!.. А я к тебе по делу, Парфён Семёныч. В «Поповом Отроге» десятину мирскую снять бы хотел. Колесов Митюха уж отдержал — ноне её сеять надо рожью. Она хоша мне и не дюже нужна, а так, к месту пришлась: у меня там еще пахота есть...

Иван отворачивается, как будто разглядывая лежащие на полатях полушубки.

— Знаем эту десятину, как не знать... Только какая ж у тебя там ещё пахота? Не слыхал я, чтоб ты у кого снял.

Иван жмётся; он хотел бы соврать, но чувствует себя в положении ученика перед строгим и всезнающим экзаменатором; соврать же ему показалось необходимым, чтобы не обнаружить сразу своей нужды в земле.

— Да, признаться, снять ещё не снял, а почти поладил; набивается тут один человек.

— Кто такой?

— А этот... как его?.. Да Федька Волохин. Намеднись приходил...

— Так; ну, это он врёт. У Федьки ещё до масляной вся земля раздата, только один осьминник на кашу себе оставил.

— Ска-ажи на милость! Ах, он, мошенник! — негодует Иван, сворачивая с своей больной головы на здоровую Федькину, потому что Федька в мошенничестве не виноват и к Ивану с землёй не набивался.

— Так как же десятину-то? — приступает опять к делу Иван. — Ты уж подсоби, Семёныч, я те вот магарычок принёс, — говорит он, вытаскивая из-за пазухи кошель, а из кошеля засаленную рублёвую бумажку.

Парфён хладнокровно наблюдает за действиями Ивана: «чижик»[45] лежит на столе перед Парфёном, но он его не трогает до окончательного решения дела.

— А много ль давать хочешь? — спрашивает он Ивана.

— Это за десятину-то? Да что положишь, тебе виднее... Сам знаешь, земля там не больно, чтоб хороша; опять — ложбина есть...

— Какая там ложбина, — вниманья не стоит! А земля — зачем хаять — хорошая, отличная земля... Ставь полведра да деньгами семь рублей.

— Семь рублей! — деланно ужасается Иван. — А я так думал, пятишницы за глаза?

— Пя-ятишницы!.. Умён ты дюже, я погляжу!.. Пятишницы... Пойди-ка, поищи за пятишницу, — и ледащего осьминника ноне не найдёшь, а ты — десятину!..

— Ну что ж, — сдаётся Иван, сам сознавая несообразность своей цены, — семь так семь. Когда же сходку собирать будешь?

— Это соберём, не твоя забота. Ты только не прозевай, приходи, а то кто-нибудь ещё ввяжется.

— Ладно, не впервое; неужто ж маленький?.. Счастливо себе оставаться.

— Благодарим! С Богом, — заключает Парфён, беря со стола ассигнацию, так как торг пришел к благоприятному концу. Эта бумажка — подарок, или, если хотите, взятка лично Парфёну за его труды.

В чем же состоят его труды?..

XI

Я хочу в отдельной главе познакомить читателя с Парфёновой деятельностью и с Парфёновыми трудами. Они так многосторонни, так необходимы обществу, эти труды, что Парфёны никак не могут считаться наносным или случайным явлением в деревне: они — экономическая категория, они — продукт, неизбежно вырабатываемый каждой достаточно большой по численности общины, в которой дифференциация и индивидуализм находят достаточно почвы для своего развития. Парфён — сила умственная; совсем не требуется, чтобы он был богат, но необходимо нужно, чтобы ему представлялась возможность «кормиться» около мира, иметь некоторые материальные выгоды от занятий мирскими делами, иначе Парфёну не будет никакого интереса, никакого расчёта тратить своё рабочее время на сходках, дележах, наёмках и проч. Повторяю, Парфён так необходим нынешнему крестьянскому миру, что, при случайном отсутствии его, сходки нередко расходятся ни с чем, ибо толпе недостаёт коновода, заправилы и знатока мирских дел и нужд, и умри сегодня Парфён, мир необходимо должен выделить из своей среды другого Парфёна... Несколько фактов из деятельности Парфёна наилучшим образом объяснят его значение для мира, его силу, пользу и вред, приносимые им обществу, и проч.

Возьмём хоть случай с Иваном. Прежде всего, как я сказал уже, Парфёну нужно помнить, что мирская десятина в «Поповом Отроге» (а таких не один десяток) отошла уже от Колесова и никому ещё вновь не сдана, чего, наверное, $^4/_5$ прочих односотенных его совсем не помнят; затем ему нужно знать местоположение и качество этой десятины: последнее само собой понятно для чего, первое же на тот случай, если бы десятину снял кто-нибудь заочно, не видав её; тогда тот же Парфён — больше некому — должен указать съёмщику, где его десятина находится. Потом, после посещения Ивана, Парфёну необходимо затратить некоторое время на созыв схода; он должен знать, в какое время большинству из нужных ему людей посвободнее и когда они без всякого ущерба для своего хозяйства могут прийти на сходку. Парфён не начальство, не старшина и даже не староста; он не может сзывать схода, когда ему вздумается, не имеет «законнаго» права отрывать людей от работы по пустякам и должен сообразить, в какой день и в какое время дня народ будет иметь свободный час-другой. Сообразив всё это, Парфён должен сходить к десятскому, который, кстати упомянуть, бывает у него всегда в послушании — мы увидим ниже почему — и приказать ему созвать нужных ему людей: Савелья Панкрашина, Сидора Колесова, Михайлу Серёгина и других. Званых бывает не более 12 — 15 из общего числа 60 — 75 домохозяев, входящих в состав сотни; прочие не приглашаются, как люди, значения не имеющие; званые же — Савелий, Сидор и проч. — принадлежат к самым сильным, влияние имеющим дворам. Но на совещание являются обыкновенно человек 5 — 10 лишних, незваных

посетителей, так или иначе узнавших, что будет сдаваться мирская земля и что, следовательно, предстоит выпивка на мирской счёт. Если весть о сём приятном для мужицких сердец событии разнесётся быстро, то бегут на сходку все мужики, которые в данную минуту дома и не имеют спешной работы; если их набегает много, человек 40 — 50 (иногда по двое и по трое с одного двора), то Иваново дело не выгорает: он бывает принуждён накинуть ещё полведра водки да рубль-другой деньгами, так что десятина вгоняется в её нормальную цену 14 — 15 рублей. В таких случаях Иван иногда отказывается от аренды, рассчитывая где-нибудь снять подешевле, и сотня или понижает свои требования (относительно денег, но никогда — водки), или сдаёт землю другому охотнику, если таковой выискивается. Парфён в этом случае, однако, почти никогда не изменяет Ивану, а держится нейтралитета, если новый претендент мужик влиятельный, и возвращает Ивану взятый у него рубль, или же, если новый арендатор не страшен, т.е. принадлежит к простым лапотникам, то наскакивает на него, орёт, шумит, припоминает какие-то потравы, какие-то неотъезжанные подводы, приплетает сюда сноху, подравшуюся с соседкой, — словом, старается сбить смирного противника с позиции, что ему иногда и удаётся. Так или иначе, Парфён в убытке не будет: с Ивана ли, с нового арендатора Петра — своё он получит, не считая законной доли в мирской выпивке; только с Петра, которого он честил на сходке, он получит несколько менее против того, что давал Иван, — совершенно же отказать Парфёну в магарыче никакой Пётр не решится, потому что Парфён — человек нужный и не сегодня-завтра пригодится тому же Петру, ругательски ругаясь из-за него с каким-нибудь Панкрашкой. Выставленную съёмщиком водку пьют огульно, — все, кто пришёл, конечно, из этой сотни, — без различия того, сколько душевых наделов у пришедшего, и даже двое и трое с одного двора, так что выпивки в этом отношении — чисто братские, дружеские, без всякой экономической подкладки. Не пьющие же водки (их вообще 5 — 10%, но на таких сходках их бывает и того меньше) или уходят по домам, если количество водки, падающее на их долю, невелико и о ней хлопотать не стоит, или же отливают свою часть, если она больше шкалика, в нарочно принесённые посудины и несут её домой, где и берегут до случая, т.е. до праздника, когда придётся угощать гостей, или же до какого-нибудь делового посещения «нужного» человека, хоть бы это случилось и в будни.

Если «простонародие» про сходку не прослышало и на ней присутствует только аристократия мужицкая, созванная Парфёном, то дело Ивана идет как по маслу. Начинается с того, что Парфён объявляет: нужны, мол, деньги — жалованье уплатить десятскому, сторожу, бочку пожарную починить и т.п.

— Думайте, старички, откуда денег добыть?..

— Господа старички, — вступается Иван, — мне бы вот десятинку отдали, что в «Поповом Отроге»; я бы уважил, полведёрочки поставил, и деньги сейчас — вот они, без хлопот получайте, значит.

— О?.. Вот и чудесно! — кричит Парфён. — А я уж давешь, как сюда ещё шёл, думаю, с кого бы это нам по стаканчику выпить, а выпить смерть хочется... Много ль деньгами даёшь?

— Деньгами? Да что деньгами... Земля там не то, чтоб очень хороша, опять — ложбина... Пятишницу дам.

— Маловато! А, впрочем, как старички, — не моё дело. Михайло Панкратыч, Василий Антоныч, сват Митрий!.. Да что ж вы молчите? До ночи нам тут стоять, что ли?..

— Да!.. Как сказать, — пятишницы маловато бы!..

— И я говорю ведь, что мало! — поддерживает Парфён.

— Двенадцать рублёв, во сколько! — кричит один из незваных. — Да полведра чтобы окромя!..

— Ну, что зря болтать, — деловым тоном обрывает Парфён незваного советчика. — А по-моему, старички, положить девять рублёв: ни ему не обидно, ни нам... Опять там — ложбина.

— Какая там ложбина, откуда ей взяться? — сомневается кто-то.

— Ка-ка-я ложбина!.. — передразнивает Парфён. — Известно, какая — обыкновенная! Да ты разинь глаза-то, поди сперва посмотри, коли память на старости лет плоха стала, а потом уж толкуй!..

— Есть, есть ложбина, старички! — распинается Иван.

— Двенадцать рублёв! — твердит незваный.

— Эх ты, пустомеля, твоя, видно, неделя! — огрызается Парфён, и в таких препирательствах проходит полчаса; всем становится невтерпёж; хочется до смерти водочки испить — и дело кончается, как и можно было ожидать, тем, что Иван накидывает два рубля к пяти, а только из приличия томившие себя перед выпивкой «старики» скидывают два рубля из девяти (собственно говоря, это делает Парфён при молчаливом согласии прочих); таким образом, десятина идёт за семь рублей и полведра, т.е. за цену, ещё несколько дней до этого назначенную Парфёном. Полведра немедленно распивается присутствующими; стоимость его — 2 р. 50 к. — поступает, следовательно, не в пользу всей сотни, а только пятой или четвёртой части её, которая захватывает доли прочих, не пришедших на сходку, им даже не объявленную. Вот такие-то, ставшие обиходными случаи, во-первых, действуют крайне развращающе на деревенские нравы и, во-вторых, явно убыточны для мирского хозяйства, так как вместо пятнадцати рублей чистыми деньгами за десятину сотня получает на удовлетворение своих общественных нужд только семь рублей, а остальные застревают в карманах Ивана и Парфёна и в глотках тех «стариков», которые распивали «мирское» вино. И против такого наглого хозяйничанья мирским имуществом мне никогда не приходилось слышать протеста, кроме вышерассказанного случая со становым: мужики находят такие «сдачи» в порядке вещей и сами сознают, что если бы на сходке вместо 12 человек присутствовали

пятьдесят, то «только водки побольше полопали бы, и от семи рублей навряд ли и трюшница бы уцелела»... Случай же со становым я объясняю уже бывшей до этого ненавистью к нему, и этот случай был только поводом к её проявлению: сход обиделся не на то, что лужок пошел дёшево, а что он пошёл ненавистному становому.

История с семью рублями, однако, этим не кончается: Парфён их ещё раз фильтрует и выжимает себе некоторый барышок... Когда Иван предъявляет свои бумажки старикам, Парфён выхватывает их у него из рук и провозглашает: «Глядите, почтенные, я деньги получил сполна и с десятником ужо рассчитаюсь!..»

— Ладно, — говорят занятые черпанием водки «почтенные», — рассчитывайся.

Большинство, а пожалуй, и все они не помнят и не знают, сколько забрал десятский Архип и сколько ему следует дополучить. Архипу выдают деньги по мелочам, сколько случится: нынче — рубль, завтра — три, через месяц — пять; нынче были на сходке Михайло и Василий, завтра не будет Михайлы, а чрез месяц не случится Василия; записей никаких не ведётся, и если бы не Парфён, который обязательно на всех сходках бывает, то учесть Архипа стоило бы немалого труда. Поэтому расплата с десятским Архипом, сторожем Фомой, плотником Никитой, чинившим бочку, поручается всегда Парфёну, который становится, таким образом, фактическим хозяином этого люда и при расплате с ними всегда сумеет вознаградить себя за свой добровольный труд.

Десятский Архип видел, что деньги от Ивана взял Парфён; он знает, когда надо ковать железо, и тут же, на сходке, подходит к Парфёну.

— Нельзя ли, Парфён Семёныч, деньжонки получить? Сделай такую милость!

— Обожди; нам с тобой ещё счесться надо. Ужо теперь некогда.

— Да что считаться-то? Забрал я самую малость: рупь, да три, да пять, — вот и вся недолга... Выручи, сделай божеску милость, — пшенца купить надо.

— Завтра успеешь купить, авось не пропадет пшенцо-то! Теперь не до тебя, отстань: вишь, вино пить собираемся. Приходи завтра.

Архип знает достаточно это «завтра»: он уже не первый год служит в десятских, поэтому он усиленно пристаёт к Парфёну — отдать ему деньги, обещая за это магарыч. Если Парфён дюже разгулялся, а мирская водка вышла вся, то он даёт рубля три Архипу и получает за это в виде благодарности шкалик или косушку[46] водки; если же Парфён затвердил своё «завтра», то дело Архипа усложняется. Наутро ранним-ранёнько приходит он к Парфёну, но, к неудовольствию своему, застаёт уже конкурентов — Фому и Никиту: они тоже прослышали, что есть мирские деньги, и пришли за своей получкой. Архип изъявляет претензию получить всю сумму; Фома и Никита ожесточённо набрасываются на него и друг на друга; они высчитывают свои заслуги, а Пар-

фён держит себя барином, иронизируя слегка насчёт голодных претендентов. Наконец, наскучив слушать их просьбы и брань, он решает сложный вопрос таким образом: Архипу он даёт 2 р. 80 к., Фоме (этот посмирнее) — 2 р. 75 к., а Никите рубль, остальные же 45 к. поступают ему за комиссию; затем все четверо отправляются в «заведение», причём каждый из получивших жалованье выставляет не менее чем по полуштофу; Парфён пьёт с каждым, поздравляя с «получкой». Кстати замечу, что Парфёны, живущие всегда на миру, переходящие от одного магарыча к другому, до того впиваются в водку, что могут потреблять её в громадном количестве: с расстановкой и маленькими перерывами они выпивают в день до четверти ведра, если только представляется случай пить на даровщину.

Теперь понятно, почему Архип, мужик бедный, слабосильный, к полевым работам не гожий, слепо исполняет приказ Парфёна — звать на сходку только лиц, угодных ему: в Кочетове десятские служат на жалованье, и, боясь лишиться куска хлеба, Архип не смеет перечить всесильному Парфёну. Зависимость всякого рода наёмных должностных лиц — от десятского и до волостного писаря включительно — прекрасно обрисуется из следующего рассказа одного из Парфёнов, который однажды разоткровенничался со мной под пьяную руку и сообщил кое-что из своей многосторонней деятельности. Я постараюсь рассказ его привести дословно.

«Как-то собрались мы десятского нанимать; мне было хотелось старого оставить, Архипа, потому малый он проворный, покладистый, послушливый, да и просил он меня, признаться, подсобить ему. Ну, на сходке Архип и говорит: «желаю, мол, служить за старую цену и ставлю полведра»; а шло ему в год сорок рублёв деньгами и по пяти фунтов печёного хлеба с души. Откуда тут ни возьмись Лукьян — так, ледащий мужичонка: я, говорит, согласен на тридцать пять рублей и ставлю ведро. Ну, старики, известно, и стали тянуть за Лукьяна... Архип ко мне: что делать? Научи, а то Лукьян цену сбивает. Я ему и говорю: отзови его к сторонке и покажи ему свою пятерню, да пальцы дюжее растопырь. «Это что же, — спрашивает Архип-то, — пятишницу, значит, ему обещать отступного?» Ну, я ему велел делать, как сказал, и обещался потом научить, как от Лукьяна отвязаться. Он так и сделал: отозвал Лукьяна к сторонке и говорит ему: «Ты, Лукьян, отстань, я те во»... и показал это свою пятерню. Лукьян-то и размяк, подумал, что он ему пятишницу сулит отступного, да и объявил старикам, что так и так, раздумал наниматься. Ну, Архипа и наняли за прежнюю цену. На утро ранним-раненько прибегает ко мне Архип и спрашивает: «Что ж мне делать? Ведь Лукьян, должно, сейчас за деньгами придёт?» А ты спроси его, говорю: какие тебе деньги? И коли он тебе скажет — отступные, мол, которые ты вчера обещал, пятерню показывал, то ты ему такую речь держи: это ты, брат, ошибку понёс! Не пятишницу я тебе сулил, показывая пятерню, а сулил тебе этой самой пятернёй хорошую

встряску задать, коли будешь не в своё дело соваться да цену сбивать... Что ж вы думаете? Архипка так и сделал: мужик-то он посильнее Лукьяна будет, тот и испугался, выругался только, плюнул и пошёл не солоно хлебавши... Что смеху-то потом было, как про эту Архипову штуку узнали!..»

«С писарями да со старшинами я всё больше в ладу живал, потому я в их дела не суюсь, а они в наши не лезут, ну, друг дружке, значит, не мешаем. Только однова пришлось мне с писарем, с волостным, потягаться, и вот по какому случаю. Чем-то я не угоден ему оказался, стал он меня теснить и перед самым новым годом, когда у нас выборных на волостной сход назначали, он и забуянил: взял меня да из списка и вычеркнул; не годится, говорит, Парфён в пятидворные, потому что завсегда пьян; я его помарал, выбирайте другого... Ах, в рот те малина! Ты так-то, думаю, ладно ж! Стали другого выбирать, а я и говорю обществу: «Старички! чем нам попусту выбирать, отпишем лучше по начальству, что выбирать не согласны, а пусть господин писарь сами назначают, кто им угоден выборным быть и кто нет»... Тут старики и смекнули, к чему я дело клоню, и как закричат все разом: «Как! мы выбирать, а он отставлять! Мы по домам разойдёмся и никого выбирать не будем, если Парфёна отставят! Пущай вышнему начальству доносят, что и как!..» Ну, старшина первый тут смуты этой испугался и стал упрашивать писаря не марать меня из списка. Оставили. Только я эту штуку не забыл ему. Недели две спустя созвали волостной сход смету производить, кому какое жалованье назначить и почём с душ собирать. Тут я кой-кому из своих рубля три собственных пропоил — всё учил, что на сходе говорить. Ну, положили старшине жалованье — честь честью, по-старому: двадцать рублёв в месяц; теперь писарю? «Писарю сбавить», — закричали мои. «Это почему?» — спрашивает старшина. «А потому, что дорого, — отвечают, — много тридцати пяти рублей». Тут я и говорю: «Намеднись я в городе на базаре был, так человека с три ко мне навязывалось, там их много без штанов-то бегает: по пятнадцати рублёв согласны служить. Я вам обязуюсь в два дня предоставить хучь троих — выбирайте любого»... Шум тут поднялся — и Боже ты мой! «Много, — кричат, — сбавить! Четвертной!.. Пятнадцать!» А писарь кричит своё: «Меньше чем за тридцать за пять не буду»... Ну, наконец, порешили: взяли с него два ведра, и жалованье оставили прежнее — тридцать пять; мне он пятишницу отдал, и я не в убытке остался... Потом мы ничего себе жили, мирно, — меня он не затрогивал больше; да не долго ему послужить-то пришлось: с полгода или и того менее. Начальство сменило, потому зашибаться стал здорово — по неделе без просыпу пивал, а в вашей должности это не рука, потому дела стоят; ну, и сменили.

Любопытно вам узнать про наши мирские распорядки. Известно, чудного в них бывает много, потому что мир ослаб, некому им заниматься, а всяк своё только дело правит, свое только и видит, а с мира, что с паршивой овцы, хоть шерсти клок и то рад сорвать... Кому какая охота с мирскими нуждишка-

ми возжаться, коли у него дома своя кровная нужда осталась, своё дело стоит, копейку выработать надо, деться окромя этого некуда? Ну, известно, придёт такой-то на сходку — ему бы только стакана два мирского вина выпить, своего он месяца по два и в глаза не видит, а тут случай упускать жалко; ну, сойдёт с него, скажем, за какое-нибудь дело двумя копейками больше, да он за то вина выпьет на гривенник, да и от мирского дела ослобонится — сарай чинить или гать подправлять. В старину бывали семьи большие: по трое, по четверо женатых сыновей или братов было; ну, старшому-то и вольготно: сыновья али меньшие браты на работе, а старички соберутся и как следует быть, не торопясь и не кривя душой — потому что из чего же им кривить? — все мирские дела порешат. А теперь поразделились все: редко-редко, где два работника в семье, а коли три, так это уж на диво — все больше одиночками стали жить. Вот таким-то одиноким, или сам-друг, в мирские дела и нет никакого расчёта соваться: он на мирском деле копейку себе выгадает, а дома на рубль упустит, так как же тут от мира не отслониться? Ну, и занимаются мирскими делами либо старики от больших семей, либо побогаче кто, рукомесло который имеет какое, землю ли снимает. Картофелем ли занимается али подряды какие берёт: эти, известно, мирские люди и всегда на миру живут...

Да вот, расскажу вам, дело-то это уж прошлое, а може, и занятно вам покажется. Вышел как-то от начальства приказ, чтобы бочки, на случай пожара которые, под навесами стояли, а не так, как прежде, — на вольном ветру. Нам хоша и чудно показалось, на что её под навес ставить, коли ей и так ничего не поделается, лишь бы всегда водой налита была, да и не хотелось бы для одной-то бочки навес делать — у нас, окромя тех, что при волости, в каждой сотне ещё по бочке, — а нельзя, потому приказ строгий, чтобы беспременно, значит. Вот и собралось нас человек пятнадцать от сотни: как-никак, а строить надо. Думали было с душ собрать соломки, да жердей, да хворосту и поставить миром сарайчик, да раздумали: кому охота в кляузы входить — солому собирать, жерди учитывать?.. Пропади оно пропадом, говорят, лучше наймём кого! А пора-то рабочая, не скоро и охотника сыщешь; я и говорю: отдайте мне, старички, я вам сарайчик поставлю в лучшем виде. «А что возьмешь?» — Да что, говорю, чтоб не обидно было — по гривенничку с души... Душ-то у нас в сотне 160; это, значит, шестнадцать рублей выходит. Подумали: «Ладно, говорят, бери; а много ли магарыча дашь?» — Полведра, говорю, ставлю. Согласились. Сейчас это я живым манером Архипку-десятского в кабак за полуведёркой; выпили; захмелели маленько. «Дорого, — кричат, — дали мы: давай другого охотника искать!» А я уж знаю, к чему это речь они ведут: ещё попиться хочется. Что вы, что вы, почтенные, говорю, какое дорого! Вовсе дарма взялся — уважение вам сделать хотел, а если уж на то пошло, — ставлю ещё четверть! Ну, угостились мы в лучшем виде, потому по полштофа на брата пришлось; а пьём мы, известно, дуром: натощак да без всякой закуски — живо

раскиснет человек... Вот господа да попы пьют, они больше нашего полопают, а всё ничего, — потому выпьет он вот этакую рюмочку, и сейчас в рот закуску — селёдочку там или ещё что; а малость погодя — опять рюмочку да опять с закусочкой. Вот оно ему и в пользу идёт: рюмок двадцать в себя вгонит или поболее — и ничего; сам видал — в училище после экзамена господа пили, а то и на ярмарке случалось... А натощак да без закуски — и с десяти на карачках поползёшь, это верно!.. Ну, ладно; ублаготворились мои други милые: кто тут же уснул, кто домой поволокся, а за кем и бабы пришли, потому ихней сестре уж доподлинно известно, что коли сходка, так мужьёв идти выручать надо.

Стал я ставить сарайчик — смех один и говорить-то!.. К плетню, что в проулке, приставил я наискосок два колышка да, отступя на сажень, ещё два кола в землю стоймя вбил; сверху перекладины поделал, хворосту охапку раскидал, соломы с полвоза натрусил — готов мой сарай. Стал он мне, если и работу считать — без малого день я с ним провозился — рубля в полтора или от силы уж в два рубля... Под вечер бочку под него подкатил и любуюсь: хорошо дюже вышло!.. Едут тут с поля двое наших. «Ты что, Семёныч, строишь?» — спрашивают. «Нешто, — говорю — не видите? Сарай вам пожарный делаю». Поглядели они, поглядели, схватились за бока и покатились со смеху... «Ах, волк те ешь! — кричат. — Ну, уморушка! Да какой же это сарай? Его ногой пхнуть, он и развалится!» А на что, говорю, пхать: нешто он на то поставлен? Он для начальства поставлен, а не для вас... «Хо-хо-хо! — гогочут. — Ну, ловко, ну, брат, молодец!»

Недолгое житье моему сараю было — недели три, не более. Налетела как-то буря огромная, крыш много разворотила, крылья у мельниц, что похуже, поломала — ну, моему сараю где уж устоять? Так и рухнул; да случись ещё грех к тому — днище у бочки перекладиной выломало — вот-те и спрятали бочку!.. Днище вставить отдали два рубля — осьмуху с плотника выпили, да я для кабатчика нашего, для Ивана Ермилыча, материал от сарая купил ему на топку — еще осьмуху[47] поставил, а он мне деньги отдал да косушку магарыча поднёс. С тех пор бочка наша опять у Степана Колесова крыльца стоит: и на виду она у всех, да и днище целее будет, чем под сараем; начальство ж более не принуждало строить сараев, а иные сотни и вовсе ничего не строили: начальство — приказ, а они — «сделаем сейчас», да по сию пору и собираются делать...

Иной раз приходится и для общества постараться... Жил у нас в селе позапрошлым годом жидяга один, из солдат, сапожник, да больше бабьими черевиками занимался, и надувал, признаться, здорово: известно — жидяга; и моей старухе он подсунул такие черевики, что полгода не проносились. Ладно, была у сапожника у этого корова, и надумался он мирских покосцев снять — сена заготовить на зиму; думал, дешевле обойдётся. Повёл я его показывать поляны, что в ольховых кустах: вот, говорю, поляна, а вот другая, а вот ещё —

и показал ему таким манером все восемь. «А эта, — спрашивает он и указывает на поляну, которую уж осмотрели, — тоже моя будет?» — «Известно, коли снимешь, то будет твоя». — «А эта?» — «И эта твоя!..» И насчитал он вместо восьми полян тринадцать, все по тем же ходил; я вижу, что дурак набитый — не может осмотренную уже поляну признать и на себя надеется, жидяга: ни разу не спросил — смотрели, мол, эту поляну али нет? и напрямки не договорился, сколько, мол, всех полян? Видно, думал дураков поднадуть, да не на таковского напал; а мне чего учить? Не маленький, у самого глаза есть, да и черевики бабьи припомнились... Надавал он в общество десять рублей деньгами да ведро водки; а как вышел на покос, хвать-похвать — пяти полян и нет. «Куда ж мои поляны девались?» — кричит. Ему говорят, что все, мол, тут. Аж осатанел он, как увидал, что промахнулся: ругается, плюется... Дешевое-то сенцо на дорогое вышло: накосил он от силы на десять рублёв, да уборка, да возка... Засмеяли его совсем, проходу не давали, всё о сене спрашивали; и жить у нас не стал, по зимнему первопутью собрался и в другую волость уехал»...

И ещё много слышал я о деятельности разных Парфёнов; при случае буду приводить примеры. Здесь же хочу упомянуть, что Парфёны в некоторых обстоятельствах просто незаменимы для общества, — именно, когда приходится хлопотать у начальства о каком-нибудь мирском деле, — и чем выше инстанция, в которой приходится хлопотать, тем больше шансов на то, что мирским «поверенным», как их здесь называют, будет избран кто-либо из Парфёнов. Они и «умственнее» прочих мужиков, и лучше всякие «ходы» знают, и с «волостными» в приятелях состоят, подчас даже становому известны, не раз «в губернии» бывали, и в земстве, и в крестьянском присутствии — словом, им и книги в руки. Кроме того, они и навязчивее, нахальнее и смелее рядовых мужиков, не видавших видов; они почти перестали робеть перед начальством, со становым скалят зубы и споры ведут, а перед более высокими «членами»* хотя и стоят без шапок, но не жмурятся и без стеснения спрашивают «скопию» с решения или что-нибудь в этом роде. Прогресс в смысле сознания собственного достоинства — несомненный, и впечатление производит преотрадное; для контраста стоит только взглянуть на мужичонку, вынесшего на своих плечах крепостное иго и ныне обделённого землёй: он сельского писаря считает за начальство, а при старшине ни за что не решится сесть или надеть шапку...

На расходы по мирским делам Парфён затрачивает или свои деньги — если иск верный и представляется возможность вычесть впоследствии расходы из выигрыша, или, что гораздо чаще, мирские суммы. В последнем случае, когда деньги нужны, Парфён сзывает сход и просит стариков достать ему денег на расходы: «Все вышли, нужно ещё; раздобывайтесь, а то придётся дело бросать!»

* Общее название для всякаго рода начальства, кроме урядника и станового; термин «чиновник» менее употребителен.

— Да куда ж ты целую уйму девал? Ведь на заговенье мы те сорок рублёв отвалили?..

— Со-орок рублёв!.. Ишь, какую невидаль сказал — сорок рублёв! Поди-ка ты сделай что на сорок рублёв, а я посмотрю, как ты делать будешь!.. Молчал бы уж, чем зря болтать.

— Нет, стой! Зачем зря болтать, никто не болтает... А ты учтись, куда что девал?

— И учтусь!.. А ты думал — не учтусь? Себе, что ль, я их попрятал? Ещё своих полтора рубля зашло, как анадысь в губернию ездил. Клади сейчас: первое, ездил за скопией — два с полтиной прохарчил...

— Много дюже, жирно будет!

— Мно-ого... Леший ты, вот что! За одну машину рубль двадцать заплатил, да там полтора суток прожил, опять писарьку, чтоб скорее отпустил, полтину отдал... Ты сам-то попытай перво-наперво съездить да охлопочи, а потом ори, что много!..

— Ну, ладно, два с полтиной так два с полтиной! Живёт! Клади дальше!

— В волости надо было старые дела, архиву, подымать, справку искать от палаты; опять — туды-сюды, со старшиной чайку попил, писаря поблагодарил — три рубля вышло.

— Ишь ты!.. И как их не прорвёт!

— В губернию ездил к аблакату — за прошение отдал пятишницу да за марки...

В конце концов всегда оказывается, что Парфён деньги израсходовал правильно и даже своих полтора рубля затратил. Учесть его нет никакой возможности, так как данных для учёта, кроме собственных его показаний, нет никаких, а показания его, заранее заготовленные и затверженные, всегда сходятся, и сбить его нет никакой возможности, хоть десять раз учитывай с начала до конца. Само собой разумеется, что из сорока рублей — десять, не менее, прилипает к рукам Парфёна, но действует он очень осторожно, опасаясь, чтобы мир, осердившись, не выбрал в поверенные другого Парфёна и не отобрал бы у него, таким образом, доходной статьи. Если иск денежный, то Парфёну, сверх покрытия его затрат, накидывают иногда несколько рублей; а то, случается, и этого не бывает: «...буде, и так поживился немало, пора и честь знать», — говорят в таком случае неблагодарные клиенты. Если же дело не денежное, а о земле, например, то Парфёну уж ни в коем случае денежной награды не ждать, — не с душ же собирать! Много-много, если клин мирской землицы или покосец какой-нибудь дадут безденежно, но и то попросят магарычика... Парфёны это знают и потому не дремлют, покуда есть возможность распоряжаться мирскими деньгами: чем дело успешнее идёт, чем больше шансов на выигрыш, тем прогрессивнее возрастают расходы, потому что Парфён в успехе уверен, а в случае успеха общество не так придирчиво будет учитывать

его... Очень редко приходилось мне наблюдать, чтобы «в поверенных» ходили простые лапотники; эти, правда, действуют по-божески, но всё-таки и себя не забывают: или мирских подвод требуют, ими же ездят на своей лошади и кладут цену за проездку процентов на двадцать выше настоящей, или идут пешком в город, а за подводу всё-таки берут — это уж хозяйственный расчёт поверенного, и мир никогда такому заработку его не препятствует; за харчи в городе тоже вычитают, хотя хлеб, а подчас и баранину, берут из дому. Но зато с этими поверенными вести дело просто мука: ничего-то они не понимают, ничего в толк не возьмут и всё твердят своё, предполагая со всех сторон обман и подвох, и поэтому недоверчивы ужасно. Является, например, в канцелярию волостную мужик с мешком и посохом в руках.

— К вашей милости с просьбицей; уж потрудитесь!..

— Что такое?

— Намеднись обществу объявляли, что насчёт лугов отказ нам вышел. Пожалуйте скопию.

— Да ты кто такой?

— Знамо кто, — поверенный от обчества... Руки на меня задали.

— Где же руки-то?

— А вот...

Из котомки достаётся грязная бумажка, на которой каким-нибудь самоучкой огрызком карандаша нацарапано: Хвидоть Костяв, Питра Енин и т.д. в том же роде — одни имена и фамилии, а внизу накопчённая печать старосты; это называется у крестьян, не знающих формальностей, — а таких и по сию пору не менее 99% — задать руки, или то же, что дать общественный приговор.

— Не годятся твои «руки», нигде их в расчёт не примут. Надо новый, настоящий приговор написать. Нынче что, пятница? Так ужо на будущей неделе, как посвободнее будет, мы со старшиною приедем, сход соберём, общество опросим, согласны ли, — и тогда я тебе напишу приговор. Понимаешь?

— Как не понять, понимаем... Только вы уж сделайте божескую милость, не задерживайте, напишите приговор-то, коли он нужен, сейчас; а то я вовсе было собрался в губернию идтить — надо ж правду сыскать!..

— Да как же я могу написать, когда не знаю, верно ли, что общество хочет дальше вести дело, верно ли, что тебя, а не кого-либо другого выбрали в поверенные? Ну, если я напишу, а общество-то откажется — ведь это подлог будет, а за подлог большое наказание полагается по закону...

— Вот-вот! — радуется поверенный знакомому и излюбленному словечку, — по закону и напишите: вам лучше знать, как написать, — вы народ учёный. А я вашу милость уж поблагодарю чем ни на есть, пшенца али ещё чем...

— Провались ты к чёрту с твоим пшеном!.. Сказано — ждите, дня через три приеду, а теперь не могу — некогда.

— Нет, нам ждать невмоготу... Уж вы отдайте мне обчественные руки-то, я и с ними до правды дойду; какой там ещё приговор понадобился — неизвестно... И печать старостина приложона... Скопию-то мне дадите?

— И копии никакой не могу дать: бумага была из присутствия — оно и даст тебе копию, когда настоящий приговор будешь иметь. А так с этими «руками» хоть не езди — не дадут.

Мужик мнётся и что-то соображает.

— Так мне ничего от вас и не будет? Ни приговора, ни скопии?

— Покуда ничего; сказано — на той неделе приеду.

— Так-с; предупрежоно, значит... Не стало нигде правды, нетути закона... Понимаем-с, как не понять!.. А мы всё-таки до вышнего начальства дойдём, всё как на духу расскажем, чтобы по закону, значит...

Мужик — упорный и недоверчивый, хоть кол на голове теши — едет в губернию, живет там суток трое, обойдёт все «палаты» и «присутствия» и, конечно, везде получает с первых же слов отказ; везде говорят: «приговор надо», и когда он подаёт свои «руки», то их даже не берут, а требуют настоящего приговора. Наконец, обескураженный, он возвращается назад и опять заходит в волость.

— Уж, видно, вы лучше знаете, как по закону. Когда же к нам обещаетесь пожаловать?

А потом, в разговорах со столь же много смыслящими в «законах» односельчанами сокрушается: «Нигде суду не дали, везде отказ; видно, у них повсюду рука, и в губернии везде предупрежоно... Нетути нигде правды, все на их сторону тянут: знамо, люди богатые, не то что мы!.. Я было — пшено, а он ка-ак закричит! Известно, на что ему наше пшено?»..

Парфёны в качестве мирских поверенных гораздо приятнее для начальства и полезнее в некотором отношении для общества. Парфён умеет говорить довольно толково и связно, может в немногих словах объяснить, в чём дело, слушает со вниманием, соображает — словом, во сто раз развитее простого лапотника-просителя. Если Парфёново дело не выгорает и ему «выходит отказ», то он старается вникнуть, как и почему отказано, смекает и советуется с «хорошими людьми», нельзя ли дело поправить; обществу же своему подробно разъясняет мотивы отказа, не прибегая к туманной формуле вроде «не стало правды на свете»... «Сроки пропустили», «планта нет», — говорит Парфён, и сам понимает, и прочим старается разъяснить, что «без планта, как без рук, ничего не поделаешь»... Умственный кругозор деревенского мира расширяется от Парфёнов в несравненно значительнейшей степени, чем от убогих школ, где выучиваются читать и писать, но где не учат понимать условия жизни...

Но что меня всегда удивляло, это крайне добродушное отношение мира к своим паразитам. Явной злобы или вражды к Парфёнам мне никогда не приходилось подмечать; бывали случаи, когда Парфёны принуждены были усту-

пать перед дружным натиском мира, но лишь только спорный вопрос сходит со сцены, как Парфёны опять вступают в свою роль диктаторов, ничуть не смущаясь временным поражением, а стригомые овцы частью одобрительно, частью с завистью смотрят на Парфёновы эксперименты с мирским имуществом. «Ну, ловко, ну и собака же!.. Скажи, братец ты мой, то ись как пить дал, вот как обчистил!»... И в тоне говорившего большею частью слышалось лишь сожаление, что «очистил» Парфён, а не он; злобы же на Парфёна за «очистку» не чувствовалось...

Я неоднократно ещё принуждён буду касаться той или другой сферы деятельности кулаков-мироедов; из фактов, которые я представлю, читатель сам себе может составить понятие об этом жгучем вопросе нынешней народной жизни; моё же мнение таково, что деревенские Парфёны-мироеды — явление, логически проистекающее из данного экономического и общественного деревенского строя, и существование их так же строго необходимо, как необходимо появление лишаев и мхов на гниющем стволе дерева... И никакие паллиативы не остановят роста этих лишаев: деревня будет всё далее и далее дифференцироваться, и в одну сторону будут стекаться представители умственности, которые всё безграничнее будут господствовать над отлагающимися по другую сторону рабами физического труда, глубже и глубже уходящими в мелкие, развращающие заботы о куске насущного хлеба. Это, по-моему, логически неизбежный конец истории нашей крестьянской общины в существующей её форме; избежать этого печального конца можно, только перейдя от общинного владения объектом труда — землёю — к общественной форме самого труда...

...И часто думалось мне, глядя на полные драматизма картины деревенской жизни: встань же, встань, народ русский, проснись, стряхни с себя этот тяжёлый сон, который навеяли на тебя татарское иго, московская неволя и барское рабство!.. Ты спишь, заколдованный богатырь, а могучие твои руки и ноги заткали цепкой паутиной отвратительные пауки, кровь твою сосут паразиты, и на груди твоей уселись кучи жаб и лягушек, громким кваканьем торжествующие свою победу над сонным... В жилах твоих ещё течёт здоровая кровь, сердце твоё ещё бьётся, но когда-то сильные руки, грозные для врагов, беспомощно лежат плетьми вдоль полумёртвого тела, и только изредка пробегающая, мимолётная и безрезультатная судорога напоминает паразитам, что ты ещё жив, — и они ещё быстрее начинают ткать свои тенета, ещё безжалостнее сосать твою кровь... Встань, богатырь, разорви эти путы, пока тебе ещё под силу их разорвать, раздави паразитов, скорпионов и жаб, покуда они не отравили ещё твоего организма!.. Но он спит; свинцово-тяжёлый, похожий на смерть, сон не покидает его, и не нам, слабым, исторгнуть его из вражеской власти... И он спит; и с ужасом смотрят мимоидущие на этот могучий, но заживо пожираемый паразитами организм — и бегут одни, жалея и плача по

безвременно погибшем, и смеются другие, желая его скорейшей погибели, в уверенности, что на месте разложившегося организма произрастёт новый, для них более приятный и удобный...

XII

Что такое волостной писарь? В глазах начальства всякого сорта — это пария, это раб, без мысли и воли, беспрекословно обязанный выполнять всякие требования, быть на все руки и, по начальническому приказу, не останавливаться даже перед не совсем благовидными вещами; в глазах мужиков — это тонкая бестия, законник, крючкотвор, которым в случае своей нужды и можно попользоваться, но вообще же лучше быть от него подальше, как от души продажной, за рубль-целковый на всё готовой. Так вот этот человек, с очень подозрительною нравственностью и без всякого образовательнаго ценза, ведёт денежные и прочие книги волости, которых более 30 штук, пишет разные приговоры, выдаёт паспорта, составляет всякого рода акты, состоит секретарём (и, скажу в скобках, главным заправилой) в волостном суде, производит статистические описания и исследования, принимает две-три тысячи дворов на страх[48] на сумму 200 — 300 т. руб., составляет ежегодно призывные списки для отбывания воинской повинности 100 — 150 чел., производит поверку торговых документов и преследует разные нарушения закона в области торговли и промышленности, опекает сирот, следит за делом обучения в земских школах (sic[49]), за оспопрививанием в земской аптечке, следит за санитарным состоянием 10-тысячного населения, делает распоряжения в области гигиены, заведует военно-конским участком, прекращает падежи скота, составляет списки лицам, могущим быть присяжными заседателями, производит описи, аукционы и судебные взыскания, преследует нарушителей строительного устава, получает в год до тысячи входящих и выпускает до двух тысяч исходящих бумаг и проч., и проч. Как видите, деятельность этого парии самая многосторонняя, захватывающая несколько областей знания и науки. Понятно, что de jure[50] на писаре лежит только канцелярская обязанность, т.е. писать бумаги и вести книги; но так как, с одной стороны, масса существующего над ним начальства старается по возможности свалить всякое «дело» на эту всевыносящую выю, требуя лишь немедленного уведомления о точном исполнении предписания, а с другой — главный хозяин волости, старшина, на котором и лежит, в сущности, обязанность всех этих исследований, заведываний, наблюдений и проч., умеет только пить магарычи с приятелями и сажать недоимщиков и прочих проштрафившихся в «холодную» — то писарь и является единственной пружиной, приводящей в действие весь многосложный механизм волостного благоустройства! В большинстве случаев старшина бывает виноватым и терпит взыскания только за плохой сбор податей, что и составля-

ет его главную обязанность; всё же остальное делает писарь, и начальственные особы, хорошо знающие механизм волостного правления, — со всякого рода приказаниями, личными разъяснениями и проч., обращаются всегда к писарю, а тот уж от себя делает распоряжения старшине. «Поезжай туда-то, узнай о том-то, вызови ко мне того-то», — говорит писарь, и старшина беспрекословно исполняет его приказания, зная, что устами его глаголет высшее начальство. Большая часть старшин и писарей живут довольно ладно друг с другом, потому что интересы у них совершенно общие: ублажать начальство, по возможности выполняя, хотя бы для виду, на бумаге, его предначертания и тем обеспечивать свое существование... Если же поселится рознь между этими главами волости, то обе они проигрывают: писарю нет ничего легче, как подвести старшину, прочесть ему мудрёное предписание, порядком не растолковав, в чём дело, или даже вовсе не читать и ждать противозаконных действий безграмотного мужика, а потом раскрыть его ошибки перед начальством, обвинить его в небрежности, нерадении и проч. Старшина же может или непосредственно пожаловаться на лукавое мудрствование писаря, если у него есть между начальством «рука», или же действовать закулисными интригами через волостной сход, жалуясь ему на писаря, предлагая сбавить жалованье и проч. Тогда происходит в волости полнейший кавардак, самым грустным образом отзывающийся, конечно, на ни в чём не повинном крестьянстве. Приходит, например, мужик по какому-нибудь делу в волость и обращается к старшине: этот и рад бы, может быть, ему помочь, но не знает, как, или знает, но боится попасть каким-нибудь образом впросак, чувствуя за собой зоркий глаз недруга-писаря. «Не знаю, — говорит он из осторожности, — ступай к писарю». Мужик идет к писарю и слышит ответ: «Не моя это забота, мое дело — перо. Ступай к старшине». Ну, и приходится хоть волком выть из-за получения какого-нибудь приговора о разделе или удостоверения о личности. Но такие натянутые отношения между старшиной и писарем бывают, как я сказал, очень редки, потому что долго продлиться не могут: одна из сторон непременно проштрафится, спасует и принуждена будет уступить другой, старшина — выйдя в отставку, а писарь — перейдя в другую волость, — смотря по тому, чья сторона возьмет верх.

Волостной писарь — это связующее звено крестьянства со всеми и со всем, что похоже на начальство; всё, что имеет что-нибудь приказать, предписать, объяснить, объявить, все, кто нуждается в какой-нибудь справке или цифре, — все эти и всё это обращается в волость, т.е. к волостному писарю как единственному источнику, могущему доставить всё необходимое. Земская управа спрашивает, сколько уродилось хлеба, сколько его будет поедено и сколько останется; казённая палата — каков оборот на ярмарке; крестьянское присутствие — каковы мотивы, вызывающие переселение; исправник — каковы причины обеднения населения, сопряжённого с возрастанием недоимок; кто-нибудь из них или все вместе — каковы могут быть заработки населения ввиду

постигшего край неурожая, и проч., и проч. ...В волостном правлении ведутся дела из областей ведения шести министерств — внутренних дел, финансов, военного, юстиции, народного просвещения, государственных имуществ; и только благодаря отдалённости иностранных держав и окиянов-морей от волостных правлений центральной России (об окраинах судить не смею), их не касаются министерства иностранных дел и морское... И все эти сорок шесть — я на досуге как-то сосчитал — начальственных мест и лиц требуют верных, точных и, главное, немедленных исполнений и донесений о предметах самых разнообразных; понятно, что одному человеку, к тому же никогда не слыхавшему о статистике, экономике, гигиене и проч., не разорваться, и поэтому к делу он относится самым формальным образом. Если приходит предписание, на которое ответа не требуется, то оно спокойно подшивается «к делу»; если предписание требует ответа об исполнении, то до подшития его к делу берётся бланк и пишется донесение: «Во исполнение предписания вашего высокоблагородия, имею честь донести» и проч., — словом, что всё исполнено; если, наконец, требуется обстоятельное донесение с цифрами и проч., то половина их нахватывается из прошлогодних дел, а половина присочиняется сообразно обстоятельствам. Требуются, например, сведения об урожае; писарь, как местный житель, видел при разъездах и слышал из разговоров в «Центральной харчевне», что «рожь ноне ни лучше, ни хуже прошлогодней, овсы погорели, а проса слава Богу». Недолго думая, он берёт донесение об урожае прошлого года и смотрит, как велики там цифры: ржи значилось собранной 29 351 четверть — он напишет 29 845 четв., овса было 41 200 ч., появится 27 630 ч., проса было 3823 ч., в новом донесении окажется 4655 ч. и т.п. Затем будет также «примерно» исчислено, сколько требуется на прокормление людей ржи, картофеля и пшена, а для скота и лошадей — овса и сена, а вычтя вторые количества из первых, не трудно уже получить математически точные «данные об излишних хлебных запасах по такой-то волости, такого-то уезда, Воронежской губернии»... Идите, пожалуй, по дворам, поверяйте сами, коли не верите!.. Должен, однако, оговориться: конечно, цифре 29 351 ч. нельзя доверять; гораздо более вероятности имели бы цифры с четырьмя нулями; но писаря «не смеют» ставить таких огульных величин, потому что какая же это выйдет статистика, наука, как известно, требующая точности? Но как ни смешно писарское остроумие, а совершенно бесполезным его считать нельзя; надо только крайне осторожно относиться к цифрам и брать не столько абсолютные, как относительные их величины, которые в большинстве случаев достаточно верны. Дело в том, что благодаря многолетним комбинациям основные цифры, из которых черпают писаря свои отчёты, сложились довольно счастливым образом и очень недалеки от истины; умышленно же искажать правду писарям в большинстве случаев нет никакого расчёта; и стараются они обыкновенно производить изменения в прошлогодних данных уж не вовсе с бухта-барахты, а более или менее соглас-

но с действительностью. Был, например, урожай ржи в прошлом году сам-8, как значится в ведомости волостного правления; в действительности-то, Бог его знает, может быть, он был сам-7, а может быть, сам-9, но дело в том, что центральному учреждению, собирающему справки, уже известно, каково при данном урожае было экономическое благосостояние населения. Вдруг писарь, потолковав с Козьмой и узнав, что у него копна даёт ноне только $2^1/_2$ меры, когда в прошлом году давала 5 мер, и с Трофимом, у которого рожь вышла ещё хуже, дав только 2 меры с копны, — вдруг писарь уменьшает цифру урожая до сам-$3^1/_2$. Кто его знает, как оно выйдет в общей сложности: может быть, сам $3^1/_2$, может быть, сам $2^1/_2$, а может быть, сам-4, но дело в том, что урожай нынешнего года несомненно ниже прошлогоднего, и можно даже с уверенностью сказать, что он около двух раз менее прошлогоднего. Соображаясь с другими данными, которые у собирателя сведений имеются, конечно, под руками, можно-таки, по-моему, прийти к какому-либо заключению, очень недалёкому от истины, о затруднениях, которые придётся переносить населению при нынешнем неурожае. Этот пример был априорный; позволю себе рассказать о бывшем в действительности факте, приведшем меня в немалое смущение. Когда я поступил в 1881 г. в должность писаря, то со времени военно-конской переписи, произведённой до турецкой войны, прошло уже около пяти лет; за это время в Кочетовской волости был небольшой падёж лошадей. Далее; в 1870 г., если не ошибаюсь (пишу на память, так как в настоящее время я уже далёк от Кочетова), была по требованию губернской земской управы произведена перепись всей крестьянской скотины — конечно, волостными писарями же, и с тех пор переписи новой не было; за одиннадцатилетний промежуток было несколько падежей скота. Наконец, при деле волостного правления за 1880 г. имелись сведения «о движении» народонаселения по волости, с точными цифрами о количестве лиц мужского и женского пола; когда и откуда взялись эти последние цифры, не припомню, — во всяком случае, недавней переписи не было, а вернее всего, что взяты они, цифры, из посемейных списков, составленных при введении нового устава о воинской повинности в 1874 г. Как видите, промежутки времени между основными цифрами и теми, которые я застал в 1881 г., были довольно значительны, и можно бы ожидать, что при ежегодном изменении их «на глазок» волостными писарями последние цифровые данные уже сильно разнятся от действительных, натуральных величин. И что же — несмотря на падежи, войну, эпидемии и проч., цифры, полученные при действительно произведённой в 1884 г. переписи, очень немного разнились от выведенных мною «на глазок» в ведомостях; так, например, при общем, более четырёх тысяч штук, количестве лошадей, разница была только в несколько десятков, для коров — около двухсотпятидесяти при 3500 шт., а для лиц мужского пола — около трехсот при общем количестве в 6 тысяч! Иначе сказать, разница между волостными и действительными цифрами колебалась между

2% и 7%!.. Разница, собственно говоря, не особенно значительная. Я спрашивал писарей, как они это делают, и получал в ответ, что они сообразуются с падежами и эпидемиями: «Если не было падежа, ну, прикинешь штук 200, а то если был, да небольшой, ничего не прибавишь, а ещё скинешь полусотку; так и ведём из года в год». Так вёл и я три года, решительно не имея возможности производить ежегодно статистическую подробную перепись двух тысяч дворов и удовлетворяя своему нравственному чувству тем, что в конце ведомостей добавлял «приблизительно» или ставил при цифрах вопросительные знаки; но в 1884 г. имел удовольствие убедиться, что большого греха на душе моей относительно статистических данных не лежит.

Возвращаюсь к прерванному изложению. Итак, волостные писаря, даже при всей своей доброй воле, должны ограничиваться формальным, канцелярским отношением ко многим благим начинаниям; человек всегда остается человеком и склонен преимущественно стараться о своём благополучии; писаря же, при своём невысоком образовательном и, пожалуй, нравственном цензе, никак не могут быть одушевлены идеей служения человечеству. Они ограничиваются более лёгким служением — служением начальству из-за средств к существованию, и поэтому вся задача их жизни состоит в том, чтобы не прогневить начальство, делая как можно менее и как можно более выгадывая свободного времени «для себя». Отсюда и происходит формальное, небрежное отношение к обязанности и входит в обиход пословица: «настрочил — и с плеч долой». Да и как не строчить, когда, кроме указанной уже мною переписки, так сказать, текущей, на обязанности писаря лежат ещё ведение тридцати с лишним книг, в том числе нескольких денежных, и удовлетворение всех нужд населения, что сопряжено с беспрерывными разъездами для составления приговоров, описей, актов и проч.? Труд воистину громадный, без передышки, потому что воскресенье и праздники — самые тяжёлые дни для писаря: народ, свободный от полевых работ, спешит, чтобы не потерять день в будни, обделать в эти дни все свои дела в волости; труд, повторяю, громадный, и не будь в писарстве мрачных сторон — кляузничества и взяточничества, — лица, несущие этот труд на своих плечах, заслуживали бы полного уважения всех людей.

Какое же вознаграждение получает этот статистик, этот исследователь народной жизни, этот агент земского страхования и проч.? В — ском уезде только один счастливец получал 50 р. в месяц, а все остальные — 40, 30 и даже 25 руб.; но всё это бы ещё ничего, потому что в деревне на такие средства кое-как прожить можно; отвратительно то, что эти рубли приходится ежегодно выпрашивать у волостного схода, ублаготворяя его полуведром или ведром водки, претерпевая унижение от разных Парфёнов, держащих весь сход в руках. В предыдущей главе я передавал рассказ одного из этих Парфёнов, как он смирил заартачившегося писаря. Положим, что этот писарь никакими особенными доблестями не отличался и сам вызвал Парфёна на бой, превысив

свою власть; но не всегда же случается, что Парфёны действуют только из оскорблённого самолюбия: обыкновенно они ратуют за прибавку к жалованью писаря или за убавку — смотря по тому, дана ли им трюшница или нет. Лично я за три года своей деятельности в Кочетове настолько сумел расположить к себе население, что при последнем назначении мне жалованья в 1884 г. и речи не было о водке: никто не заикнулся потребовать с меня магарыч, а некоторые предлагали мне даже прибавить жалованья, но я сам пожелал остаться при прежнем окладе в 35 р. в месяц; но прошу не забыть, что это произошло на третий год моего служения, а эти годы мне чего-нибудь, да стоили!..

Несомненно, что частью благодаря ничтожности вознаграждения за громадный труд и, главное, благодаря денежной зависимости от Парфёнов чересчур мало находится охотников из порядочных людей занимать должность волостных писарей, предпочитая сидеть в городах, в душных конторах и правлениях и получать какими-нибудь двумя десятками рублей более жалованья, чем они могли бы получить в деревне. С другой стороны, благодаря хуже, чем неудовлетворительному составу писарей, разные начальствующие лица привыкли к ним относиться не как к самостоятельному и заслуживающему хотя бы некоторого уважения люду, а как с низшим сортом наёмников, без воли и достоинства, обязанных беспрекословно исполнять все разумные, неразумные и даже беззаконные требования власть имеющих. Поэтому положение порядочного человека, попавшего в писарскую шкуру, почти невыносимо: начальство помыкает, Парфёны доезжают, крестьянство сторонится и относится с недоверием ко всякому доброму порыву... И редкий-редкий, не совсем опустившийся человек удержится на этом проклятом месте: все такие, при первой возможности, бегут на частные должности — в приказчики, конторщики, управляющие и проч., лишь бы только иметь недвусмысленное положение и знать одного определённого хозяина, а не целую коллекцию разных властей!..

Лично я стоял на совершенно особом положении, чем другие волостные писаря, потому что некоторые из начальников познакомились со мной через моего товарища Ковалёва, о котором я упоминал в начале этих очерков, другие же, хотя и незнакомые с моим исключительным положением, всё-таки чувствовали во мне что-то такое, что заставляло их относиться ко мне совершенно иначе, чем к прочим писарям. Однако, несмотря на всю выгоду моего положения, я часто бывал в прескверных обстоятельствах, и самолюбие мое, или, вернее сказать, чувство собственного достоинства нередко достаточно-таки страдало. Вот, например, одиннадцать часов вечера; осень, слякоть, я дома и собираюсь уже ложиться спать, так как встаю рано, в седьмом часу утра. Вдруг сильный стук в окно.

— Кто там? Что нужно?

— Пожалуйте в волость, — узнаю голос десятского, — следственник приехал, требуют вас к себе.

Недоумеваю, что за экстренная надобность; однако одеваюсь, натягиваю заскорузлые болотные сапоги и иду за полверсты в волость, шлёпая по лужам и насквозь пронизываемый мелким осенним дождём.

— А, здравствуйте, — говорит следователь, сидя за приветливо шумящим самоваром и кушая чай со свежими сливками и со сдобными сухарями, привезёнными из города. — Вот мне нужны эти люди, которых я выписал на эту бумажку; распорядитесь, чтоб они завтра к 9 часам утра были здесь.

— Но, г. следователь, я вижу, что некоторые вызываются из селений за 12 и 15 вёрст: в такую погоду они не успеют приехать к 9 часам.

— Надо сейчас послать ямщика, тогда успеют.

— Теперь так темно и такая скверная дорога, что ни один ямщик не решится ехать просёлками; придётся ждать рассвета.

— Глупости!.. Я ведь только что приехал же...

— Вы ехали большой почтовой дорогой, с которой нельзя сбиться...

— Ну-с, довольно. Я вам приказал, а вы можете делать, как знаете: я с вас буду взыскивать.

— Не за что взыскивать. Всеми принято, что при большом количестве вызываемых даётся знать волости за день или за два вперёд, — говорю я раздражительно, и вдруг, совершенно неожиданно для самого себя, прибавляю: — Да кроме того, я покорнейше просил бы вас по ночам меня в волость не вызывать: я целый день работаю и ночью нуждаюсь, как и вы, в отдыхе...

Поворачиваюсь и опять совершаю прогулку по лужам, приказав десятнику в 5 час. утра прислать ко мне двух верховых ямщиков для вызова нужных следователю людей...

Следователь этот болен печенью, и потому желчен и раздражителен до крайности: для своей должности он совсем не годится, потому что у него на допросе и обвиняемый, и обвинитель, и свидетели, по свойственной мужикам в отношении начальства трусости, трепещут и думают только о том, как бы допустил Господь унести ноги.

— Ты не замечал ли каких-нибудь натянутых отношений между Париновым и обвиняемым до пожара у потерпевшего Паринова?

Свидетель пыхтит, с тоской посматривая на предметы, разложенные на столе.

— Че-го-же ты сто-ишь и не от-ве-ча-ешь?.. — отчеканивает инквизитор, повышая голос.

— Н-не могу знать-с...

— Т.е., чего ты не можешь знать? — уже гремит следователь. — Что ты дурак набитый, это ты давно должен был знать!.. Я спрашиваю тебя, не ругались ли, или не ссорились ли когда-нибудь Б. и П. до пожара у П.?

С мужика пот градом льётся, и он со страшным усилием решается, наконец, ответить:

— Известно, брань у них допреж была про огород...

И такие-то сцены разыгрывались с утра до вечера в присутственной комнате волостного правления, когда шло следовательское делопроизводство.

По моём уходе следователю стало жарко, а так как двойные рамы были уже вставлены, форточки же на грех не было сделано, то строгое начальство палкой вышибло два стекла — «для вольного воздуха», предварительно нашумев на нашего волостного сторожа так, что тот долго руками разводил, не будучи в состоянии очувствоваться от начальнических криков и топания ног. «Ну, и строгий же барин, — говаривал впоследствии сторож Петрович, улыбаясь, — и где только такой зародился?..» Однако строгий барин не звал меня уже больше никогда в волость по ночам.

Вероятно, благодаря своей немецкой натуре он был щепетилен, брезглив и самолюбив до смешного. С собой он возил целое хозяйство: в тарантасе его, истинном мучении для ямщиков, вследствие его громоздкости и тяжеловесности, помещались: железная складная кровать со всеми постельными принадлежностями, керосиновая кухня с жестяной посудой, бутылки с бульоном, холодные пирожки и котлеты, целая аптека медикаментов и проч. Приезд его был решительно карой небесной для всех волостных, начиная от старшины, который мыкался взад и вперёд, до сторожа включительно; этому последнему доставалось больше всех: крик «строгого барина» не умолкал во всё время, покуда Петрович исполнял даваемые ему приказания, никогда не умея «потрафить в такцию». И кровать он не так расставлял, и умываться не умел подавать, и дверей за собой плотно не притворял.

— Куда ты стакан ставишь мне под руку? Ведь я уроню его?.. Вот, вот куда его надо ставить, — кричал «строгий барин», с треском ставя на нравившееся место стакан, — и стакан от чересчур энергичного обращения разлетался вдребезги... В одной волости не понравился ему стол, показался высок, он приказал при себе на вершок отпилить у него ножки... Впрочем, к чести его, нужно сказать, что он за все причинённые им убытки, разбитые оконные стёкла и стаканы, исправно платил и в каждый приезд награждал Петровича двумя, тремя серебряными монетами. Но это никак не искупало его неделикатного обращения со всеми, кто был на низшей, чем он, общественной ступени.

Приезжает он как-то в полночь в один из наших посёлков и, не вылезая из саней, требует к себе старосту.

— Отводи мне квартиру!

— Извольте, ваше благородие, в сборню пожалуйте, опричь некуда.

В сборне оказалась окотившаяся овца с ягнёнком.

— Это что такое?.. Ты меня в овчарню завёл? Мне надо земскую квартиру, чистую, а не хлев!

— Куда же, ваше благородие, я не знаю... Земских фатер у нас никаких нету, всё мужичьё живёт. Вот разве к отцу батюшке толкнуться, не пустит ли он?..

— Веди хоть к самому чёрту!..

И батюшка, и матушка уже спали, но по усиленному стуку, а потом по настойчивым просьбам старосты, они наконец решились пустить следователя ночевать в единственную свободную комнатку их маленького дома.

— Уж вы извините, — говорил батюшка, — мы по-деревенски ложимся спать рано, потому долго и не отпирали. А вы извольте располагаться здесь, почивайте на здоровье.

— А как же самовар мне?

— Самовар?!. Что ж, и это, пожалуй, можно, только вот работницу разбужу. Она, признаться, весь день стирала бельё, ну, и спит; а, впрочем, я сейчас...

Через полчаса сонная Акулина-работница вносит самовар.

— Что это за самовар?.. Ведь это отрава, а не самовар, — позеленел весь; должно быть, год не чищен! Убирай назад, я не хочу отравляться!

И это — человек с высшим образованием. Чего же ждать, например, от Щукина, штабс-капитана из мелкотравчатых дворян, убоявшихся бездны премудрости, всю жизнь поровшего, бившего, ругавшегося кабацкими словами и этим поддерживавшего свой офицерский авторитет?.. Однажды, при случае, о котором я буду говорить ниже, на мое замечание, что он действует незаконно и ограничивает права нашей волости в ущерб прочим, Щукин раскричался в ответ мне так: «Что вы ко мне с законами лезете?.. Что я скажу, то и закон для вас! А то — «незаконно, незаконно»!.. Умны уж очень! Делайте, как я сказал». Я был в данном случае в бесправном и безгласном положении, возражать не имело смысла, и беззаконие благополучно совершилось...

Самый главный из начальников, Столбиков, поступал со старшинами и писарями так. Пишет, например, записку: «Явиться ко мне завтра старшине и писарю в девять часов утра». Вызываемые скачут за десятки вёрст, побросав все текущие дела, и поспевают к 9 часам; заявляются в контору имения — сборный пункт всех, имеющих личное дело до «самого». Им говорят: рано приехали, «сам» никогда раньше 11 часов не встаёт. Ждут до 11; по телефону (чтоб не отставать от века, Столбиков завёл у себя в имении эту штуку) дают в контору знать, что «встал». Старшина просит доложить; ответ: «Подождите, когда позовут». Ждут; в третьем часу пополудни раздаётся приказ: «Идите к барину». Только что подходят к крыльцу — глядь, подъезжает тарантас с гостями-соседями; конечно, опять ждать. Восемь часов вечера; уехали гости; «Доложите!..» — «Сейчас примет, только управляющего отпустит, — с докладом пришёл». Наконец, в десять часов вечера: «Идите, зовут». Голодные, измученные и одуреДые от тринадцатичасового ожидания являются они к начальству, и что же оказывается? Как-то тёмною ночью проезжал Столбиков через одну из деревень, находящихся в ведении злополучного старшины, и потребовал у местного десятского дать ему провожатого; но десятский, вероятно,

о Столбикове никогда не слыхавший, провожатого не дал, да и сам долго не стал растабарывать с требовательным проезжающим: воспользовавшись темнотой, он куда-то скрылся. Из боязни свалиться в овраг, злополучному начальнику пришлось всю дорогу ехать шагом. Так вот, требовалось наказать дерзновеннаго десятского, и для этого-то важного предмета волостные, бросив все дела, дежурили целый день в конторе с телефоном... Вернее всего, это был новый остроумный способ выдерживания под арестом нерадивых подчинённых, допускающих в своей волости подобные страшные беспорядки.

Вообще, если я скажу, что всем старшинам, кроме двух, и большинству из писарей почти все начальствующие говорили «ты», а некоторые в экстренных случаях употребляли и довольно крупную брань, то некрасивое положение представителей десятитысячных групп населения будет вполне ясно. Чувство собственного достоинства и нравственная порядочность никак не могут развиться у лиц, сознающих себя, с одной стороны, полновластными хозяевами над целой территорией, а с другой — безответными рабами разных «благородий»; такие люди неизбежно должны прийти к высокомерию с низшими и к раболепству перед высшими. Благодаря низкому уровню порядочности большинства «членов» волостные обязаны и в служебных, и в неслужебных делах оказывать всяческое угождение этим «членам», в то же время сознавая и себя начальниками, они, для равновесия, требуют уже от своих подчинённых изъявлений почитания и угодливости. Чем же у простых людей, незнакомых с изысканными манерами и цветистою речью, может быть выражена угодливость к своему волостному начальству? Конечно, чем-либо вещественным!.. обиходным и для всех понятным — угощением или деньгами. Тут дело не в шкалике водки и не в гривеннике деньгами, потому что такие дары сами по себе не могут прельстить волостных, людей, сравнительно обеспеченных; важно то, чтобы получающий паспорт или удостоверение выразил чем-нибудь, что он чувствует доброту начальника и много этим доволен, — это служит нравственным удовлетворением для них, изверившихся в себе вследствие постоянного трепета; и опять повторяю: чем же облагодетельствованный паспортом подчинённый может выразить свои чувства? Ничем, кроме приглашения на чаепитие в «Центральную» или предложения гривенника. Первое время, когда я поступил, мне — особенно по воскресеньям — отбою не было от приглашений на чай; пятачки совались, но реже; в иной день получишь до десяти приглашений откушать чайку, и когда я всем отказывал, то приглашающие даже оскорблялись — слышались замечания: «брезгует нами» и проч.; я не могу этого объяснить чем-либо другим, кроме как уже вкоренившеюся в мужике привычкой изъявить чем-нибудь свою благодарность за труды по его делу, доказать, что он не бесчувственная скотина, а тоже «понимает». В этих случаях происходит как бы не высказанный громко диалог:

Начальник: — Видишь, как о вас трудимся, по праздникам отдыху нет,

от высшего начальства вас заграждаем, за всякую вину вашу на себя ответ берём...

Мужик: — Как, батюшка, не понимать; очень даже чувствуем и много довольны вами. Благодарствуем, что потрудились; пожалуйте отдохнуть — чайку покушать!..

Но бывают случаи, когда то же, или почти то же, высказывается и вслух. У высидевшего несколько дней под арестом за чужие недоимки старшины или старосты невольно является желание поднять своё падающее и в своих, и в чужих глазах достоинство. От него, конечно, нельзя требовать гражданской доблести, готовности страдать за мир, да и сами миряне далеки от предъявления такого рода требований: они вполне сознают, что старшина пострадал за их вину, и считают справедливым вознаградить его — чем же? не пустыми благодарностями — из них, известно, шубы не сошьешь, — а чем-нибудь вещественным, осязательным. А оскорблённое самолюбие тем временем вымещает на них свой позор: «Вы, анафемы, податей не платите, а я в «холодной» за вас, как прощелыга, сиди? Свои-то у меня давно заплачены — за что же я один в ответе буду?.. Нет, шалишь, пойдите-ка таперича вы туда, узнайте, как там скусно»... — «Батюшка, Парамон Федулыч, уж ослобони, сделай божескую милость!.. А мы не то что... мы очснно даже понимать можем... Пожалуй-ка, яишенки закусить, не побрезгуй!..» Я был однажды глубоко возмущён юмористическим рассказом двух старост, посаженных становым за недоимки в арестантскую при чужой волости: «Посадили нас, — говорили они, — ну и сидим; тоска одолела; хоть бы, думаем, ещё кого привели. Глядь, тут и есть — двух лошадников привели, с тёмной лошадью попались. Известно, растабарывать стали; они спрашивают: кто, мол, мы такие, за какия провинности сидим? А мы, чтобы подшутить, взяли да и соврали: тоже, дескать, с лошадью попались. Так мы, говорят, значит, товарищи: и давай это нам про свои дела рассказывать. На четвертые сутки пришёл сторож выпускать нас и говорит: ну, староста, собирайтесь! А лошадники нам: нешто вы староста? Нет, говорим, это нас за то тут прозвали, что давно уж сидим, до старостов дослужились»... Да где же тут место чувству собственного достоинства, когда человека за то только, что он гуманно относится к своим, односельцам, равняют с отъявленнейшими негодяями, бичом крестьянства — конокрадами? И можно ли винить их, если они, вернувшись к себе в село, начнут ломаться перед недоимщиками и выпивать с них, «за уваждение» в отсрочке недоимок, косушки и шкалики, чтобы заглушить неясное, но всё-таки ощутительное чувство стыда?.. Не хорошо, впрочем, было и моё положение, когда я слушал приправленный лёгким юмором рассказ старост и знал, что кара, их постигшая, была следствием донесения, писанного моей рукой... А не указывать виновных«в нерадении к казённым интересам» — нельзя было, так как при неуказании таковых, козлом отпущения оказался бы старшина, которому и предстояла бы перспектива

знакомиться с конокрадами: «Своя рубашка ближе к телу», — решили мы со старшиной, и старосты были преданы в руки начальства. Кстати замечу, что денежные штрафы, налагаемые начальством на старшин и старост, никогда не падают на них, а на общество, и штраф, например, за недоимки, очень быстро вносится старостами из имеющихся у них на руках мирских сумм, и общество всегда санкционирует впоследствии, при учёте, такую растрату. В данном случае старост даже не благодарят за избавление их от штрафа: они принимают, как должное, чтобы отвечал тот, кто виноват, а относительно существования недоимок виноватее, конечно, всё общество, нежели один из его членов, наименованный, по приказанию начальства же, старостою. Случалось даже, что общество принимало на себя наложенный на старосту штраф за пьянство; в этом случае, вероятно, действовало то соображение, что староста — мирской слуга и что мир за него и отвечает, коли он плох; впрочем, был один случай, когда общество заставило старосту заплатить «из своих» штраф за пьянство и нерадение к службе, — не приняв его на мирской кошт. Начальство и само отлично знает, что штрафы редко падают на виновного в их глазах, т.е. на старосту, и поэтому господствующим наказанием является арест; но и арестованные сельские начальники не могут пожаловаться на бессердечие мирян: им идут щедрые харчевые — полтинник и даже рубль в сутки, и мирские подводы обязательно доставляют их к месту назначения. т.е. в «кутузку», задаром...

1. Читая, например, в «Отечественных записках» за 1882 г. в статье «Из фабрично-заводского мира» о порядках в некоторых местностях нечернозёмной полосы, о порядках, при которых сотни мужиков-недоимщиков закабаляются старшинами, без ведома и согласия этих «свободно договаривающихся», разным приказчикам и подрядчикам для работ на болотах и в особенности для сплава по Каме и Чусовой — работ истинно каторжных; читая, например, рассказы Гл. Успенского о произволе, царствующем в Новгородской губернии, где целые селения за недоимки подвергаются порке по приказанию станового или даже только старшины, я неоднократно благодарил судьбу, забросившую меня в сравнительно зажиточный уголок Российской империи, в котором недоимки являются только как результат выходящего из ряда вон бедствия — полного неурожая (как, например, в 1882 г.), опустошительного пожара, градобития и т.п. В Кочетовской волости в 1881 г. не было ни одного селения с недоимками; с 1882 г., когда случился большой неурожай (рожь давала от сам-1 до сам-3), некоторые селения позапустили подати, и недоимки в настоящее время (1884 г.) ещё не покрыты; но я уверен, что один-два хороших года дадут населению возможность вполне оправиться. Я не говорю, чтобы экономическое положение всех селений Кочетовской волости было блестяще — далеко нет; но факт, во всяком случае, остается фактом: здешнему крестьянству живётся гораздо легче сравнительно с населением северных, нечернозёмных губерний, и вследствие этого оно не находится в такой ужасной кабале у кулаков и в та-

ком угнетённом положении относительно власть имеющих. Круговая порука с её нравственно развращающим (в существующем её виде) влиянием здесь неизвестна; продаж имущества у недоимщиков за невзнос податей также не бывает, потому что обеспечением недоимки всегда служит земля, арендная стоимость которой сильно превышает лежащие на ней платежи. Таким образом, экзекуции, т.е. продажи имущества, случаются только за частные долги по определению судебных мест, но и эти случаи крайне редки, потому что добросовестные должники имеют полную возможность покрыть долг, если он не велик, — примерно 10 — 15 р. — арендной стоимостью одной десятины земли из своего надела или летними заработками, которые, кстати сказать, здесь очень недурны. Убрать десятину, т.е. скосить и связать, в обыкновенное время стоит 3 р. 30 к. — 5 р. (при найме зимой — 1 р. 50 к. — 2 р.), а в 1881 г. уборка доходила, по случаю урожая, до 10 и даже 15 рублей за десятину; в больших экономиях, преимущественно у купцов, производящих огромные посевы в несколько тысяч десятин, и заработки, например, во время возки хлеба с поля дают 2 — 3 руб. в день на человека с лошадью. Я знаю двух братьев мужиков из Кочетова, которые, проработав в такой экономии шесть дней — с понедельника до вечера субботы на трёх лошадях — привезли домой 35 руб.; жаловаться на такие заработки, во всяком случае, нельзя... Впрочем, всё это к слову. Как-никак, а приходилось всё-таки и мне производить несколько раз продажу имущества за неплатёж по исполнительным листам; из десяти случаев в девяти назначенные торги кончались ничем, так как стороны кончали дело миром, заключая новое условие между собою, причём истец не оставался, конечно, невознаграждённым за данную отсрочку; но два или три раза пришлось-таки продать в одном случае — десяток кур, в другом — боровка и т.п. Состоялась ли продажа или не состоялась, сцены, бывающие на этих «укционах» так тяжелы, что я почти всегда посылал для производства торгов своего помощника, не желая принимать активного участия в узаконенном насилии... Представьте себе мороз в 20^0; сильный ветер пронизывает до костей, несмотря на валенки, тёплое пальто и тулуп, подпоясанный кушаком; слёзы невольно выступают из глаз, тут же примерзая к ресницам. Семиаршинная ольховая избёнка с двухвершковыми в диаметре брёвнами, вся окутана снаружи соломой, но, несмотря на эту меру, в избе так продувает, что вся семья сидит на печке, отогревая зазябшее тело; и вдруг мы, архаровцы, т.е. старшина, староста, я и понятые, являемся продавать с «укциона» сенцы — единственную защиту от ветра входных в избу дверей. Спрашиваем хозяина, припас ли он деньги 8 р. 45 к., которые должен крестьянину из соседней деревни Захару Филипычу за снятый в прошлом году осьминник, на котором, по случаю неурожая, родилось ржи четыре копны, давших по две меры, так что урожай едва окупил семена и работу; но Захар Филипыч в неурожае не виноват, требует «своё», т.е. арендную плату за землю, и волостные судьи, разбиравшие это дело, единогласно при-

знали право на получение Захаром Филипычем 8 р. 45 к. с Тихона Скворцова. Этот последний, ссылаясь на «божеское наказание», просил обождать с уплатой до следующего года; но истец остался неумолим — и мы принуждены были произвести опись имущества и назначить день для торгов. Назначены к продаже сенцы — за неимением чего-либо другого, годного к продаже, так как всё недвижимое имущество Скворцова заключается в избе с сенцами да в дворе плетнёвом с провалившимися навесами, а движимое — в кобыле «без годов», нешинованной телеге и развалившихся санях с мочальной упряжью: нет даже кур, сбытых, по случаю опять-таки неурожая, курятнику еще с осени. Итак, спрашиваем Скворцова: «Приготовил деньги?»

— Отцы родные, да откуда ж я возьму? Продать нечего, работишки в округу нет никакой, скоро и хлебушка весь выйдет... Где уж тут деньги заготовлять! Захар Филипыч, сделай ты божеску милость, ослобони до осени: може, хлебушко уродится — отдам, не то отработаю!..

— Отработаю!.. Знаем мы вас, как отрабатываете-то! Теперь ты кланяешься: Захар Филипыч, такой-сякой, а тогда мне за тобой бегать придётся: Тихон Иваныч, родненький, выходи на работу... Нет, брат, очень даже хорошо обучены мы этому производству, на мякине не обойдёшь!.. Ты мне моё подай, я лишнего ничего не прошу, ни пятачка не набавил за подожданье, не хочу греха на душу примать; что договорено было, то и ищу...

— Очень это мы понимаем, Захар Филипыч, и даже то есть во как чувствуем... Да откуда ж мне-то взять теперь, посуди сам?

— А откуда хошь; мне что, я своё прошу, лишнего не беру. У меня таких-то, как ты, може, тридцать человек наберётся — это, сосчитай, много ль денег-то выйдет? Этак сам по миру с вами пойдёшь, коли очень распускать-то будешь...

Невтерпёж становится мёрзнуть на ветру; старшина в последний раз спрашивает должника, отдаст ли он деньги; потом просит Захара Филипыча отложить взыскание до осени, но после полученных от обоих отрицательных ответов объявляет торги открытыми, в такой примерно форме:

— Ну, нам с вами не замерзать же тут... Н. М., читай тамь, что продаётся-то?

— Сенцы ольховые, рубленые, оценены в 4 р. 50 к.

— Эй, желающих никого нет покупать?

В нашей кучке все официальные лица — начальство и понятые; желающих торговаться на такую дрянь никого не явилось, и у меня начинает зарождаться надежда, что сенцы останутся во владении злосчастного Тихона, как вдруг раздаётся голос Захара Филипыча: «Гривенник накидываю, за себя беру... О весне строиться буду, — так на что-нибудь пригодятся; а то всё равно деньгам пропадать», — объясняет он понятым, которые уныло поддерживают его восклицаниями: «Это так, что и говорить!.. Известно, для хозяйства ежели»...

— Так вот, Иваныч, — говорит Захар Филипыч, — вот дело-то какое, за себя беру. Таскай из них пожитки-то, что у тебя там есть... Завтра я ломать приеду.

Но тут уж я, а потом и старшина начинаем упрашивать деревенского капиталиста подождать до тепла и не морозить несчастную семью... Баба с воплем бросается на колени... Тихон задумчиво скребёт бороду... На душе очень скверно, и свободнее дышится, когда под влиянием наших просьб и убеждений Захар Филипыч отсрочивает уплату до весенних работ. «Заработаешь — ладно, надуешь — сенцы сломаю», — говорит он Тихону. Понятно, что работа Тихона будет на 20 — 30% дешевле цениться против существующих цен... Мы бегом отправляемся греться в кабак, где Захар Филипыч подносит и начальству, и понятым по стаканчику «за труды»; понятно, никто не отказывается от заслуженной на морозе порции.

А то раз приехали в деревушку амбар продавать с торгов же у одного должника. «Погодите, Христа ради, — молит малый лет 22, единственный мужик в семье из 5 душ, — дайте сроку на три дня, я к дяденьке в Соколки (селение за 40 вёрст) сбегаю; може, он выручит».

— Никак нельзя, торги на нынешнее число назначены: мы тоже в ответе будем за самовольную отсрочку... Да ты что ж раньше-то думал, отчего загодя не готовил денег? Ведь тебе было об укционе объявлено, было, а?.. — допрашивает парня старшина.

— Было-то было, да мы, известно, народ тёмный, думаем — авось Господь и пронесёт...

— Пронесёт!.. Ах, ты разиня этакая, — а?.. Да как же это пронести-то может? Ты думаешь, мы шутки с тобой шутить за пятнадцать вёрст приехали? Нет, брат, шалишь, раздобывайся тут, ежели кто поверит, а то в «секундную» продадим — вот и покупщик называется.

Парень упрашивает местного капиталиста, унтер-офицера, тайно поторговывающего водкой, ссудить его на три дня двадцатью рублями; тот берёт в залог амбар, стоящий на худой конец 30 рублей, и даёт на три дня 20 р., но с тем, чтобы ему возвращено было 21 рубль, — «а то и возжаться с тобой не стоит». Вся сделка происходит при нас: старшина получает деньги, я отмечаю на исполнительном листе время уплаты, и мы уезжаем домой, причём я не совсем хорошо себя чувствую, сознавая, что как бы санкционировал своим присутствием ссуду из 600%.

Резюмируя все сказанное здесь, увидим, что волостному писарю приходится, во-первых, исполнять скучные и тяжёлые, по своему обилию, канцелярские работы; во-вторых, производить такие служебные действия, которые могут совершенно не согласоваться с его взглядом на вещи; в-третьих, вполне зависеть от всякого рода начальства и быть обязанным исполнять всякие его требования, даже беззаконные; и, в-четвёртых, в довершение всех этих

бед зависеть в материальном отношении от кучки мироедов, в каждую данную минуту могущих уменьшить писарское жалованье до невозможности существовать на него. Припоминается мне случай, как в одной из волостей нашего же уезда выжили чересчур уже загрёбистого писаря, не сумевшего к тому же жить в ладу с Парфёнами. Он получал жалованья 500 руб. в год, да на наём помощника отпускалось ему же 180 р., как вдруг сход положил ему вместе с помощником 300 руб. в год, так что за уплатой помощнику ему самому оставалось бы только по 10 р. в месяц; понятно, что на таких условиях он оставаться не мог и очистил место. Действительно, при той власти, которую забрало себе в руки уездное присутствие относительно назначения и удаления писарей, — хотя ни одна статья «Общего Положения» не оправдывает таких вмешательств, — единственным оружием в руках мира для самообороны или для нападения на неугодное чернильное начальство осталось назначение ему денежного вознаграждения; в принципе худого тут ничего нет, но на практике рождается из этого масса злоупотреблений, и магарычи играют самую видную роль при ежегодном составлении сметы волостных расходов. При всём моём отвращении к системе магарычей я был-таки в необходимости два раза ставить таковой: в первый раз — при прибавке мне, месяц спустя после вступления на должность, к двадцатипятирублёвому жалованью ещё десяти рублей, а во второй раз — при составлении первой годовой сметы для удержания прежнего 35-рублёваго оклада. Меня не успели ещё узнать и по привычке так настойчиво требовали угощения, что я, чтобы избавиться от навязчивых приставаний, в оба раза «выставил» по полведра... Потом мир попривык ко мне, да и Парфёны буквально не осмеливались тягаться со мной, так что о магарычах не бывало и помину; вначале же, попав в чужой монастырь и не успев ещё ввести своего устава, приходилось покоряться существовавшему.

Что касается до нравственной разладицы, происходящей от необходимости поступать, как должностное лицо, против своих убеждений, как человека, я упомяну ещё о следующих случаях: в качестве секретаря волостного суда приходится подчас записывать явно пристрастные решения, а также постановления о телесном наказании провинившегося субъекта; при выдаче дворовым людям паспортов приходилось их притеснять, выматывая из них подушную подать, так как — по закону — можно давать паспорта только уплатившим подати (теперь, по уничтожении подушной подати, сцены этого «законного» вымогательства почти прекратились, так как остались одни волостные сборы); составление, по требованию общества, явно несправедливых приговоров, например, о ссылке на поселение (был даже такой случай — о нём впоследствии) и проч. Всё это такие случаи, когда совесть моя как человека возмущается, но я всё-таки обязан как должностное лицо поступать «по закону», находящемуся в этих случаях в прямом противоречии с моею совестью. Помучившись, позлившись, испортив себе несколько зо-

лотников крови, решаешься на какое-нибудь такое средство, которое может быть оправдано только разве целью: случалось, например, искать поводов к кассации в собственноручно записанном постановлении волостного суда; или писать бессмысленную жалобу в высшую инстанцию с одной лишь целью — затянуть время и дать должнику возможность обернуться, и проч. Повторяю, что, служа в волостных писарях, надо забыть брезгливость в отношении выбора средств для достижения благой цели; если вы — человек робкий и чересчур нравственно чистый, то вам не совладать с той массой зла, подлости и насилия, которая со всех сторон нависла над беспомощным населением сел и деревень; вы будете только бесполезно мучиться, терзаться и в конце концов сами сочтёте себя ни к чему не годной тряпкой...

Ввиду всех этих обстоятельств неудивительно, что многие лица со средним и даже высшим образованием довольствуются 300 — 600-рублёвым жалованьем в городе и не идут в деревню на должность писаря, где жалованье в 500 руб. может быть смело приравнено к девятисотрублёвому городскому — благодаря дешевизне квартир и жизненных продуктов в деревне. И в самом деле, какая кому охота претерпевать оскорбления и обиды от начальств и Парфёнов, ежеминутно трепетать за свое существование (нет ничего легче, как погубить интеллигентного человека, живущего в деревне и имеющего, хотя бы по долгу службы, постоянные сношения с народом), возиться подчас с бессмысленными, подчас с невыполнимыми бумагами — и всё это из бескорыстного желания иметь редкую возможность словом или делом помочь тёмному человеку, указать ему дорогу, написать прошение, похлопотать в присутственных местах и проч.? Таких охотников, таких людей, готовых — несмотря на неблагоприятные обстоятельства — делать в тиши негромкие дела, ещё очень мало (впрочем, тут большое значение имеют так называемые «независящие обстоятельства»), и поэтому состав писарей до невозможности плох: это большею частью или отставные военные писари, или недоучившиеся в приходских и духовных училищах дети пономарей и дьячков... Для занятия этой крайне важной — в общественном значении — должности не требуется никакого аттестата; обыкновенно достаточно бывает самой микроскопической протекции, хотя бы секретаря уездной управы или станового пристава. И вот эти-то кантонисты и пономарские недоучки непосредственно влияют, управляют, дают суд и защиту 60-миллионному сельскому населению!..[51] Откуда же проникнет свет в сферу мужицкого самоуправления, откуда же научиться мужику понимать свои права и обязанности, откуда ему узнать, что он полноправный гражданин земли русской, а не только объект для всяких приказаний и распоряжений, подчас бессмысленных?.. Где ему узнать, что он кандидат в присяжные заседатели, в гласные; кто ему растолкует различие между этими обязанностями, так часто смешиваемыми и поныне — после двадцатилетнего существования их — в народном понятии? Кто ему разъяснит, какие права и

обязанности лежат на сходе, на старосте, на старшине? Нынешняя школа, конечно, далека от этой просветительной роли; да далека будет и всякая школа, потому что она имеет дело с теорией и с малолетними детьми; но волость, этот центр всего административного устройства крестьянства, и волостной писарь, представитель волости, умственный человек и законник, толкователь всяких распоряжений и ближайший исполнитель их — вот кто мог бы принести громадную пользу в деле умственного развития сельского населения. Писарь бывает на всех сходах, составляет приговоры, относящиеся до самых разнообразных сторон крестьянской жизни, и будь он человек развитой, интеллигентный, влияние его на народную жизнь могло бы быть громадно, так громадно, что роли школьного учителя и священника как теоретиков, не принимающих непосредственного участия в деле народного самоуправления, совсем стушевались бы. Если бы были установлены какие-либо мероприятия для привлечения в деревню интеллигентных лиц на должность писарей, переворот в крестьянской жизни вышел бы огромный; для этого нет надобности заводить всесословные волости и церковноприходские школы, нужно только дать возможность интеллигенции стать в непосредственное общение с сельскими массами...

Я сам сознаю, что договорился до несбыточных вещей и поэтому умолкаю, не предлагая никаких мероприятий для достижения недостижимого... «Никто не обнимет необъятного», — сказал Кузьма Прутков, и он был прав.

XIII

— Петрович! — взываю я почти каждое воскресенье между тремя и четырьмя часами пополудни. — Сажай судей!

Это значит, что старост я отпустил, просителей всех удовлетворил и теперь намереваюсь приступить к отправлению правосудия. Петрович — отставной солдат, семидесяти пяти лет отроду, но бодрый и свежий, с зычным голосом и представительной наружностью; он — сторож при волостном правлении, получает шесть рублей жалованья в месяц, в будни — вставляет свечи в подсвечники, соблюдает сидящих в арестантской и спит по ночам на денежном сундуке правления; по воскресеньям же его главная обязанность заключается в извлечении, по мере надобности, из «Центральной белой харчевни» то старшины, то судей, то тяжущихся... Ах, эта«Белая харчевня»! Сколько она мне крови испортила за эти три года!.. Расположена она как раз напротив волости, саженях в двадцати от неё (есть закон, что кабаки не могут быть ближе 40 саженей от волости, а белые харчевни, т.е. те же кабаки, но с продажей горячего чая — это ничего), флаги над ней так весело полощутся, а в открытые двери несётся такой заманчивый гул, что редкий посетитель волости утерпит не заглянуть и в харчевню, считая ее каким-то необходимым дополнением к

волостному правлению. Просовывается, например, ко мне в дверь канцелярии чья-нибудь кудластая голова и спрашивает:

— Яков Иваныча нет тута?

— Нету, — отвечаешь с сердцем, потому что приходится в это утро в десятый раз отвечать на подобный вопрос. Посетитель, ничего больше не расспрашивая, твёрдыми стопами направляется в «Центральную» и, пробыв там более или менее долгое время, возвращается уже с румянцем на лице, предшествуемый обеспокоенным старшиной, который, торопясь, открывает денежный сундук, вынимает требуемую гербовую марку или паспорт и вновь спешит в «Центральную», где так внезапно была прервана его дружеская с кем-нибудь беседа... И так ежедневно, по десяти и более раз. По воскресеньям же «Харчевня» решительно отравляет моё существование...

— Петрович! Где Петрович? — взываю я во всю глотку до тех пор, пока кто-либо из десятских не сжалится надо мной и не объяснит, что «Петрович в трактире-с».

— Беги скорей, тащи его сюда, да и судей захвати.

Я очень боюсь, чтобы Петрович не напился, потому что он незаменим в роли судебного пристава для вызывания тяжущихся и свидетелей и водворения между ними порядка. Он так зычно покрикивает, так энергично поворачивает и выпроваживает из комнаты какого-нибудь забредшего «на огонёк» пьянчужку, что публика боится его гораздо больше, чем самого старшины. Вообще, Петрович — редкий и крайне симпатичный тип старого служаки, всем существом своим преданного начальству... Мир праху его, этого верного слуги, нашедшего раз пачку с деньгами до пятисот рублей, забытую старшиною на столе, и возвратившего её без всякого промедления: за этот подвиг он получил от старшины рубль серебра... Исполнителен он был замечательно; бывало, скажешь ему: пришли мне завтра в 4 часа утра лошадей на квартиру, и уж вполне уверен, что лошади ни на пять минут не опоздают, ни на четверть часа ранее назначенного срока не приедут... Был однажды на суде такой случай: тягались два мужика о запроданной лошади; свидетелем у одного из тяжущихся был священник из соседнего села, который очень тянул руку своего клиента и даже с азартом наскакивал на судей, покрикивая так: «Да чего вы думаете — тут и думать нечего! Пишите прямо: отказать» и проч. Между тем я заметил, что дело попова клиента неправое, да и судьи, хотя поддакивали «батюшке», но тоже что-то мялись; необходимо было им дать поговорить между собой, но никак не в присутствии полуначальника их, т.е. священника. Поэтому я, по обыкновению, предложил всем присутствующим оставить комнату, «так как судьи будут совещаться». Все вышли, кроме священника, преважно рассевшегося на диване, с видимым намерением производить «давление» на судей.

— Батюшка, — говорю я ему, — предложение моё — на время удалиться из этой комнаты — относилось к вам в той же степени, как и ко всем прочим.

— А вы что ж не уходите? — придирчиво спрашивает он меня.

— Моя обязанность быть здесь в качестве секретаря суда. Посторонним же здесь нет места.

— Я уйду только в том случае, если и вы уйдёте, — настойчиво твердит расходившийся пастырь.

— Петрович, — говорю я, — попроси батюшку оставить эту комнату.

Несмотря на свою набожность и полное уважение к духовенству, Петрович мигом подскочил к священнику и, взяв его легонько за рукав рясы, вежливо, но настойчиво просил удалиться; тот, во избежание пущего скандала, покорился... Я потом спрашивал Петровича, как это он решился вывести священника. «Мне покойный предводитель Сафонов говорил, — отвечал он, — старик, ты знай только старшину да писаря, их только и слушайся, а становые, урядники и прочая шушера — для тебя не начальники. Вот я теперь и знаю: что старшина или писарь сказал, так тому и быть. Он, батюшка-то, у себя в церкви хозяйствуй, а здесь он не хозяин». Так вот каков был Петрович.

Возвращаюсь к прерванному рассказу. Десятский бежит в харчевню, но судей беспокоить не решается, а приглашает только «дяденьку Петровича» — так все его называют — «сходить к писарю». Этот последний на полуслове обрывает речь и мгновенно является в дверях канцелярии, вопрошая: что прикажете?

— Ты, друг мой, который счётом шкалик пропустил?.. Только говори по совести!

— Врать не буду, Н. М., — четвёртый.

— Ну, это ничего; только больше до конца суда — ни-ни!.. Зови же судей.

— Слушаю-с.

Он делает налево кругом и беглым шагом отправляется в харчевню... Жду пять, десять минут, — наконец, появляются и судьи.

— Уж вы простите великодушно, Н. М., — признаться, чайком с морозу побаловались. Морозец ныне важный благодаря Создателю!

— Доброго здоровьица, Н. М., с праздником-с! Всё ли подобру себе, поздорову?

— Слава Богу, благодарю... Садитесь, пожалуйста, пора начинать, а то поздно засидимся: нынче восемнадцать дел.

— Господи, Создатель Милосердный! Да откуда ж их такая пропасть?.. Нет, вы уж нас не держите, Н. М., вы пустите поскорее: нельзя ли кой-какие до будущего воскресенья отложить?..

— К будущему воскресенью опять наберётся десятка два дел — уж сейчас семь жалоб новых записано. Садитесь, начнём поскорее, чего народ зря держать...

Крестясь и покряхтывая, залезают судьи на свои места, позади длинного стола, покрытого зелёным сукном. Их четверо. Но позвольте мне сначала рас-

сказать, кто сейчас сидит со мной за этим судейским столом и каким путём они достигли высокого звания народных судей.

На самом дальнем конце стола, против того места, где обыкновенно стоят тяжущиеся, сидит Пётр Колесов, мужик из среднесостоятельного дома, лет около сорока, живой и юркий, ведущий обыкновенно допросы и ежеминутно перебивающий как свидетелей, так и тяжущихся своими восклицаниями и замечаниями. Колесов всегда с живейшим интересом слушает дело, задаёт вопросы очень остроумные, но подчас к делу не относящиеся, а имеющие только целью уяснить лично Колесову какое-нибудь непонятное ему побочное обстоятельство, о котором кто-либо упомянул на суде. Когда дело доходит до постановки решения, то он всегда первый предлагает что-нибудь, но зачастую отказывается от своего мнения под влиянием рассуждений соседа, Дениса Черных. Денис, бесспорно, мужик умный, рассудительный; несмотря на свои 60 лет, он ещё крепок и не покидает сохи, хотя у него трое взрослых сыновей. Говорит Денис мало, слушает тяжущихся, опустив глаза в землю и сохраняя бесстрастное выражение лица; он, несомненно, председатель нашего суда, хотя такой должности, в действительности, и нет; но его авторитет настолько велик, что при постановке решения очень редкие осмеливаются перечить ему. Колесов уступает ему охотно, хотя и позволяет себе иногда задать несколько вопросов или хотя бы сделать несколько восклицаний, долженствующих выразить его удивление и сомнение. Совершенно иначе относится к Черных другой его сосед, Василий Пузанкин, или, как его попросту называют, лишь только он выйдет из-за судейского стола, — Васька Голопуз. Этот Васька — тип деревенского прохвоста, на всё готового за рубль или за полштоф водки: в судьи он попал благодаря поддержке подобных ему, которым он «стравил» рубля полтора на водку, и вот теперь он старается «вернуть своё». Он совершенно продажен; с упорством, достойным лучшей участи, отстаивает он кругом неправого, если этот неправый посулил ему магарыч; он со злостью уступает только соединённым усилиям Дениса и Петра, подкрепляемым и моим писарским авторитетом, и часто имеет нахальство, уступив, приговаривать: «Смотрите, дело ваше; человека, известно, не долго обидеть... А нужно так, чтобы, то есть, по правде»... В эти минуты великолепен Черных, бросающий на озлобленного взяточника мрачно-презрительные взгляды; под влиянием этих взглядов причитания Васьки становятся всё тише и тише и, наконец, переходят в невнятный шёпот про себя. На суд Васька является всегда несколько зарумянившимся от трёх, четырёх выпитых «в задаток» стаканчиков; выпить сверх этого он не решается до суда — с того времени, как я однажды потребовал, чтобы он вышел из-за судейского стола, так как он быль окончательно пьян; Васька было запротестовал, не желая оставлять тёплого местечка, но я объявил, что не буду продолжать дела и покину судейскую комнату на всё то время, покуда

там будет заседать пьяный Васька. Это подействовало: он вышел из-за стола и впоследствии остерегался уже «перепускать» лишний стаканчик из боязни вновь осрамиться; зато, по окончании судов, Пузанкин переставал уже стесняться и напивался с тяжущимися до положения риз. Любопытнее всего, что его угощали даже те из судившихся, которые, несмотря на его заступничество в суде, проигрывали тяжбы; делалось это из благодарности за подмогу: всё-таки, мол, старался человек, а и так сказать надо, — может быть, и хуже без него было бы... Но большею частью Васька доил имеющих ещё только судиться в будущем, застращивая одних и суля другим всякую благодать, а зачастую не стеснялся выпить и с противной стороны стаканчик-другой, причём склонял её на мировую с уступкою, стращая всякими ужасами... Словом, это был в полном смысле негодяй.

Четвёртый судья, Федька-ямщик, был действительно ямщиком и попал в судьи именно потому, что он был ямщик. Свою судейскую обязанность он отправлял как натуральную повинность; во время делопроизводства обыкновенно дремал, во всём соглашался с мнением большинства, по нескольку раз меняя свои решения, и думал только об одном: как бы скорее отпустили его «ко двору». Это он-то всегда и просит меня перед началом заседания, нельзя ли несколько дел отложить до другого раза. Таким образом, Федька сидел только для счёта, никакого влияния на ход дела не оказывая.

И вот за одним столом сидят такие разнохарактерные, прямо друг другу противоположные личности, каковы Петруха Колесов и Федька-ямщик, Денис Черных и Васька Голопуз. Как же они попали сюда, кто и как уполномочил их отправлять функции народного правосудия?

Начало января месяца; большая комната сборни при волостном правлении битком набита выборными на волостной сход, явившимися для составления сметы волостных расходов на начинающийся год и для производства выборов двенадцати волостных судей, полномочия которых простираются также на один год. Смету уже составили, жалованье всем назначили, причём выторговали с волостных ямщиков ведро, со сторожа и с десятского (которым положили — первому шесть и второму — четыре рубля в месяц) — по четверти, да от старшины, коли его милость будет, ожидается полуведёрка. Таким образом, в перспективе имеется два ведра водки, т.е. по полтора шкалика[52] на человека, потому что собравшихся всего около ста сорока душ. Понятно, что все горят нетерпением приступить к даровому угощению и поэтому с явным неудовольствием выслушивают моё предложение избрать из своей среды двенадцать человек на должность волостных судей. Слышатся даже несколько восклицаний: «Да чего там выбирать, назначай кого-нибудь, всё равно отходят!», но восклицания эти всё-таки подавляются криком большинства: «Нет, так нельзя, — делать нечего, надо по закону! Уж мы сами назначим, как допреж было!..»

— Ну, так выбирайте, господа; кого желаете? — повторяю я.

— Да вы разложите по душам, много ли на каждое общество приходится судей-то?

— Это не по закону будет, господа; надо, чтобы весь сход производил выборы, а не каждое общество отдельно.

— Да из кого же, леший их возьми, будем выбирать-то, коли примером сказать — Никольские никого из наших не знают, а мы Никольских впервое в глаза видим? Кабы все из одного села были, ну там друг дружку всё-таки знаем, а тут за пятнадцать-то вёрст посёлки наши лежат — нам никогда и бывать-то у них не приходилось!..

— Всё это так, господа, но я не могу раскладку судейской повинности по душам делать; мне закон этого не разрешает.

— Дозвольте нам выйти, пообдует нас маленько ветерком-то, а то дюже уж запотели... Выходи, ребята, на улицу, там столкуемся!..

Толпа выходит «на ветерок», но несколько человек, в числе коих знакомые уже нам Иван Моисеевич, Парфён, Пётр Колесов и другие, забегают предварительно в канцелярию, где сидит мой помощник, и просят его сделать раскладку — по многу ли судей на каждое общество приходится соответственно числу его ревизских душ. Оказывается, что из Кочетова должно быть выбрано четыре человека, из Никольскаго — двое, из Осиновки — двое, из Надгорного и Троицкого* вместе — один и т.д. Справлявшиеся выходят к ожидающей их у крыльца толпе, которой и передают результат раскладки; тогда общая толпа распадается на кучки односельчан, и начинаются оживлённые толки. Я прислушиваюсь к тому, что происходит в самой многочисленной группе, состоящей из представителей села Кочетова.

— Так как же мы надумаемся теперь делать-то, господа? — ведёт прения Иван Моисеич. — Давайте двоих из нашего прихода выберем, а двоих нз энтого, чтобы поровну было.

— Ладно, валяй...

— У нас, я думаю, Петруху Колесова можно да Прохора Дубового... Ладно, что ли, будет?

— Чего лучше!.. Отходят!.. Валяй таперь, ребята, своих!

— У нас Гаврикова Илюху да Ваську Пузанкина! — авторитетно заявляет Парфён.

— На кой ляд Пузанкина-то?.. — восклицает один скептик.

— Как на кой ляд? Да чем же он хуже других-то?..

— Да я, то ись, к слову.

— К слову?.. Нет, ты мне скажи, чем он плох?.. Не сумеет нешто рассудить, думаешь?.. Да он лучше твоего рассудит небось!..

---

* Кстати, считаю долгом заметить, что все названия мест и имена лиц, которые приведены в этих очерках, вымышлены.

— Да я ничего, я только то-ись про себя мекаю... А ну те к ляду, отвяжись ты совсем! — внезапно озлобляется скептик.

— Ваську, Ваську Пузанкина! — поддерживают Парфёна человек пять сторонников Пузанкина, только что распивших три полштофа на его, Пузанкина, счёт...

Иван Моисеич безмолвствует. Он своё дело сделал, своих двух кандидатов (Колесов ему сват, а Дубовый — приятель-сосед) провёл, а до других ему дела нет... Но тут моё внимание отвлекается другой группой избирателей.

— Конаться[53], вот что! Иначе никак нельзя...

— И чудак же ты, братец мой!.. Ведь прошлым годом наш надгоренский Тимоха отходил, теперь вашему троицкому черёд...

— Ладно, толкуй Захар с бабой!.. А позапрошлым годом опять-таки наш Андрюха ходил?.. А душ-то у вас сто сорок, а у нас сто пятнадцать — вот и нет никакого расчёта нам с вами наравне чередоваться — душ-то у вас побольше...

— Ну, шут с тобой, конайся, коли так!..

— Живёт! Так на следующий год опять ваш надгоренский будет, а ноне кому достанется?.. Так, что ли, старички?..

— Так, так!.. Кому ж конаться?..

— Ну, у нас опричь тебя, Фролушка, некому быть — ты здесь один от трёх душ. Конайся ты! А у вас кто будет?

— Да у нас вот Игнат Мартыныч.

— Эх, сват, лучше бы уж тебе; стар я стал, пора бы и на покой.

— Вот-та! Нам стариков-то и надо, которые нас бы уму-разуму постарински учили... Так-то. Походишь, небось, не умрёшь!.. А умрёшь, всё почётнее поминать будут! Судьёй был, скажут... хо, хо!..

— Ох, не хотелось бы мне!.. — продолжал упираться старик, но, легонько подталкиваемый сзади сватом, придвигается к кандидату «противной партии», Фролушке, и берётся с ним за кнутовище: чья рука придётся, при последовательном перемещении их, к противоположному концу кнутовища — тот, значит, и судья... Судьба оказалась милостива на этот раз к Игнату Мартынычу и определила в судьи Фролушку, развеселого малого лет тридцати трёх-четырёх.

А вот и ещё одна группа, привлекшая мое внимание.

— Федя, а Федя, да что те стоит, не упрямься, выручи ты нас, сделай милость!..

Оказывается, что очередь выставить судью пала на селение Хуторки, отстоящее от Кочетова на 30 вёрст; это выселки из села Гладкого, которое во время VIII ревизии получило прирезку на излишнее количество душ в отдельном участке, потому что поблизости свободных казённых земель уже не было. Но Хуторки, хотя и составляют отдельное самостоятельное селение и даже избирают своего старосту, всё-таки остались причисленными к Кочетовской волости, потому что владенная запись на землю у них общая с своей ме-

трополией — селом Гладким; отсюда крайне отяготительная обязанность для хуторян — ездить в Кочетово на суды, сходы и проч. Они нанимают особого ямщика, Федьку, платя ему 90 р. в год, чтобы он доставлял по воскресеньям старосту в волость и отвозил бы его обратно; теперь же, когда до хуторян дошла очередь «выставить своего судью», они и пришли в крайнее затруднение, потому что никто из четырёх выборных не хочет каждое воскресенье делать прогулку в 60 вёрст. Просили они кочетовских ослобонить их, взять на себя лишнюю судейскую должность, да те заломили ведро водки, а они давали только четверть... Ну, насмеялись над ними только: «Ладно, отходите, разжирели там, сидя в углу-то! А вы вот с наше походите-ка!»..

— Да что, ребята, думаю я, — говорит один из выборных. — Федьке всё равно кажиное воскресенье забиваться сюда со старостой, так его и выберем в судьи. Он посидит, посидит, да и отходит так-то, Господи благослови.

Нужно сказать, что Федька попал в выборные на волостной сход на том же основании, т.е. что ему уж всё равно забиваться в волость с старостой, так и в выборных, мол, заодно отходит.

Все отлично понимали, что Федька ни на какую общественную должность, кроме старостиного ямщика, не годится, потому что Бог его умом обидел, не говоря уж про то, что он до страсти жаден на вино; но стремление сэкономить одного человека при отбывании общественной повинности натолкнуло хуторской мир на мысль сделать Федьку одним из своих представителей. Федька, после легкого протеста и, получив полуштоф мирского вина, согласился принять на себя обязанности выборного на волостной сход, так как все обязанности его могли заключаться в том, чтобы при перекличке на сходе он сказал бы «здесь», а потом до самой минуты отъезда он мог уже беспрепятственно хранить глубокое молчание и дремать, прислонившись спиной к жарко натопленной печке. Но перспектива судейских обязанностей испугала Федьку, и он энергично стал открещиваться от сделанного ему предложения.

— Да что вы, почтенные, помилуйте, какой же я судья! Опять мне за лошадью присматривать надо, а там сиди за столом... Нет, уж вы ослобоните!

— Пустое ты болтаешь! Прикажешь десятскому за лошадью посмотреть — на то он и десятский, а ты судья... А там себе будешь смирнёхонько в тепле сидеть, отсидишь, да и поедешь с Господом...

— Никак это невозможно, старички!..

— Федька, будь друг! Уважь мир!.. Мы те и в караульные целый год выгонять не будем...

— Это верно — не будем! — поддерживает мир и староста.

— И два полуштофа сейчас выставим тебе!..

Федька колеблется.

— Да что толковать! — замечает ещё один выборный. — Нас пятеро — целую четверть мирскую выпьем, во как!..

— Выпьем!.. Это что и говорить!.. Так как же, Федька, а?..

У Федьки слюнки текут...

Сборня начинает вновь наполняться; выборные столковались и спешат теперь объявить результаты своих совещаний.

— Кого же, господа старички, желаете в судьи? — спрашивает старшина.

— Петруху Колесова! — объявляет Иван Моисеевич.

— Все желаете? — опять спрашивает старшина.

— Все... Желаем!.. — как один человек отвечают сто сорок выборных.

— Прохора Дубового...

— Все желаете?..

— Все... — и т.д., покуда не будут провозглашены судьями все двенадцать кандидатов, в числе коих значатся и Илюха Гавриков, и Васька Пузанкин, и Фрол Бородин, и Фёдор Ягодкин, т.е. по-обиходному — Федька-ямщик...

— Господа, — заканчиваю я выборы, — у нас издавна ведётся, чтобы все судьи разбивались на три очереди, по четыре человека в каждой, причём каждая очередь обязана «отходить» по четыре месяца; первая очередь с января по апрель включительно, вторая — с мая по август, третья — с сентября по декабрь. Дозволите вы мне со старшиной распределить новых судей по очередям, или сами будете назначать, когда кому ходить?

— Чего там!.. Стоит толковать из пустяков!.. Сами назначайте, вам виднее!.. — слышатся со всех сторон восклицания.

Сход кончается. Все спешат к «распивочному и на вынос» — пить магарычи и разные отступные; волость мгновенно пустеет, остаёмся только мы со старшиной, потому что даже Петрович с десятским убежали, чтобы из своих четвертей хоть по стаканчику выпить.

— Ну, как же, Яков Иванович, надо ведь рассортировать судей? Я многих ещё не знаю, так ты уж помоги мне.

— Что ж, это можно: вот Ваську Пузанкина надо приобщить к Черныху; этот его окорачивать будет, а то Васька — дюже плут-мужик...

— Какой это Васька? Я что-то не припомню...

— А вот что намедни приходил жаловаться на Воробьёва Ивана, будто тот у него сено на гумне потравил...

— А, а! Это что ещё просил пять рублей за потраву, а на полтиннике сошёлся?..

— Ну, вот, этот самый... Выжига такой, беда! Он ворочать теперь пойдёт, посмотри-ка... Беспременно к нему Черныха приспособить надо.

— Ладно, записал. А вот Прохор Дубовый, этот каков из себя будет?

— Это Иван Моисеича сват! Что ж, мужик хороший, тверёзый мужик! Про него дурного ничего сказать нельзя. Его хоть во вторую очередь запиши, он там будет головой...

Таким путём и произошла рассортировка судей; последствием этого совещания и было, что в знакомой уже нам очередной группе находились такие разнохарактерные личности, каковы Пузанкин, Черных, Колесов и Ягодкин, взаимно дополнявшие или нейтрализовавшие друг друга.

Посмотрим, однако, что и как делается этими судьями на этих судах.

XIV

Итак, мы усаживаемся за стол, покрытый зелёным сукном; судьи сидят у стены по длине стола, я — сбоку, за узким концом его. Петрович мне порадел, поставил единственное имеющееся у нас кресло; он это делает каждое воскресенье, несмотря на мои протесты: «Вы больше их работаете — пишете, а они только языком болтают; вам и отдохнуть надо, а на кресле и мягче, и откинуться можно», — говорит он; судьи сидят на разнокалиберных стульях. Заседание наше носит вначале официально-торжественный характер: судьи сидят в застёгнутых глухо полушубках, туго перепоясанных праздничными домоткаными кушаками; но по мере того, как в небольшой комнате, где мы заседаем, становится всё душнее, полушубки расстёгиваются, позы становятся свободнее, на лицах сказывается утомление, речь принимает более домашний характер. Но вначале, как я сказал, все держатся чопорно, глубоко вздыхают, шепчутся друг с другом вполголоса, как бы боясь нарушить торжественность обстановки; Петрович стоит у дверей на вытяжку; на диване сидят два официальных свидетеля, при которых читаются постановления суда, что и отмечается в книге таким образом: «решение это объявлено такого-то числа при свидетелях, крестьянах таких-то». Так как комнатка наша мала и к тому же случается, что публика не ведёт себя достаточно чинно, то кроме этих двух свидетелей присутствовать при допросах допускается лишь избранным, изредка приходящим «скуки ради» послушать суды: учителю, священникам, местным торговцам, Ивану Моисеичу и некоторым другим лицам, составляющим сливки кочетовского общества. Для прочей, «чёрной», публики двери нашей залы заседаний растворяются только в момент объявления решения суда.

— Василий Коняхин! — вызываю я по жалобной книге истца по первому стоящему на очереди делу.

— Василий Коняхин! — гремит Петрович в полуотворенные двери, ведущие в сборню. — Коняхин!

— Где Коняхин?.. Аль в трактир ушёл?

— Здеся, чего кричишь!..

— Чего ж ты не отзываешься, коли тебя зовут? — допекает его наш судебный пристав.

— Для ча мне отзываться?.. Ты зовёшь — я и иду, а отзываться мне не для ча...

— Ну-ну, не разговаривай, а становись вон к печке!..

Вошедший мужик, сутуловатый и широкоплечий, с угрюмым выражением лица, несколько раз истово крестится на икону, делает глубокий поклон судьям и, тряхнувши волосами, становится на указанное ему место.

— Вы — Василий Иванов Коняхин? — спрашиваю я.

— Я самый.

— В чём ваша жалоба? Рассказывайте суду.

— В чём?.. Известно, в чём: Гришка побил.

— Чей это Гришка? — вмешивается Колесов.

— Волков.

— А, а... Волков? Это Матвея Ивановича зять? Ну так, так... Побил, говоришь ты, и больно?

— Лучше не надо. Глаз во как раздуло, почернел совсем; теперь зажило.

— Так-с. Где же у вас дело-то было?

— Да около кабака. Я домой хотел ехать, а он догнал и давай бить...

— Так ни за что и побил?

— Ни за что... С празднику мы ехали, от гудовскнх. Праздник у них был.

— Да что ж у тебя язык-то, прости Господи, словно жернов ворочается! Сказывай веселее, как у вас дело было?

— Сказывать-то нечего: побил, да и только. Без глазу две недели ходил...

— Н. М., — обращается ко мне Колесов, потеряв охоту допрашивать такого неразговорчивого субъекта, — зовите виновника, послушаем, что он скажет, а от этого никакого толку не добьёшься.

На выклик Петровича в комнату быстро входит, очевидно, ожидавший у дверей ответчик Григорий Волков, юркий вертлявый мужичонка, на вид гораздо слабее коренастого Коняхина. Он начинает говорить, не дожидаясь вопроса.

— Не верьте, господа судейские, ему: наврёт со злобы, ей-Богу наврёт, как пить даст...

— Ты не мели! — осаживает его Денис Иванович, — а говори делом, что и как у вас было?

— Изволите видеть, господа судейские: были мы, значит, у праздника, в Гудовке, значит... Там на Введение завсегда престол бывает...

— Знаем, как не знать; сами не однова были! — не утерпел, чтобы не вставить своего слова, Колесов.

— Вот, вот, это и я говорю... Хорошо-с; едем мы оттелева с ним, я на его лошади — потому, первым делом, лошади у меня нет — ещё около Покрова увели; може, слыхали?..

— С озимей? — участливо замечает Колесов.

— С озимей, с озимей; как пить дали, увели... А добрый меренок был, хоть и в годах, а грех покорить... Ладно; так я и говорю: кум (а он мне и кумом доводится)! Поедем к празднику вместе! Ну, что ж, говорит, поедем...

— Вы покороче говорите, — останавливаю я словоохотливого рассказчика, опасаясь, что мы принуждены будем выслушать подробное повествование о всех их похождениях на празднике. — Сказывайте прямо, с чего у вас драка вышла? Там, что ли, подрались?..

— Упаси Бог, зачем там! Мы там, то ись, во как, душа в душу были, и вместе по гостям ходили; а это уж как мы назад ехали, неудовольствие-то промеж нас приключилось. Чтой-то, говорю, кум, прозяб я будто маленько? И то, говорит, холодно что-то к ночи. Заедем, говорю, в Шепталиху, она нам по дороге будет, по стаканчику и выпьем. Заехали. Спросил я у целовальника, Ивана Митрича, косушку, да и говорю: у меня ведь, кум, денег-то нету, уж, видно, ты заплатишь. В ту пору он промолчал; только, как выпили по стаканчику, он и стал ко мне приставать, чтобы я ему на свои деньги поднёс косушку. Я ему божусь, что денег нету, а он, видно, опять захмелел — ругаться стал: «такой, да сякой, на моей лошади едет, да ещё мою водку пьёт; иди же, говорит, пешком, а я не повезу». И пошёл садиться на телегу. Я за ним: кум, говорю, да что ты очумел, родимый, что ли? Тут ещё пять вёрст до дому, а уж ночь на дворе: куда я пойду в этакую темь?.. А кум мой распрелюбезный быдто меня и не слышит и ухом не ведёт, знай понукает лошадь; ну, я тут и схватился за возжу — поприпридержать его маленько... Ка-ак он мне в тую пору даст леща прямо в ухо, аж звон у меня в голове пошёл!.. Ну, в этот раз и я уж не стерпел, прыг к нему в телегу, и пошло у нас тут неудовольствие... Да мне где ж было б с ним справиться, кабы он пьян не был: сами извольте, господа судьи, посмотреть на него и на меня...

— А глаз ты ему точно подбил? — допрашивает Колесов.

— Врать не хочу, случился такой грех: маленько не ладно потрафил. Да теперь у него, слава Богу, зажило.

— Вот что, почтенный, — прерывает своё молчание Черных, обращаясь к жалобщику, — брось это дело, ничего не получишь; сам виноват: первый зачал, потом оба подрались — о чём же жаловаться?

— Это, то есть, как же?.. Ни с чем?

— Ах, кум, кум!.. — подхватывает обидчик, ободрённый заступничеством судьи. — Я ж тебе ещё полуштоф на мировую поставить хотел, а ты поди ж что выдумал!.. В суд идти, судейных утруждать таким пустяком!..

— Ну, вот это первое дело! — восклицает Колесов. — Пойдите-ка, выпейте на мировую, да чтоб ни на ком...

— Миритесь, говорю вам, — заключает Черных, — миритесь скорей, не то обоих в «холодную» на сутки.

— Дровец мне подможете наколоть! — подхватывает Петрович. — А

то нет моей моченьки: на две печки-то каждый день, сколько их наготовить надо?..

— Что ж, кончаете дело мировой? — вставляю и я своё словечко.

— Кум, брось, пра-слово, брось, а?..

— Да ну те к лешему! Пойдём!.. Прощенья просим, господа судейские.

— Вот это превосходно, на что уж лучше! — одобряют и Колесов, и Пузанкин, и даже успевший уже задремать «в тепле» Федька Ягодкин. Один Денис Иваныч угрюмо молчит.

— Сторожу-то за хлопоты не забудьте приберечь стаканчик! — в догонку уходящим кумовьям кричит Петрович, тоже довольный состоявшейся мировой, хотя надежда на помощь при колке дров и остаётся тщетной.

— Ладно, оставим. Подходи!.. — отвечает уже из другой комнаты Гришка.

— И с чего это вздумалось Коняхину жаловаться на кума? — полувопросительно замечаю я. — Мужики оба, кажется, хорошие; ну, подрались, так это не в диво.

— Обидно очень стало Василию-то ходить с подбитым глазом: кабы не глаз — ничего бы и не было, а то засмеяли его вовсе онамеднись в трахтире... Вот он с пьяну-то и пошёл жалобу записывать, а потом уж поопасался отступиться, как бы за это что не было, — объяснил судья Пузанкин, знающий почти всю подноготную житья-бытья кочетовских обывателей.

Выступает на сцену истец по второму делу, старик лет шестидесяти. Он жалуется, что сын его перестал слушаться, бранится, бросается с кулаками на мачеху — его, старика, вторую жену... Старик просит суд «постращать» сына, всыпав ему десяток горячих. Зовём парня; входит малый лет двадцати пяти, сам уже отец двоих детей; за его спиной становится его жена, а сбоку старика — мачеха. Бабы эти вторглись к нам, несмотря на протесты Петровича; я оставляю их, однако, в покое, думая, что из имеющей произойти семейной сцены скорее выяснится, кто из них прав, кто виноват.

— Батюшки мои, заступитесь, родные!.. — причитает мачеха. — Житья мне не стало, со света сгоняет...

— Кто тебя сгоняет? Сама всех из дому выгоняешь, поедом меня ешь, — замечает молодая. Отец с сыном молчат, не глядя друг на друга.

— Ты что ж это, молодец, делаешь, а? Нешто годится это отца родного да мать забижать? — спрашивает Колесов.

— Отца я не обижаю, а она — какая же мне мать! — нехотя замечает бунтовщик.

Судьи молчат; с двух слов становится для всех понятной семейная драма тяжущихся: мачеха не уживается с молодой и натравляет на неё старика, а сын заступается за жену свою и отстаивает её перед стариками. «Отцы» не ладят с «детьми».

— Проси, чего ж ты не просишь? — слышу я шёпот старухи.

— Так как же, господа судейские, постращайте малого-то?.. Совсем от рук отбился.

— Старик! Ты недарма ли просишь на него? Не твоя ли хозяйка тебя подбивает своё детище теснить? — строго спрашивает Черных.

— Да разрази меня Мать Пресвятая Богородица!.. Да провались я на этом месте, — начала было причитать старуха, но быстро умолкла при грозном жесте Петровича. Старик ничего на вопрос не ответил.

— Эй, молодец, слухай сюда, — говорит Черных. — Может, тут и не вся вина твоя, а все ж ты супротив отца родного не должен идти, не смеешь ругаться, это великий грех!.. Проси прощенья: он, може, и простит, а то, не прогневайся, отстегаем.

«Молодец» угрюмо молчит, не поднимая глаз с полу.

— Дедушка! А то, на первый раз, вы бы простили его! — делаю я слабую, что и сам замечаю, попытку смягчить старика.

— Как же мне прощать, коли он не просит? — говорит он и этим порывает всякую надежду на мирный исход дела.

По предложению Петровича (он понял кивок головой, сделанный Денисом Иванычем) вся группа тяжущихся выходит из комнаты.

Наступает момент решения участи малаго, почему-то приобретшего мою симпатию. Я выжидаю, что скажет Денис Иваныч: мнения прочих не имеют для меня такого значения. Первым, по обыкновению, начинает говорить Колесов.

— Что ж, господа товарищи, всыпать ему десяточек или много?

— Чего много! — поддерживает Пузанкин, не попользовавшийся ничем от обвиняемого и поэтому сохраняющий суровый ригоризм. — Чего много, в самый раз! Им гляди в зубы-то: они живо оседлают.

— Так, так, — это первым делом! — поддакивает и Федька, всегда согласный с чужим авторитетно высказанным мнением. В эту минуту Федька даже забыл, как в прошлый праздник, напившись в кабаке, пришёл домой и так саданул в бок своего отца, начавшего делать ему выговоры, что тот дня два кряхтел и грозил идти жаловаться в суд на драчливого судью...

Денис Иванович все молчит; я начинаю надеяться, что он не согласен с мнениями прочих, и стараюсь расчистить ему путь, указывая на выяснившееся на суде обстоятельство — злющий характер мачехи, притесняющей, по всей вероятности, жену обвиняемого, что и послужило поводом к открытой ссоре между «отцами и детьми». Я намекаю, что не худо бы на первый раз всё дело оставить без последствий, предупредив ответчика, что если на него ещё будут жалобы, то он в следующий раз будет подвергнут тяжёлому взысканию.

— Нет, вовсе прощать кубыть не годится, — замечает Черных. — А дать ему один лозан — для острастки...

Но я окончательно восстаю против телесного наказания. Парень, доказываю я, кажется, хороший и должен теперь пропасть из-за ехидной старушонки. Если пороть, то разница между одним и двадцатью ударами — только в относительной боли, а последствия для осужденного одни и те же: он лишается многих прав, не может быть выбран старостой, старшиной и пр. Я горячо защищаю жертву семейных неурядиц и, как крайнее средство, предлагаю остановиться на аресте, если суд найдет окончательно невозможным совершенно простить обвиняемого... Прежде всех со мной соглашается Федька-ямщик, так как он — из уважения к моему писарскому званию — считает необходимым согласоваться со мной даже в ущерб авторитету Дениса Ивановича; но остальные молчат, упорно отстаивая права родительской власти. Совещание наше тянется около получаса; Колесов и Пузанкин начинают, наконец, сдаваться и говорят Черныху: «А то, ну его к лешему!.. Давай его в «холодную» суток на пять посадим, коли закона нет пороть?» — на что Черных отрывисто отвечает: «Делайте, как знаете». Я ухватываюсь за эту полууступку с его стороны и пишу решение: арестовать такого-то при волостном правлении на пять суток... Денис Иванович устранил себя от решения вопроса, не осмеливаясь изменить ветхозаветным традициям, по которым в данном случае требовалось выдать сына головой отцу, т.е. сделать с ним всё, что пожелает отец; но новые времена с такой неудержимой силой разрушают все отцовские и дедовские обычаи, что Денис Иванович иногда в полном недоумении — где ложь и где истина, и, не умея разрешить этих жгучих вопросов, вовсе отстраняется от активного вмешательства, ограждая себя словами: «делайте — как знаете»...

Недоразумениям, возникшим по поводу этого дела, не суждено было, однако, кончиться на этом: когда я прочёл постановление суда о «подвергнутии Порфирия Алексеева пятидневному аресту за неповиновение родительской власти», то старик вдруг завопил.

— Батюшки, господа судейные!.. Да что ж это вы со мной делаете? Нам с ним завтра ехать надо к Сысоеву дрова возить, — я договорился и задатки на три подводы взял, — а вы его в «холодную» посадить хотите!.. Да где ж мне одному, старику, справиться? Ведь он у меня один, как перст!.. Ослобоните, родимые, не зорите!..

Я пытаюсь успокоить старика, уверяя, что его сына арестуют не сейчас, а по истечении тридцатидневного срока и что он сам может явиться, когда посвободнее будет, но старик и на этот компромисс нейдет.

— Завсегда работа около дома найдётся: помолотиться, сечки скотине нарезать; где ж мне одному пять-то дней справляться со всем хозяйством?.. Нет, господа судейные, уж вы его лучше постегайте, да и отпустите домой!

Черных глубоко вздыхает; Колесов ёрзает на стуле; Пузанкин шепчет: «Я говорил — постегать»... Подсудимый всё время стоит, потупив глаза, и

только изредка нетерпеливо встряхивает волосами, когда стоящая позади его молодуха шепчет ему что-то на ухо. Я объявляю, что постановление суда уже сделано и изменено быть не может; недовольные же им имеют право обратиться с жалобой в уездное присутствие.

— Коли так, — с сердцем объявляет старик, — не надо ж мне вашего суда!.. Ничего не хочу — помарайте, кубыть я и не судился!.. Видно, ноне закон такой есть — сыновьям на шее отцовской ездить!.. Прощенья просим, что обеспокоили вас.

И он величественно — не подберу другого слова — уходит, шмыгая избитыми лаптями: сын тоже молча поворачивается к выходу; одна только молодуха низко кланяется нам и говорит: «Дай вам, Господи!.. Помоги, Царица Небесная!..» Петрович ласково толкает её к двери... Мы сидим, словно воды в рот набрали; всем тяжело, даже и Федьке, — про Дениса Ивановича я и не говорю: он, видимо, даже в лице изменился... Не суду восстановлять дискредитированную власть «отцов» над «детьми».

Следующее за этим дело несколько разгоняет мрачное настроение нашего духа. Тяжущиеся: муж, плюгавый мужичонка, горбатый, с слезящимися глазами, и жена — по городскому одетая женщина, лет 32 — 34, все ещё довольно красивая, несмотря на отпечаток бурной жизни на лице; она держит себя модно, говорит по-«благородному» и вообще смахивает на горничную средней руки. Истица просит суд заставить ответчика выдать ей паспорт для проживания в городе.

— Я вот уже шесть годов по господам живу, хорошие места имею, и вдруг он требует меня к себе, господину старшине не дозволяет документ мне выдать...

— Не хочу, чтоб болталась: иди ко мне жить.

— Никак это невозможно-с, господа!.. Оченно прошу принять в резон, что если б у него хозяйство было, если б он меня, как должно, соблюдать мог, то это разговор иной был бы; а то домишко у него весь развалился, сам он в пастухах живёт... Разве у него достатка хватит соблюдать меня?.. А теперь я и сама не хуже людей живу и ещё дочь при себе имею, ничего от него не прошу, только дай он мне документ.

— А вот не дам! Иди ко мне, ешь мой хлеб!..

— Да есть ли он у вас-то ещё, надо перво-наперво спросить?.. — презрительно спрашивает городская.

— Вот что, друг, раскайся-ка: ты сам её спервоначалу отпустил в город? — спрашивает Колесов.

— Известно сам, — мрачно отвечает «друг».

— И всё время пачпорт давал?

— Давал...

— Вот и разбаловал бабу — сам виноват, теперь и кайся. Что ты с ней

теперь делать будешь, коли ежели теперь она к тебе придёт? Ведь она чаи-сахары любит, а ты где ей возьмёшь?

— И без чаёв поживёт...

— Господа судьи!.. Сделайте вы такую милость, уговорите его! Я ему пять рублей в год буду давать, чтобы только он не нудил меня...

— Не надо мне денег, иди жить.

— Нет, Федулыч, это не дело теперь бабу кругом обрезать... Куда она теперь годится?.. Никуда... Она только тебя по рукам, по ногам свяжет, она теперь тебе уж не жена!..

Пастух молчит. Меня всё больше начинают интересовать мотивы, заставившие его вдруг изменить отношения к своей пущенной давно на вольную жизнь дражайшей половине. Впоследствии я узнал, что он серьёзно стал тосковать от своей бобыльской жизни и вздумал свить себе вновь гнездо, не приняв в расчёт полного разлада между всей своей жизнью и жизнью городской горничной.

— Ну, выдьте, — говорит Колесов разнокалиберной чете. — Что нам с ним делать? — обращается он к Денису Черных. — Отпустить её: пусть берёт хвост в зубы и убирается, куда глаза глядят?..

— Тоже баловать-то не годится ихнюю сестру; оне так-то все поразбегутся.

— Ну, этой дряни всегда хватит... На кой ляд она ему — ведь она теперь ему не жена и не хозяйка!

— Известно — городская...

— Н. М.! А можем мы ей пачпорт-то дать?.. Как там в законах-то?..

— В законе о том, что нельзя давать, ничего не сказано... Я думаю, что можно.

— И превосходно. А недоволен, бери «скопию» — пусть там высшее начальство разбирает их; нам и того приятнее. Пиши, Н. М., дать ей билет.

Муж остаётся этим решением недоволен и требует«скопию», но в назначенный день за получением её не является: за два дня, протекшие с воскресенья, он, видно, помирился с своей судьбой — доживать век одиноким бобылём.

— Андрей и Егор Петровы!

Входят два брата; старшему, Андрею, — 30 лет, младшему, Егору, — 26 лет. Они решили поделиться благодаря семейным неурядицам: бабы, т.е. их жёны, вздурили и никак ужиться не могут; ни старшого, ни старшой в доме нету, а молодухи друг другу подчиняться не хотят — ну и не стало житья самим братьям — лучше уж от греха разойтись. Но и разойтись не так-то легко: поместье у них маленькое, двум дворам не уместиться: надобно которому-нибудь из них удаляться с родительского гнезда. Конечно, никому из них нет охоты садиться на выгоне-пустыре; спорили, спорили; раза два до драки доходило — а толку нет никакого... Селенье их небольшое; все прочие домохозяева — род-

ня им: ни на чью сторону и не тянут; вот и порешили они разобраться на суде: что чужие умственные люди скажут — так тому и быть.

— Ну, как тут с этим делом быть, Денис Иваныч? — спрашивает Петруха Колесов, и все взоры обращаются на Дениса Иваныча, ибо несомненно, что из всех заседающих судей он один только вполне компетентен в области дедовских обычаев, ныне понаслышке разве известных молодому поколению, возросшему под сенью писаного закона.

— А вот как, — говорит Денис Иваныч после минутной паузы, — идти тебе, Андрей, на новое место и отцовскую избу оставить Егорке, а сам возьмёшь, во что старики положат взамен её, клетку с амбаром или ещё что...

— Это мы очень понимаем; только почему же это и поместье ему, и изба, а мне одни клетки? — говорит Андрей.

— А потому, молодец, что это ещё дедами нашими заведено так: всегда старший брат уходит от младшего. Не будь этого, старшие-то всегда спихивали бы молодших на выгона; знамо, они посильнее будут, они в годах, ну, и тяжелее жеребий им должен идти. Не делись, а стал делиться, начинай хозяйство сызнова, так-то!..

Андрей покоряется и остаётся доволен решением: видно, он «не дошёл» ещё до отрицания власти стариков.

Истец по следующему делу предъявляет ко взысканию расписку в 90 рублей, засвидетельствованную в волостном правлении; срок уплаты долга давно истёк.

— Сколько же вы взыскиваете? — спрашиваю я, чтобы оформить дело.

— Пятьдесят два рубля с полтиной, — к удивлению моему отвечает истец.

— Как так? А расписка на 90 рублей?

— Это точно-с. Только я уж получил по ней тридцать рублей землицей, да осьмину ржи, да четверть[54] овса, да поросёнка, да пахал он на меня день... Вот мы сочлись: как раз на тридцать семь с полтиной вышло. Остальные ищу, как собственно срок давно уже прошёл.

— Должны вы ему? — спрашиваю ответчика.

— Что зря болтать, должен.

— А много ли?

— Да подсчитывались, кубыть пятьдесят два рубля.

— Ан с полтиной! — вмешивается истец.

— Ан, нет!

— Врёшь!..

— Ан, не вру. Перекрестись, коль с полтиной?..

— И перекрещусь... А ты думаешь, что и не перекрещусь?

— А слеги-то забыл, что брал у меня десяток о заговенье? По пятачку положили?

— Так они за картошку пошли...

— Разуй глаза-то!.. За картошку даве посчитались, как за землю-то усчитывались!

— А ну те к Богу в рай!.. — говорит истец упавшим голосом, должно быть, смутно припоминая, что слеги точно не шли за картошку, но всё-таки не желая признать своей ошибки. — Пятьдесят два, так пятьдесят два... Не обедняю с полтинника.

— Да и не разживёшься...

— Ну, вот что, почтенные, — вступается Колесов, — чего браниться? Честь-честью столковались, и слава Богу: зачем Его, Батюшку, гневить... Так как же, милушка, отчего деньги-то не отдаёшь?

— Да у нас уговор был землёй расплачиваться по две десятины, я ему каждый год отдаю; только больно уж обидную цену он кладёт — десять с полтиной; вот я и стал покупщика искать, с четырнадцатью рублями за десятину уж набиваются...

— А ты денежки-то умел брать, а отдавать-то не любо?.. А что я второй год жду на тебе, это ты в счёт не кладешь?..

— А ты не кладёшь, что поросёнка-то у меня за два рубля зачёл, а он на худой конец четыре стоит?..

— Да не ты ли кланялся, Христом Богом просил просеца на семена?.. Это-то ты забыл?..

Долго препираются таким образом приятели; их денежные отношения так запутаны, что крайне мудрено определить, кто из них больше пользовался услугами другого; но что должнику услуги, оказанные кредитором, обошлись не дешево, это вне всякого сомнения, и симпатия Черныха и Колесова, как я замечаю, лежит к нему, потому что они общими усилиями стараются сбить истца на мировую, что им, наконец, и удаётся после получасоваго усовещевания. Тяжущиеся кончают дело миром: десятина идет за тринадцать без четверти, а уплата остального долга отсрочивается до будущей осени.

Затем следует целый ряд дел о взыскании за землю, о недожитии в работниках и проч. Это дела заурядные, составляющие самый значительный процент всех тяжб, разбираемых в волостном суде. Прослушаем еще две финальные тяжбы.

— Еще позалетошним годом брал у меня этот молодец две десятины под яровое по 18 рублей за десятину: рубль дал задатку, да как возить время пришло и я снопы на поле приостановил, он 15 рублей мне дал и в ногах валялся — просил остальные подождать на нём. Я сдуру и поверил, да вот по сию пору и жду: «ныне да завтра», только и слышишь. Прикажите ему, господа старички, остаточные 20 рублей додать.

Это говорит старик лет шестидесяти, хозяйствующий по-кулацки, снимающий землю у нуждающихся по осени и раздающий её по весне, наживая за «комиссию» от 25 до 75%. Но у старика этого есть ещё гонор ныне ис-

чезающаго уже типа коренного сына деревни, ведущего без всяких расписок тысячные дела.

— Ты что ж не отдаёшь Ефиму Степанычу денег? — спрашивает, по обыкновению, Колесов.

— Да я ему отдал, — говорит ответчик, малый лет 24.

— Отдал, да не все...

— Нет, все отдал.

— И язык у тебя не отсохнет так врать-то? Бога хоть побойся!.. — говорит старик.

— Чего мне ещё бояться, я и так боюсь.

— Ах, ты паскуда, паскуда!.. Да смеешь ли ты так говорить-то?.. А ну, перекрестись, коли отдал?..

Я спешу вмешаться в дело, чтобы не допустить божбы, но опаздываю: ответчик, не дрогнув и нахально посматривая на старика, кладёт широкий крест...

— Тьфу ты, окаянный!.. — плюёт старик в негодовании. — Пропади ты пропадом и с двадцатью рублями этими!.. Чтобы такой грех на душу примать, да упаси тебя Царица Милосердая!.. Не надо мне ничего, господа старички, от своих денег отказываюсь, не хочу об него мараться... Ни на ком...

И старик уходит, делая крестные знаменья.

— А нельзя ли ему под портки десятка два всыпать? — говорит Колесов, со злобой глядя на небрежно стоящего «молодца».

— Никак нельзя, — говорю я, и чувствую, что краснею, потому что не прочь был бы в данном случае нарушить закон и допустить подвергнуть ответчика по гражданскому делу уголовному взысканию.

— Петрович! Убери его!.. — приказывает Колесов, и я уверен, что он чувствует некоторое удовлетворение, когда «молодец» под мощной рукой Петровича турманом вылетает из «залы заседания».

А вот старуха-черничка на сцене. Вся она брыжжет злостью, накопившейся у ней на сердце за полстолетие её невольного девства... Она уже много лет в ссоре с своими соседями, и обе стороны, когда только возможно, гадят друг другу. Случилось черничкину цыплёнку залететь через плетень на двор к соседям; мальчишка с того двора немедленно свернул цыплёнку шею и труп его перебросил обратно к черничке на двор. Это и послужило поводом к настоящему делу: черничка взыскивает за цыплёнка рубль. К разбору дела за восемь вёрст явились: истица, ответчик — отец провинившегося мальчонки с самим виновником дела, и десятский, в качестве свидетеля, которому старуха по всем правилам крючкотворства предъявила труп цыплёнка и таким образом засвидетельствовала совершённое преступление.

— Из своих обидов к вам, господа судии праведные... Нет моей моченьки от них, в гроб меня вогнать хотят!..

— Ты-то нас скоро из села выживешь своим языком бесстыжим, — говорит отец мальчонки.

— Я бесстыжая? Я?.. Праведные судьи! Помилосердствуйте! Будьте заступниками! На старости лет такое поношение...

— Да вы постойте!.. Вы расскажите нам толком, о чём вы просите?

— Писклака у меня удушил его змеёныш... Они у меня так всех кур передушат.

— Ври больше, рада язык-то чесать... А мальчонка, точно, побаловался — так я ему за это вихры надрал.

— Сколько ж вы за цыплёнка вашего получить желаете? — опять останавливаю я их препирательства.

— Меньше рубля никак не могу, потому они у меня канехинского завода. Ещё упокойная барыня, Надежда Яковлевна, когда изволила...

— Постойте, постойте!.. Так рубль просите?

— Да-с, рублик-с. А что сверх этого положите, коли ваша милость будет, ваше благородие, господин писарь.

— Ну, будет!.. — прерывает её Черных. — Ты, Игнатьич, сына, говоришь, поучил?

— Поучил, Денис Иваныч, как же, в ту ж пору поучил, чтоб не баловался.

— А ну-ка поучи ещё!

Отцовская длань немедленно запутывается в белобрысых волосёнках восьмилетнего мальчугана; раздается жалобный писк: «Батя, не буду! Ой, ой, никогда не буду!..»

— Ладно! — останавливает Денис Иваныч экзекуцию. — Так ты не будешь больше баловаться, парнишка, а?

— Не буду, дяденька!..

— То-то ж, смотри!.. А то я вот Петровичу тебя отдам — он те так разделает... А ты, Игнатич, отдай ей пятиалтынный-то за писклака...

— Что ж, Денис Иваныч, я цену настоящую завсегды отдать готов... А то вдруг — рупь!..

— Это как же, судьи праведные, сверх рублика пятиалтынничек мне на убожество пожаловали? — алчным тоном спрашивает черничка.

— Ну, зажиреешь, мата: всего-навсего пятиалтынный.

— Это что же будет?.. В насмешку вы мне это делаете? Так я не молоденькая!.. Нет-с, я этим судом недовольна; два раза по восьми вёрст проездила...

— А кто ж те сюда тянул? Сидела бы себе дома, акафисты читала да душу спасала... — ехидствует Колесов.

— Скопию мне пожалуйте, господин писарь: я дела кончать не буду; я завтра ж к господину становому приставу... Рази это по закону?... Я до высоких особ доходить буду!

— За копией приходите в середу, раньше не будет готова, — объясняю я.

— Это мне ещё раз восемь-то вёрст переть?.. Понимаю-с, очень даже преотлично понимаю-с, что всё это вы в насмешку мне делаете. Только уж я не позволю — нет, уж я не позволю!..

И черничка, при дружном хохоте всех присутствующих (кроме Черныха) бегом бежит из волости — жаловаться товаркам на причинённую ей обиду.

— Никого там больше на суд нету? — спрашиваю я Петровича.

— Никак нет-с!..

Судьи с нетерпением ожидают этого ответа, что вполне понятно, ибо уже одиннадцать часов вечера. Мы сидели, таким образом, без перерыва, семь часов, и в это время разобрали тринадцать исков; остальные пять дел, назначенные на этот день «к слушанию», пришлось оставить без рассмотрения, потому что по двум не явились истцы, в одном не оказалось ответчика, а по двум прочим состоялось примирение между тяжущимися до вызова их на суд.

— Слава тебе, Создатель Милосердный!.. — шепчут судьи, делая истовые поклоны перед иконой. Однако я уверен, что всякий из них влагает в эти слова свой особый смысл, кроме разве Колесова, который кладёт кресты машинально, по привычке. Черных благоговейно благодарит Создателя за наставление его уму-разуму, Федька — за то, что наконец-то настала минута ехать ко двору, а Пузанкин — за то, что настала возможность пропить полтинник, полученный им с пастуховой жены — в благодарность за содействие, оказанное ей при получении «разводной» от мужа...

XV

Волостной суд представляется мне всегда, выражаясь низким стилем, в образе человека, сидящего на двух стульях, которые постепенно раздвигаются под ним в разные стороны. Стулья эти — закон и обычай.

Не столетиями, а только десятилетиями приходится измерять промежуток времени с того момента, когда новая струя вторглась в тесно замкнутый круг народной жизни, где всё было так прилажено по своим местам, где всякое явление имело свое объяснение, а на всякий случайно возникавший вопрос имелся уже готовый, дедами и прадедами выработанный во всех деталях ответ, — и за этот-то сравнительно короткий промежуток времени новые начала успели произвести такую ломку в основах народной жизни, что от стройного здания мирских и семейных обычаев остались лишь жалкие развалины, и только богатое воображение может восстановить по ним всю картину исконного обычного права. Но, с другой стороны, и новое, стройное здание писаной регламентации, т.е. закона, не успело ещё воздвигнуться на месте катастрофы, и вот нынешний деревенский обыватель с тоской бродит

между развалинами одесную и начатыми постройками ошую, тщетно разыскивая те «устои», которые послужили бы ему опорной точкой в его исполненной треволнениями жизни. Правда, что слово «закон» получило уже в народе полное право гражданства: его употребляют и кстати, и некстати — в последнем случае даже чаще первого; выражение «сделать по закону» стало синонимом «сделать ловко, хорошо, надёжно», независимо от того, будет ли это сделано по совести, согласно мирским воззрениям на справедливость, или нет; но закон не заменил собою народу полуисчезнувших устоев его жизни. Действительные законы совершенно неизвестны народу: он знает только один закон — это то, что говорит или приказывает начальство, какое бы оно ни было: урядник ли, писарь, мировой ли судья или судебный следователь... Закон стал атрибутом власти; власть по-прежнему внушает один только страх (признаков уважения, доверия, любви — нет), — вот почему и закон стал внушать безотчётный страх. И вот откуда происходит такое колоссальное значение закона в народной жизни и такое при этом огромное непонимание истинного его смысла и требований; закон в глазах мужика — это нечто грозное, необъятное, таинственное, то нечто, во имя которого начальство напускает страх, ругается, порет, выколачивает недоимки, ссылает в Сибирь, потрошит покойников, сносит избы, убивает больную скотину, бреет лбы, гонит ребят в школу, прививает оспу и т.д., и т.д., до бесконечности. И откуда же тёмному, невежественному народу понять логическую причину всех этих на него воздействий, если некоторые исполнители закона, понимающие ими творимое, не удостаивают входить в разъяснение своих поступков и ограничиваются всесильной формулой: «закон того требует», а некоторые, преимущественно низшие исполнители, наиболее близко стоящие к народу, сами не понимают истинного смысла и конечной цели выполняемых ими предначертаний начальства, которые и суть в их глазах сам закон; из этой путаницы понятий вытекает путаница терминов, выражений и проч., и наоборот, ничего не говорящие термины порождают дикие представления: «сделать по закону» значит, с точки зрения мужика, сделать так, чтобы начальство, с которым придётся иметь дело, осталось довольно, не придралось бы. «Напиши мне расписку, да гляди — по закону напиши!», — говорит мужик писарю: это значит, что он просит написать так, чтобы мировой судья, которому, может быть, придётся читать расписку, не швырнул бы её обратно (что нередко случается), а принял бы её к рассмотрению. «Ямы для зарывания павшего от чумы скота надо рыть не менее 3-х аршин», — приказывает урядник и, для большего убеждения, добавляет: «Ты пойми, ведь это не я говорю, а закон!» И мужики пунктуально выполняют сообщённый им закон: роют ямы в три аршина глубины, но валят в одну яму по три трупа, так что верхний лежит почти в уровень с поверхностью земли. А урядник уходит довольный собою и уверенный, что им в точности исполнено требование за-

кона... Да таких примеров можно привести не десятки, не сотни и не тысячи, а миллионы: в любом № любой газеты найдётся рассказ о последствиях дурно понимаемого или вовсе не понимаемого закона. Посмотрим, что из всего этого следует. Зная, как народ боится закона и вместе с тем не понимает, что закон и что произвол, — всякий, кто поразвязнее (уж не говоря про начальство) старается при помощи «закона» извлекать выгоду из трепещущих перед этим сфинксом простофилей.

— Ты чего, тетеря, не сворачиваешь с дороги? — кричит мой ямщик на встречного мужика с возом.

— Да постряиешь: вишь, сугроб какой!

— А не знаешь, ирод, что «по закону» ты должон начальнику дорогу давать?.. Сворачивай иль я те кнутом огрею...

В данном случае ямщик, везущий хотя бы такое микроскопическое начальство, каков волостной писарь, тем самым уже выдвинулся из общего уровня народной массы и считает себя вправе издавать встречным лапотникам выгодные для себя «законы»... И так всегда и везде, и примеров этого рода такое обилие, что их приводить не стоит.

Куда мужик ни сунется, везде ему тычут истинными или вымышленными законами. Хочется батюшке с мужика содрать лишнюю пятишницу за свадьбу, он говорит, что нужна метрическая выпись. «Батюшка, да нельзя ли как-нибудь без этой метривки?» — «Нельзя, надо; не я, а закон этого требует». — «Батюшка, уж я те трюшницу дам, не нудь ты меня!» И закон — попран, но мужик не знает, истинный ли или вымышленный. Вошла баба в казённый лес ягод набрать; её поймал объездчик и требует рубль штрафу, таща к лесничему: «Не я, а закон требует». — «Отпусти, родименький, я те двоегривенничек дам!» — И закон опять исчезает со сцены. Старшина не хочет страховать здания: «Нельзя по закону, тут четырёхсаженного разрыва нет»; а напился чаю да получил рублёвку — и четырёхсаженный разрыв превращается в законный. Нужно мужику подать какое-нибудь прошение, сунулся он к становому, а тот посылает его в город к исправнику: «Я бы помог тебе, да по закону не могу»... Мужик — к исправнику, а тот его — в уездное присутствие, которое — «по закону» — должно ведать эти дела; но в присутствии ему именем того же закона приказывают доставить прежде всего справку из волостного правления, и вот мужик опять идёт в село за справкой. Таким образом, мужик видит вокруг себя сплошные тенета закона и постоянно чувствует тяжесть опеки: некоторые личности, посмелее, прибегают к хроническому подкупу как испытанному средству ускользать из тенет закона; другие, попроще, доходят даже до комизма в опасениях своих проштрафиться по отношению к законам, существующим иногда только в их напуганном воображении.

Приходит ко мне как-то раз мужик, которого я лично знал; мужик хороший, но по нынешним временам излишне смирный. Выбрали его недавно

опекуном к сиротке — мальчику, и вот эта опека стала истинным источником мучения для несчастного мужика, чувствующего себя постоянно под дамокловым мечом закона.

— Ты что, Акинфьевич?

— Да что, Н. М., к вашей милости. Дело тут выходит такое, что и ума не приложу.

— Небось опять касательно опеки?..

— Об ней, батюшка, об ней, постылой. Уж вы, Н. М., ослободите меня, сделайте такую милость, выберите другого опекуна! Совсем она меня скружила, треклятая!..

— Да что такое случилось? Сказывай, пожалуйста!

— Дело-то вот какое: остался от покойничка Ивана Сидорыча полушубок старенький; а как таперича к зиме дело подходит, я было и надумался перечинить полушубок для Мишутки — пускай, думаю, себе носит на здоровье, да уж и не знаю, как с этим делом быть...

— Мишутка — это сирота, что ль?

— Он, он самый!.. Так как же, батюшка Н. М., по закону это как будет — ничего? В ответе я не буду?

— Да что ты, друг мой, рехнулся, что ли? За что же ты виноват будешь? За то, что старый отцовский полушубок сыну переделаешь?.. Да посуди ты сам, что ты этим ведь добро сироте сделаешь, так за что же тут виноватым быть?

— Вот то-то мы народ тёмный!.. Думается, ку-быть ничего плохого нет, а соседи говорят: пойди, спросись, как бы в ответ за это не попасть, потому, мол, всё до совершенных годов мишуткиных в целости должно быть; как на руки принял, так и сдай, — до нитки то ись...

— Пустое, Акинфьевич, пустое! Зря тратить или на себя изводить нехорошо, а если на пользу...

— Ну, вот это самое и я думал, а всё-таки, говорят, поди с писарем погутарь, он человек учёный, все законы знает... А мы народ тёмный; кто его знает, може, и впрямь такой закон есть...

В одном из селений нашей волости решительно в каждом дворе занимаются посевом табаку-махорки на огородах; культура эта возникла лет около семи тому назад. До издания акцизных правил 1883 года сбыт табаку производился беспрепятственно, без всяких формальностей, а тут вдруг пошли разные регламентации относительно выправления из волости ярлыков, укупорки табачных мест и пр. Недоразумений по этому поводу было в первое время масса.

— А что, Н. М., хотели мы поспрошать вас об одном деле... — таинственно докладывают мне два табаковода из этого селения.

— Спрашивайте.

— Уж мы не знаем, как и говорить-то: такого горя напринялись. Научите уж нас, как бы нам в ответе не быть. Табачок-то мы отвезли свой, продали, всё по форме, и ярлыки сдали, что от вас получили; а оказывается, что всё-таки грех-то нас попутал.

— Какой же грех? Вы не бойтесь, говорите всё, как есть.

— Да вот какое дело, Н. М.: трубочкой мы и сами со сватом займаемся, так не весь табачок-то свезли на продажу, а оставили себе фунтиков по десятку — на баловство, значит; а тут и прослышали, быдто этого по новому закону нельзя, быдто за это в острог сажают!

После некоторых усилий с моей стороны мужики успокаиваются относительно своей контрабанды.

— И ещё уж хотели заодно обеспокоить вашу милость. Правду гуторят, что с будущего года менее пятидесяти пудов табаку нельзя и с огорода сымать, чтобы маленьких, значит, огородов совсем не было? А у кого меньше полста окажется, так у того задаром будут табак в полки отбирать на солдат?

А вот подлинный рассказ мужика о волнениях, охвативших деревню при появлении нового в ней начальства — урядника.

— ...Вбегает, этто, мальчонка мой, запыхался весь и говорит: «Тятька, сичас мы на улице с робятами играли, вдруг идёт по улице новый урядник, что вечор приехал, — важный такой, усищи — во!., и большущая у него сабеля на боку висит. А тут тётка Матрёна с тёткой Анисьей стоят и гуторят промеж себя: «Вот его, — говорит, — царь прислал; и может он, по закону, этой самой сабелей головы рубить ворам... А с сабелей этой он, слышь, и спит, николи не снимает, а как снял, — сичас его в Сибирь»... Что ты, говорю, щенок, пустое болтаешь?.. «Нет, — грит, — ей-Богу, не вру! Поди, сам посмотри». И взяло меня тут раздумье: пожалуй, и впрямь новое такое начальство проявилось; пойду, думаю, в трахтир, там у людей узнаю. Пришёл; а там народу — словно в праздник набралось, и все об этом самом уряднике толкуют. Кто грит — что точно, головы рубить будет, а кто — что только поджилки на ногах будет подрезывать... Только сидим это мы, толкуем промеж себя — глядь, вот он и сам тут: сурьёзный такой, и прямо к Ермилычу в его горницу прошёл. Ну, думаем, чтой-то будет?.. Какие — по домам разбеглись, а какие — не поопасались, остались чай допивать: мы, говорят, свои деньги за чай заплатили, а такого закона нет, чтобы чай пить в трахтире нельзя. Смотрим, Ермилыч к нему водку несёт; а тут, Михейка у нас есть, бесшабашная головушка — и грит Ермилычу: «Слышь, Ермилыч, а что, для ради первого знакомства нельзя полуштофчиком господина урядника попросить?» Тот смеётся: чего опасаетесь, подносите! Мы это живым манером сорудовали водочку, и селёдочку спросили, кренделей фунт взяли пшеничных и говорим Ермилычу: как бы это ихнюю милость кликнуть?.. А тот попросту — известно, ему не боязно — и грит «ему»-то: там, мол, мужики с поклоном вас ждут. «Он» и выходит к нам: что вы, грит,

ребята? «Так и так, — Михейка-то ему, — не пожалуете ли для ради приезда стаканчик от нас откушать? Как мы, то есть, всею душою...» Ну, да и ловок же Михейка зубы-то чесать, это что и говорить... Ладно; а тот долго ломаться не стал, сичас, это, сел, выпил стакан и грит: хороша, дескать, водка. Ну, мы тут духу-то набрались и стали допытываться, что и как; а он всё это с форсом о себе: теперь, грит, я по закону старее всех у вас по волости — мне и старшина нипочём. Одначе про сабелю сказал, что она только по форме требуется, а что поджилок резать он не будет: такого, вишь, закона ещё не было.

Не могу тут же не вспомнить рассказа старшины Якова Иваныча о том, как он знакомился с машиной, т.е. с железной дорогой. Было ему лет 17, когда провели эту машину, наделавшую огромного шуму в околодке. Пронёсся, между прочим, слух, что на неё глядеть не дозволяется, «а кто глядеть будет, в того с машины из ружья палить будут». Вот Яков Иваныч был как-то в лесу, недалеко от линии железной дороги: «Вдруг слышу, гудит... Ну, думаю, пропал я: застрелят!.. Либо в чащу бежать, либо на месте остаться — посмотреть, что за машина такая: авось в лесу-то не заметят... Лёг я на брюхо, да ползком за куст, оттуда и посмотрел. Потом, как на деревне сказывал, не верили: врёшь, говорят, хвастаешь»...

И вот тот же самый Михейка, допытывавшийся, будет ли урядник резать поджилки, попадает в волостные судьи; его берут прямо из трактира, где речь идет про «сабелю» и «поджилки», сажают за стол, под портретом в золотой раме, и говорят: суди!.. А судить надо «по закону» — это Михейка твёрдо знает, потому что ежедневно слышит это и от мужиков, и от старшины с писарем, и от всяких деревенских грамотеев и бывалых людей. И тяжущиеся очень часто говорят ему, Михейке, во время судопроизводства: «Ты как нас судишь то?.. ты суди по закону, а не как-нибудь». Да и у писаря, что рядом сидит, книги лежат на столе и бумаги разные, — значит, и впрямь законы есть, по которым судить должно, а какие-такие законы — он, Михейка, решительно не знает и потому держит себя на судейском кресле смирнёхонько, слушаясь во всем писаря. Несмотря на то что я на практике старался возможно объективно относиться к действиям волостных судей, но и мне иногда приходилось «во имя закона» становиться вразрез с мнениями судей: из описания делопроизводства в крестьянском суде читатель, я думаю, заметил, что я принуждён был защищать ответчика по гражданскому делу от тягчайшего уголовного наказания — порки. Не сделать этого я по закону не мог, так как на писаре лежит обязанность разъяснять судьям законы, а поступив так, как поступил, я грубо подавил требование народного правосудия о наказании наглого обманщика, вина которого — ложная божба — хотя и не была юридически доказана, но очень ясно чувствовалась всею обстановкою дела. Сколько же давления производится вообще писарями и старшинами на правовой обычай в пользу химерического, экспромтом придуманного «закона», под которым, в большинстве

случаев, скрывается пристрастие, подогретое мерою пшена или поросёнком?.. И вот судья окончательно не знает, чем ему руководствоваться, — слышанными ли от стариков изречениями народной мудрости: «как допрежь живали деды и отцы и как нам приказывали жить» или авторитетными указаниями писаря на законы?

Я не говорю, что все писаря всегда толкуют фальшиво законы, но, при некоторой беззастенчивости, самые невероятные штуки могут сходить с рук единственному умственному во всей волостной администрации человеку. Хотя и не все такие проделки с законом удаются, но мужик в течение своей жизни успевает тысячу раз убедиться на деле, что начальство в одном случае применяет один закон, в другом, совершенно подобном случае, — другой закон, и т.д.; отсюда происходит стремление упросить администрацию применить к данному случаю какой-нибудь закон полегче, а всякий проситель твёрдо памятует пословицу: «сухая ложка и рот дерёт»... Последствия такого положения вещей понятны.

Однако, кроме ближайшего, непосредственного толкователя законов писаря, над волостными судами тяготеет ещё другой, более авторитетный и поэтому более опасный для самостоятельности судов толкователь: это уездное по крестьянским делам присутствие. Писарь в поступках своих руководствуется, главным образом, материальным расчётом: дана ему мера пшена — попран обычай, торжествует «закон»; в другом, однородном с этим, случае — пшено на сцену не появлялось — и писарю нет никакой цели, никакого расчёта производить давление на судей; словом, принцип не играет в данном случае никакой роли, и отдельные злоупотребления писарей, не будучи, так сказать, систематизированы, никак не могут производить такого же эффекта, какой производит сознательное подчинение одного начала другому, осмысленный ряд мероприятий, имеющих одну цель, — словом, как деятельность уездных присутствий.

Эти присутствия суть, по закону, кассационные инстанции для обжалования решений волостного суда; апелляционной инстанции для той же цели реформа 1861 года не учредила, а возложила на кассационную — обязанность следить за ненарушением волостными судами, с одной стороны, общих существующих законов, и с другой — пределов компетенции. Отсутствие посредствующей инстанции между этими двумя сословными учреждениями — волостным судом и крестьянским присутствием (кому же не известно, что крестьянские присутствия только по названию крестьянские, а в действительности, по составу своих членов — чисто дворянские?) привело к полному подчинению одного из них другому и к беспрепятственному вторжению сильнейшего в область слабейшего. Нужно ли говорить, которое из этих двух учреждений сильнее и которое слабее, беззащитнее!.. Здесь не место производить полную оценку влияния уездных присутствий на волостные суды; такая

оценка уже несколько раз выполнялась лицами, располагавшими материалом несравненно обширнейшим, чем располагаю я, да и цель настоящих заметок не есть какая-либо цель научная с готовыми, законченными выводами; я предполагал дать только ряд картин из народной жизни в области её соприкосновения с волостью вообще и с волостным писарем — в особенности. Поэтому, не решая такого важного вопроса, каков вопрос о подчинении сословного суда, основанного на обычном праве, административно чужесословному учреждению, я ограничусь только несколькими беглыми замечаниями.

Совокупность мероприятий уездного присутствия относительно волостного суда клонится к захвату непосредственной над ним власти через низведение себя из кассационной инстанции в апелляционную; конечная цель этой метаморфозы есть подчинение независимого учреждения писаному закону, нивелировка особенностей народной жизни, не гармонирующих с началами, положенными в основание всего строя государственного бюрократизма. Наилучший практический способ для такого подчинения себе независимых крестьянских судов уже открыт и состоит в регламентации деятельности этих судов посредством различных распоряжений, делаемых по адресу волостных правлений. И вот мы видим грустную и вместе с тем преуморительную картину. Волостной суд не есть какое-либо постоянно функционирующее учреждение: оно возникает по воскресеньям, примерно в 4 часа дня, и вновь распадается после нескольких часов существования; никакие «бумаги» до него не доходят; волостной старшина и сельские старосты не имеют по закону права даже присутствовать при разборах дел, не говоря уже руководить судом или разъяснять ему что-либо. Следовательно, единственным посредником между уездным законодательным учреждением и волостным судом опять-таки является наёмное лицо — волостной писарь, не имеющий, по закону, права вмешиваться в разбор дела, и вся обязанность которого, опять по закону же, должна ограничиваться записью постановлений этого «независимого» суда. Между тем, в силу распоряжений присутствия, которые даются волостным правлениям и которыми разрешаются или возбраняются волостному суду те или другие отправления, этот писарь является как бы председателем независимого суда, законотолкователем, единственным лицом, знающим, что дозволено и что не дозволено суду, и поэтому накладывающим на то или другое решение суда своё veto. Суд хочет приговорить человека к наказанию — стой, нельзя, он в этом деле только свидетелем, а не ответчиком; суд хочет взыскать с вора убытки, причинённые его кражей и, кроме того, наказать его уголовным порядком — опять стой, нельзя в одном деле соединять уголовный и гражданский иски; суд хочет разобрать дело о принадлежности огорода тому или другому брату — опять нельзя: это дело сельского схода; суд хочет наказать подравшихся пьяниц — опять и опять нельзя: это дело мирового судьи, потому что драка происходила на улице... И вот целым рядом систематизированных распоряжений уездное присутствие

узаконяет беззаконие: даёт простор действиям волостного писаря, т.е. сознательно подчиняет суд писарю, не выпуская этого последнего из своих ежовых рукавиц и властвуя, таким образом, над судом через посредство своего вполне зависимого подчинённого, вольнонаёмного бесправного лица. Вот в общих очертаниях картина настоящего положения вещей; позволяю себе, по принятому мною порядку, несколько иллюстрировать всё вышесказанное.

В одном сельском кабаке, поздно вечером, засиделась компания приятелей-кумовьёв; кабатчик, истый тип мелкого деревенского кулака, закрыл ставни и входную дверь, сам присоединился к компании, и попойка продолжалась, таким образом, как бы в домашнем кругу. Изрядно выпив, один из гостей заспорил о чём-то с хозяином; дальше — больше, дошло и до драки; драться начал кабатчик и, будучи сильнее своего противника, избил его, раскровянил ему губу и разорвал на нём новую рубаху «французского ситца». Всё это подтвердилось на суде свидетельскими показаниями прочих двух кумовьёв; когда их спрашивали, почему же они не вмешались в дело и не прекратили избиения своего товарища, то они ответили, что не посмели идти против Сергеича, т.е. кабатчика. Избитый подал жалобу в волостной суд. Вызванный по повестке кабатчик ещё до суда отозвал меня к сторонке и просил «похлопотать», чтобы дело окончилось ничем или, самое большее, каким-нибудь денежным штрафом в полтинник или рубль... Несмотря на то, что двое из четырёх судей, видимо, клонили дело к желаемому ответчиком исходу, в конце концов было постановлено подвергнуть негостеприимного хозяина аресту на трое суток и взыскать с него в пользу потерпевшего — за изорванную рубаху «французского ситца» — один рубль. Кабатчик остался решением этим недоволен и подал жалобу в присутствие, которое и отменило решение на том основании, что драка происходила в публичном месте и разбор дела подлежит поэтому ведению мирового судьи. Каким образом избушка, служащая в ночную пору квартирой хозяину, оказалась публичным местом, когда у ней были окна и двери на запоре — решить не берусь. Последствием такого применения закона было, что обиженный мужик, уже три раза ездивший за 10 вёрст по этому делу в волость (в 1-й раз — записать жалобу, во 2-й — явиться к разбору дела и в 3-й — выслушать решение уездного присутствия), только рукой махнул и от дальнейшего ведения дела отказался ввиду новых поездок за 25 вёрст к мировому судье... Сергеич торжествовал.

В описываемой чернозёмной местности, где земля с избытком окупает лежащие на ней повинности, скидка и накидка тягол совсем не производится, и общество не вмешивается в порядок вдадения отдельными домохозяевами своими душевыми наделами: братья делятся, сыновья наследуют отцовские души без всякого вмешательства со стороны общества, потому что земля, числящаяся за известной семьёй, считается как бы её неотъемлемою собственностью от передела до передела, которые в описываемой местности бывают большею

частью при ревизиях. Всякие споры, происходящие при разделе или при наследовании, принято здесь передавать на рассмотрение волостного суда; из этого общего правила не изъемлятся и споры о наделе как об объекте владения. Два брата, давно уже жившие врозь, не сумели мирно поделить земельный надел их умершего отца: один требовал поделить его пополам, а другой хотел его вовсе присвоить себе на том основании, что покойный отец жил у него до самой своей смерти, требовал ухода, содержания и был, наконец, похоронен им на свой счёт без всякой материальной помощи со стороны первого брата. Волостной суд, рассмотрев это дело, решил, чтобы младший брат, у которого жил отец, в возмещение своих убытков от болезни и похорон отца пользовался два года всем отцовским наделом, а по прошествии двух лет уступил бы половину его другому брату. Этот последний остался решением суда недоволен и подал жалобу в присутствие; но так как там не спешат с разбором дел, которые лежат по году и дольше, то, пождав некоторое время резолюции присутствия, жалобщик махнул рукой и решил подчиниться постановлению суда, т.е. дозволил брату запахать весь надел, как вдруг приходит из присутствия ненужная уже резолюция — постановление суда отменить, так как принятое им к рассмотрению дело подлежить-де ведению сельского схода, на основании такой-то статьи «Общего Положения». И вот сельский сход из более чем ста человек должен приступить к необычному для него делу — разбору семейной тяжбы; братья тратятся на угощение «стариков» вином, чтобы задобрить их; происходит трехчасовая брань, чуть-чуть не доходящая до всеобщего мордобития, и дело, наконец, кончается тем же, что и на волостном суде, вернее сказать — утверждается состоявшееся год тому назад постановление суда, которое, конечно, было сходу известно... Какое, подумаешь, знание местных обычаев, какое понимание духа «Общего Положения» сказалось в резолюции уездного законотолковательного учреждения!..

XVI

Не менее 50% всех дел, разбираемых в волостном суде, составляют иски о земле и иски по поводу сдачи и найма земли. В описываемой местности земля составляет почти единственный объект труда, так как кустарных промыслов или фабричных и других каких-либо заработков здесь почти не существует; весь смысл крестьянской жизни составляет земля, все внимание крестьянина обращено на эту его кормилицу, и поэтому неудивительно, что на волостном суде она играет первенствующую роль между всеми прочими предметами исков. С другой стороны, слабая власть мира, обусловливаемая отсутствием переделов (я говорил уже, что в большинстве обществ переделов не было или с X ревизии[55] — это у государственных, или со времени выхода на волю — у бывших крепост-

ных; только в последние годы некоторые общества государственных крестьян опять переделили поля), даёт повод к возникновению частых недоразумений из-за земли, недоразумений, разрешение коих не по закону, а по необходимости перешло на обязанность волостного суда. Довольно значительную долю общего числа тяжб, имеющих отношение к земле, составляют споры при наследстве, так как земельный надел умершего члена семьи остаётся в семье покойного наравне со всем прочим его имуществом как движимым, так и недвижимым, общество не предъявляет прав на выморочный надел и не награждает им кого-либо из своих членов, а предоставляет наследникам умершего ведаться между собой. В нечернозёмных пространствах России земля составляет для крестьянина если не совсем тягость, то уж во всяком случае не слишком лакомый кусок, благодаря лежащим на ней чрезмерным повинностям, с одной стороны, и необходимости большого количества удобрения — с другой; там земля без удобрения имеет лишь ценность выгона, а не пахоты, и слабому домохозяину, бабе-вдове или сиротам нет никакого расчёта «тянуть душу», т.е. иметь надел, если у них нет навоза. Совсем не то у нас, на аршинном чернозёме. До сих пор лишь очень редкие общества, и то преимущественно мелкие, бывшие помещичьи, навозят землю, потому что чернозём и в своём естественном виде, без всякого удобрения, даёт урожай и поэтому составляет ценность сам по себе; а арендная его стоимость в три или четыре раза превышает лежащие на нём платежи и повинности. Поэтому от наследования хотя бы $^1/_4$ десятины никто из крестьян — без различия пола и возраста — не отказывается, так как в случае наличности рабочего инвентаря доставшийся «четверток» будет запахан и даст урожай, не требуя никаких затрат, а в случае полного отсутствия инвентаря «четверток» может быть сдан в аренду и опять-таки даст наследнику барыш, каковой составится из разности между арендной стоимостью земли и лежащими на ней платежами; наконец, не трудно даже нанять кого-либо обработать полоску за деньги или из части урожая. Во всех этих случаях владелец получает большую или меньшую выгоду от земли и ни за что добровольно не отдаст её на мир, что противно порядкам, установившимся по необходимости на севере: там зачастую умоляют мир снять душу, а мир не снимает. Ещё одна черта разницы: у нас души, так или иначе попавшие на мир, обыкновенно и остаются мирскими, поступая ежегодно в арендное содержание к желающим; в нечернозёмной же местности всякую душу, попавшую на мир, стараются немедленно навязать кому-нибудь в пользование; причины всех этих особенностей понятны.

Таким образом, от передела до передела надел составляет семейскую собственность и наследуется наряду со всяким другим имуществом. Здесь не место выяснять особенности форм землевладения данной местности, и я считаю совершенно достаточным указать лишь на причину сравнительно высокого процента тяжб о земле между родственниками. Случается, что вдова, выходя замуж в другое селение, в качестве приданого приносит своему второму

мужу земельный надел первого; это, впрочем, допускается со стороны других сонаследников — братьев умершего — только в том случае, если со вдовой уходят жить к вотчиму малолетние сыновья её от первого брака, так что земля идёт, собственно говоря, не за матерью, а за сиротами, которые и суть настоящие её владельцы; если же у вдовы остались только девочки, то при выходе её в замужество обыкновенно возникают споры и стремление «отбить» землю — или со стороны сонаследников, или же, за отсутствием таковых, со стороны и самих обществ, которые отбирают такие души на мир. Как мне неоднократно говорили старики, такие случаи, что мир отбирает девичье наследство, стали встречаться лишь в последнее время, когда арендная стоимость земли начала уж чересчур значительно превышать платежи за неё, чем и стала возбуждаться корысть; прежде же вдове будто бы разрешалось и на девочек сохранять душевой надел покойного мужа. Если вдова бездетна, то ей дозволяется питаться от надела мужа лишь до выхода её в новое замужество; в случае же вторичного замужества она непременно лишается его. Впрочем, как мне уже случилось указать при рассказе о кочетовском переделе земли, правило это (за исключением последней оговорки) также стало в последнее время нарушаться, и некоторым престарелым бездетным вдовам и вдовам с одними девочками было нарезано по полдуши без платежа податей, а некоторым и вовсе ничего не было дано. Братья, если живут врозь друг от друга, наследуют отцовский надел поровну, то есть получают из него по ровной части: в случае смерти кого-либо из таких братьев его сыновьями делится как личный его душевой надел, так и доля дедовского надела; таким образом случается, что у двух родных братьев бывает по одному собственному душевому наделу, да по половине отцовского, да по четвертой или шестой части дедовского (восьмых долей надела мне не встречалось). В случае смерти старика деда, или дяди бездетного, или тестя бессыновного, дочери которого все пристроены, земля переходит к его внуку, племяннику или зятьям, хотя они были бы из другого селения, причём наследники должны прокармливать бабку, тётку и т.п., если таковые есть; если же они пожелают жить самостоятельно, не переходя к родственнику по мужской линии «в дом», то сохраняют за собой надел по вышеизложенным правовым обычаям; но в последнее время все вдовы вообще встречают большее или меньшее противодействие в отношении наследования землею со стороны общества.

Одним словом, покуда существуют какие-либо лица мужского пола в семье (а иногда, как сказано, достаточно только женских), земля от передела до передела есть собственность семейская; я нарочно употребляю выражение «семейская», так как никогда крестьянин не смотрит на землю, находящуюся во владении семьи, как на собственность главы семьи — деда или отца. Всякий знает, что в случае отделения его от семьи его доля — не душа, а доля должна пойти с ним и никак не может быть удержана старшим в семье, и в случае малейшего отступления от существующих обычаев дело непременно доходит до

суда; случалось, например, что отцы выгоняли своих сыновей из дому, не давая им «ни синь-пороху» из движимого имущества, но сыновней земли удержать при себе не могли.

Впрочем, за последнее время всё чаще и чаще рождаются попытки нарушать порядок обычного наследования земельным наделом, вследствие чего волостной суд и крестьянское присутствие постоянно завалены такого рода тяжбами. Понятие крестьян, что земля есть собственность семейская и все земельные дела и иски поэтому тоже семейские, очень рельефно обрисовывается в следующих, на первый взгляд, почти не значащих мелочах. Если случится крестьянину, имеющему братьев или взрослых сыновей, засудиться при покупке лошади, овцы, или из-за платы за личный труд, или вообще из-за чего-нибудь, не имеющего прямого отношения к земле, то никогда ни братья, ни сыновья тяжущегося «не станут за него на суд», т.е. не признают его интересов за свои. «Наших делов тут не было, пущай он (брат или отец) сам ответ держит, как знает», — приходилось слышать от ответчика, высланного сельским старостою вместо настоящего ответчика, его брата, отца или сына, в данную минуту за отлучкой или по болезни лишённого возможности лично явиться в суд. Совсем не то будет, если дело той или другой стороной своей касается земли.

Истец записал жалобу на крестьянина села Норок Ивана Васильева о взыскании полдесятины земли в яровом поле. К разбору дела являются истец и ответчик.

— В чём у вас дело?

— Снял я у них ещё перед святками осьминник в яровом; два рубля задатку дал. Только мясоедом приходит брат его и говорит: дай денег, нужда, говорит, пришла; ну, я дал ему ещё целковый — осталося за мной, значит, четыре. Пришло время ехать пахать; я и говорю: ну как же, Васильич, укажи осьминник-то? А он и пошёл вилять: сегодня-завтра, сегодня-завтра, да так по сию пору и нет мне ничего... Прикажите землицу отдать.

— Ты что ж это, Васильич? — обращается к ответчику его односелец-судья. — Деньги брать, а землю в другие руки сдавать?.. Это ведь не модель так-то!..

— Вина наша: что ж, я не отказываюсь. Три рубля, точно, получили. Только мы его Христом-Богом просили нам все деньги отдать, потому хлебушка весь изошёл, есть нечего было, одна картошка осталась, — сами знаете, летошним годом по пяти копён свезли с поля... А он не даёт; что ж нам, не помирать же стать; ну, и отдали Кузьме Панфилычу за шесть рублёв, он нам деньги в ту ж пору отдал.

— А я то как же? Так и пропали мои денежки?

— Прибавь малость, Платон Емельяныч, — мы уж тебе осьминничек в озимом отдадим.

Но Платона Емельяныча не скоро разжалобишь: основываясь на своём

праве, он в конце концов получает осьминник озимого вместо ярового без всякой приплаты.

— Так вы, Иван, кончаете дело миром? — спрашиваю я.

— Он Семён, а не Иван, — поправляет меня судья-односелец.

— Как Семён?.. Ведь в жалобной книге записан Иван?

— Это точно-с, — объясняет истец, — потому как землю мне сдавал брат его старший, Иван, и деньги он же у меня брал, так я его и записал... Да это всё одно-с...

— Да как же всё одно? Ведь вы с Иваном имели дело, а Семён отвечает?..

— Да нетути Ивана-то: на степь уехамши, — убеждает меня судья не толковать о пустяках. — Ещё позавчера уехал, вот Семён за него и вышел на ответ.

Я соображаю, в чём дело, для полного успокоения своего относительно нерушимости закона спрашиваю:

— Да они вместе, что ль, живут? Не поделимшись?..

— Зачем поделимшись!.. Вместе, вместе.

Тогда я перемарываю в жалобной книге и в постановлении суда слова «Иван» заменяю их «Семёном»... Для интересов семейской собственности — земле совершенно всё равно, кто будет за неё «ответ давать» — Иван или Семён, потому что хотя хозяйствует Иван, как старший, т.е. снимает землю, сдаёт, распределяет посевы, распоряжается уборкой и проч., но делает всё это с ведения и молчаливого согласия Семёна, который не хуже его знает, почему это сделано именно так, а не иначе, и в каждый данный момент знаком со всем положением дела и может без всякого ущерба для хозяйства заменить Ивана; иначе сказать: в отношении земли Иван поступает не так, как ему хочется, а так, как этого требует сама земля; поэтому не важно, кто выражает волю земли, Иван или Семён, ибо не они властвуют над землёй, а земля распоряжается всеми их поступками, всей их жизнью. Совсем не то было бы, если б дело шло, например, о купленной лошади; кто его знает, какими соображениями руководился Иван при покупке лошади на таких-то и на таких-то условиях. Может быть, он рассчитывал занять денег у тестя, может быть, он надеется сам обернуться — уплату податей позадержит, что ли, и посидит за это в «холодной», или же ещё что-нибудь придумает — ничего этого Семён не знает, да это и не его дело, и Семён ни за что не станет за Ивана в ответчики по «лошадному» делу: «моих делов тут нетути; как они сходились, так пущай и расходятся, а я ничего не могу знать в ихних делах».

По земельным искам даже сын иногда заменяет на суде отца или племянник — дядю, если только они живут вместе; во всех же прочих делах всякий отвечает сам за себя, кроме разве случаев «неотжития» в работниках сына или младшего брата, или в случае иска за убытки, причинённые хозяину шало-

стью или нерадением мальчиком-сыном или братом, за коих отвечает отец или старший брат их, т.е. хозяева семьи. Нехозяйствующие сын или младший брат ни наняться в работники, ни оставить место без согласия старшего в семье не могут, — конечно, если они не живут в отделе, потому что в этом случае они являются совершенно самостоятельными домохозяевами независимо от того, есть ли у них отец или старший брат: при совместном же жительстве старший в семье и подряжается с нанимателем, и расчёт ведёт он же, в исключительных разве случаях доверяя поступившему в работники младшему члену семьи самостоятельно производить расчёт с нанимателем, забирать деньги и проч. Даже в случаях такого крайне редкого доверия отданный в работу член семьи может употребить на себя только какой-нибудь двугривенный в месяц«на табачишко», а всё остальное обязан вносить в семью, откуда уже и получает одежду и в случае надобности — пищу. Понятно, что при таком положении вещей наниматель знает, в качестве своего контр-агента, не самого работника — будь он хоть тридцатилетний мужик, а его отца или старшего брата, договаривавшегося при найме и взявшего на себя, некоторым образом, нравственную ответственность за исполнение договора. В случае же нарушения этого договора — когда, например, работник уйдёт до срока, не зажив забранных денег, и т.п., — наниматель ведается на суде не с ушедшим от него работником, а с своим контр-агентом, старшим членом в семье, который, как предполагается в виде правила, санкционировал своим согласием нарушение младшим членом семьи заключённого с хозяином обязательства. Бывают, впрочем, случаи — как исключения, когда работник уходит самовольно, без согласия своего старшого; тогда это обстоятельство выясняется на суде через допрос работника в качестве свидетеля, что именно побудило его уйти до срока — тайное ли приказание старшого, или постороннее какое-либо обстоятельство, например, слишком непосильная работа, или побои со стороны работодателя, и проч. Если суд примет во внимание объяснение работника-свидетеля, уважит его жалобу на непосильную, например, работу, или если окажется, что он ушёл от хозяина с согласия своего старшого, то он совершенно устраняется от участия в деле, и начинается уже определение размера и качества претензии нанимателя к своему контр-агенту. Если же окажется, что работник ушёл «по своевольству», без согласия своего старшого и без всяких уважительных причин, то старшой обязан или заставить его доработать условленный срок, или вполне удовлетворить все претензии нанимателя, так как он, старшой, является виноватым или тем, что он «распустил» подчинённых ему членов семьи до своевольства, или тем, что дал своё согласие на ничем не обусловленный уход работника от хозяина. В том случае, когда младший член семьи самовольно ушёл от хозяина, причём последний не был виною его ухода (не отягощал его работой, не бил, кормил исправно и проч.), старший член обязан вознаградить обманутого хозяина, а со своим непокорным подчинённым, причинившим

общесемейскому фонду убытки, может поступить по своему усмотрению: или дома «поучить», или просить суд заняться этой педагогической деятельностью через посредство Петровича. Таким образом, из гражданского дела, предъявленного А к Б, вытекает уголовное дело Б к сыну своему В о непослушании родительской власти; от гражданской же ответственности перед А — В избавлен как неимущее, неполноправное, неюридическое лицо, а ответствует за него имущественный представитель семьи — Б. Из массы случаев подобного рода приведу здесь только один, но довольно характерный.

Старуха-вдова отдала своего четырнадцатилетнего сына в работники за 15 руб. в год; задатку взяла три рубля. Прожив две недели, мальчик ушёл от хозяина; тот пожаловался в суд. Мать на суде показала: «Пришла я Ванюшку проведать — смотрю, а он плачет, рекой разливается. Ты что, говорю. Прибил, говорит, хозяин: заставил меня солому подавать крышу крыть, а я не смог — он и побил. Сами посудите, господа судьи, — где ж ему силы взять на крышу снопы подавать?.. Ну, я его и взяла к себе, не дозволила своё дитю мучить»... Судьи признают, что она вправе была взять мальчика, но присуждают всё-таки уплатить истцу незажитые мальчиком 2 руб. 60 коп., отсрочив, в виде льготы, уплату до весны.

Из группы дел о взыскании частных долгов резко выделяются по своей характерности иски, предъявляемые к членам разделившихся семей, когда долг бывал сделан ещё до раздела кем-либо из членов этой семьи. Если семья делится по необходимости, без ссоры и недоразумений, то при разделе имущества все лежащие на ней долги и обязательства распределяются соразмерно получаемой каждым членом имущественной доле; так, например, если сын отделяется от отца, у которого остаётся ещё сын, то отделяющийся получает свои душевые наделы земли, третью часть движимого имущества и третью часть строений, причём берёт на себя уплату и третьей части всех лежащих на семье долгов. Недоразумения при таких дележках бывают крайне редко или, если и возникают, то быстро улаживаются. Вот один случай из этой категории дел.

Единственный сын отделился от отца вследствие несогласной жизни. Зимою 1882-83 г., когда они жили ещё вместе, отец взял под работу у соседнего помещика 20 руб., из коих за лето отработано было только 10 руб.; работал сын.

Осенью они поделились. Благодаря тому обстоятельству, что долг был помещичий, что помещик ко времени их раздела иска своего ещё не предъявлял, — а мужик рассчитывается с барином вообще только тогда, когда чувствует себя окончательно припёртым к стене, во всё же остальное время втайне питает надежду: «авось-де до расчёта выйдет какая перемена», — долг этот не быль своевременно развёрстан между отцом и сыном. Зимою 1883-84 г. помещик подал мировому судье иск к нескольким крестьянам, в том числе и к этому старику, взыскивая как действительный их долг, так и оговоренную по

условиям неустойку; мировой судья решил дело, конечно, в пользу истца, но этот последний «великодушно» предложил крестьянам вновь отработать свои долги летом 1884 г., обещая простить в этом случае неустойки. Ответчиком по делу явился отец, так как он был записан в условии; но после тяжбы у мирового он подал в волостной суд иск к своему отделённому уже сыну, требуя, чтобы тот обязался отработать половину следуемой с их бывшей семьи работы. Сын упорно отказывался от выполнения старого семейского обязательства, оправдываясь, во-первых, тем, что он свою половину уже отработал в прошлом году, когда жил в семье, и, во-вторых, тем, что он не был сполна выделен отцом, т.е. не получил всей следовавшей ему половины имущества, а только одну четверть (произошло это потому, что старик узнал, что он «по закону» единственный владелец всего имущества и может поэтому располагать им по своему усмотрению). Суд, принимая во внимание, что сын отработал половину работы ещё тогда, когда жил в семье, что работа эта «шла в семью» и поэтому принята в расчёт быть не может и что после этого он получил «из семьи» только половинную часть следующей ему доли семейского имущества, определил: обязать его отработать одну четвёртую часть остающейся работы, т.е. на 2 р. 50 коп., а остальной долг оставить на отце. Оба тяжущихся остались решением суда довольны.

Совсем иначе бывает, если раздел происходит не по личным несогласиям, а вследствие сказывающейся розни в имущественных интересах. Вот два случая, лучше всяких рассуждений дающие ответ на этот вопрос.

Егор Ёлкин был сборщиком податей и не сумел отдать отчёта в 70 руб.; сход постановил взыскать их с него судебным порядком. Тогда он сорок рублей внёс своих, а недостающие тридцать занял у другого мужика. Егор был младшим из двух братьев, хотя и ему насчитывалось уже не менее 45 лет; он занимался лесными операциями, которые ко времени начёта на него пошли всё хуже и хуже: дела его позапутались, и он стал покучивать. Тогда старший брат, Николай, исключительно занимавшийся хлебопашеством, потребовал раздела, который, наконец, и произошёл после целого ряда препирательств, драк, брани и проч. Николай решительно отказался взять на себя какую-либо часть братниных долгов, указывая на то обстоятельство, что он — старший в семье и поэтому хозяин, а долги сделаны Егором за свой личный страх, без всякого участия его, Николая. Как устроился Егор с прочими своими долгами — я не знаю, но тридцати рублей, занятых для пополнения растраты, он в срок не уплатил и был вызван в суд по жалобе кредитора; дать, однако, единоличный ответ по этому делу он отказался, говоря, что деньги он брал в семью и что поэтому наравне с ним должен быть вызван в качестве ответчика его брат Николай. Явившийся к следующему заседанию Николай отказался от уплаты части предъявленного к ним, Ёлкиным, иска на том основании, что деньги эти пошли не на семейские нужды, а на пополнение братниной растраты; куда же

брат затратил собранную подать, он, Николай, не знает, и легко может быть, что при своей пьяной жизни Егор просто пропил их. Суд не уважил претензии Егора возложить уплату половины долга на Николая и постановил: взыскать все 30 руб. полностью с одного Егора.

Другой случай. Один из трёх братьев, Демьян, был на военной службе в то время, как двое других, Иван и Тимофей, занимались крахмально-паточным производством. Семья эта была состоятельная, имела две избы, крахмальный завод небольшой, английскую ветряную мельницу и порядочный оборотный капитал. Вздумали они заниматься еще скупкой овец, но промахнулись: ко времени возвращения Демьяна со службы дела братьев сильно пошатнулись; между ними пошли несогласия, проявилось стремление утаить друг от друга часть выручки, стали делаться долги, был продан завод и заложена мельница — словом, хозяйство порасстроилось. Между прочим, занято было сто тридцать рублей у одного местного капиталиста, причём расписка была заключена формальная и засвидетельствована в волостном правлении. В расписке значилось, что деньги взяты всеми тремя братьями на общесемейские нужды, и к ней подписались: Тимофей, как грамотный, самолично, а за неграмотных Ивана и Демьяна — совершеннолетний сын Ивана, Кирилл. Прошёл год; вражда между братьями приняла такой острый характер, что не оставалось ничего, как разделиться натрое. Демьян получил только клетку, лошадь, несколько овец и душевой надел земли, отказавшись от своей части в убранном хлебе и в прочем строении с тем условием, чтобы не быть ответчиком по долговым обязательствам братьев. Иван же и Тимофей поделили прочее имущество поровну, причём было немало перекоров об утаённых будто бы семейских деньгах. Ещё до раздела они отдали своему главному кредитору, в счёт долга, корову за 40 рублей, остальных же 90 рублей не уплатили, за что и были все привлечены в качестве ответчиков к волостному суду. Вот что они показали на суде.

Тимофей. Я от уплаты своей части долга, т.е. 30 руб., не отказываюсь, так как деньги были взяты на общесемейские нужды.

Иван. Я денег этих не брал и сыну Кириллу не приказывал за себя расписываться. На что их брал Тимофей и куда их девал, я не знаю, так как в дела его не вмешивался, и поэтому от уплаты какой-либо части долга отказываюсь.

Демьян. Когда я уходил на службу, мы были втрое богаче, чем когда я вернулся. Теперь нет у нас ничего — ни денег, ни мельницы, ни завода... Я ушёл от них почти нищим: они мне не дали ни одной копны хлеба, и я на всё это согласился, лишь бы они не путали меня в свои дела. На заключение нового долга я своего согласия не давал, да оно и не спрашивалось ими, так как они поступали всегда по собственному своему разуму, не соображаясь с моим мнением.

Сын Ивана, Кирилл. Отец приказал мне расписаться, и дядя Демьян был при этом деле, но спрашивали ли его согласия, я не помню.

Показание Ивана, будто бы он в делах брата не участвовал и долга не делал, опровергалось уже тем одним обстоятельством, что общесемейская корова пошла на уплату долга, который, следовательно, не мог не быть общесемейским же. Несмотря на то, что в расписке значились должниками все трое братьев в равной степени, суд, помимо писаного закона, постановил Демьяна от ответственности освободить вовсе, а с Ивана и Тимофея взыскать поровну, т.е. по 45 руб. с каждого, в пользу кредитора.

В приведённом только что решении обычноправового суда очень характерно, между прочим, игнорирование со стороны суда «писаного закона», в данном случае — расписки; нельзя не согласиться, что такое решение суда было в высшей степени согласно с требованиями справедливости и обычая. Но вот почти однородный акт, и как приходится жалеть, что точная буква закона не восторжествовала в этом случае...

Дядя выдавал племянницу-сироту замуж; при сведении с ней счётов оказалось, что он затратил некоторое количество оставленных ей покойною её матерью денег и некоторые её вещи, как-то: несколько штук холстов, полушубок и т.п. При нескольких свидетелях и при старосте дядей была написана расписка, по которой он обязывался уплатить в известный срок вышедшей уже замуж племяннице тридцать пять рублей. Долга этого он не уплатил, однако, в течение целых двух лет и довёл, таким образом, дело до суда. На суде он привёл целый ряд произведённых им будто бы на свадьбу племянницы расходов, которые и определил в 25 рублей, и соглашался доплатить только остальные 10 рублей. Хотя в расписке было ясно сказано, что он обязуется уплатить 35 руб. полностью, и хотя спрошенные свидетели подтвердили, что когда он просил племянницу отсрочить ему уплату долга, то ничего не упоминал о произведённых им для свадьбы расходах и их в счёт не клал, но суд, руководствуясь какими-то странными соображениями (в этом заседании подбор судей был очень плох), а, вернее всего, посуленным магарычом, постановил взыскать с дяди только 15 руб. в пользу племянницы, а остальные 20 р. зачесть в счёт произведённых расходов... Истица жаловалась на это решение уездному присутствию, но оно, вопреки своему обыкновению, это решение суда «по обычаю» утвердило, а жалобу истицы оставило без последствий.

А вот торжество и писаного закона. Отец стал притеснять жену сына, свою сноху; злые языки говорили, что он добивался её благосклонности, но получил отказ и в отместку стал доезжать как сына, так и сноху в особенности. Родители молодухи были люди довольно зажиточные и к мужу её относились хорошо; поэтому без вины виноватые молодые порешили уйти к ним на житьё, что и исполнили однажды в отсутствие отца, взяв из дому только своё носильное платье и приданое молодухи. Рассерженный старик поднял в волостном суде целый ряд исков к сыну и снохе, обвиняя их то в краже полушубка, то в оскорблении его на словах, то в самовольном оставлении родительского дома

и т.п.; сын же, со своей стороны, стал просить сельский сход выделить ему часть из отцовского имущества, но просьба его не была уважена — благодаря большому значению, которым пользовался старик в селе. Тогда сын обратился с жалобой в волостной суд, прося о том же выделе части имущества, но и тут получил отказ, мотивированный тем, что всё имущество — отцово и что отец волен сына им наградить или не наградить — по своему личному усмотрению. Но нужно добавить, что для сохранения хотя бы некоторого равновесия и отец на все свои жалобы, поданные в суд, получил отказ... Обездоленному малому ничего не оставалось делать, как окончательно войти «в зятья» к своему тестю, что он и сделал, хотя это в деревенском обиходе и считается несколько зазорным...

XVII

За моё трёхлетнее отправление обязанностей «секретаря» волостного суда мне пришлось присутствовать при разборе около 600 дел; так как в Кочетовской волости считается до 1800 крестьян-домохозяев, то в среднем одна треть домохозяев успела пересудиться за это время. Правда, что некоторые личности — кулаки, маклаки[56] землёй и прочий сельский «коммерческий» люд — перебывали за это время по нескольку раз в суде, — то в качестве истцов, то ответчиков; но, с другой стороны, по одному и тому же делу бывало часто по двое, по трое и более ответчиков, так что отношение судившихся ни в каком случае не будет менее вышеуказанного. Таким образом, не менее одной трети домохозяев волости перебывало при мне на волостном суде, и я имел полную возможность наблюдать и изучать как общий характер предъявленных исков, так и характер даваемых на предъявленные иски ответов. Вообще, всякий суд есть лучший пробный камень для нравственности населения, ибо нигде так ярко не высказываются, подчас удачно маскируемые в обыденной жизни, отрицательные качества личности — корыстолюбие, подлость, алчность, бранчивость и т.п., — как на суде; и по этому удобству расследования сокровенных побуждений тяжущегося волостной суд превосходит все другие, благодаря отсутствию всяких стеснительных формальностей как для судей, так и для тяжущихся. На волостном суде стороны держатся совершенно свободно, говорят и спорят без всякого стеснения, часто уклоняясь от сущности дела к побочным обстоятельствам, так или иначе имевшим отношение к делу, касаются своих личных и семейных отношений, — словом, не стесняясь, «выносят сор из избы», зная, что судьи — свой брат, мужик; и судьи, не стесняясь своим высоким званием и не боясь уронить своё достоинство, входят в препирательство и даже в споры с тяжущимися... Конечно, внешняя обстановка суда от этого много теряет, и городской житель, привыкший к торжественности обстановки

мирового и окружного суда, был бы сильно поражён шумом и гвалтом, царящим в волостном суде, где тяжущиеся перекрикивают друг друга, перебивают судей,«чертыхаются», божатся и плюются, где сторож, на обязанности которого лежит отворять двери, и где всякий другой случайный посетитель свободно вмешиваются в разбор дела, обращают внимание суда на какое-нибудь выяснившееся, по их мнению, важное обстоятельство, подают советы, усовещевают упорного ответчика или чересчур жестокосердечного истца; но всё это имеет ту хорошую сторону, что всё, происходящее на суде, вполне естественно, не стеснено никакими формальностями и соответствует представлению народа о суде как об учреждении, для всех доступном, все функции коего должны быть для всех понятны и не изъяты от общей, гласной критики. Волостные судьи — те же рядовые мужики; они не имеют даже какого-нибудь внешнего знака, который отличал бы их от массы, как, например, отличает старосту его «мидаль», и поэтому они вполне солидарны с массой в понятиях, взглядах и проч. Частные злоупотребления со стороны судей служат лишь доказательством низкого уровня нравственности всего населения; зависимость судей от кулаков-мироедов указывает лишь на общее порабощение народа кулаками; словом, крестьянский суд служит лучшим конкретным представлением народной жизни, какова она есть в действительности. То, что постороннего человека, некрестьянина, приводит в недоумение, волостных судей не удивляет: все побуждения истцов и тяжущихся им совершенно понятны; они сами мыслят и поступают так, как мыслят и поступают тяжущиеся; вся разница только в том, что у тяжущегося взгляд на своё дело затемнён личным интересом, расчётом или страстью, а судья, стоящий вне сферы действия этого расчёта или страсти, может сохранить свой взгляд на дело без всякого постороннего давления. Я говорю — может, потому что в действительности этого иногда не бывает: у тяжущегося есть много средств втянуть судью в сферу действия своих личных побуждений; эти средства известны: дружба, взятка, экономическое давление и т.п.

Главным стимулом, побуждающим население обращаться в суд, есть желание «вернуть своё»; многие истцы, прошатели тож, так и заявляют: «мне чужого не надо, я своё прошу». Но бывает, что, пользуясь удобным случаем, прошатель не прочь со своим прихватить и чужое; серьёзным укором для нравственности народа это обстоятельство не может, впрочем, служить, потому что наряду с этими явлениями бывает много случаев, когда прошатель, при полной возможности прихватить чужое, и не думает воспользоваться этой возможностью. Мы уже видели на одном примере, что истец просил о взыскании не всей суммы, значившейся в расписке, а только части её; из-за полтинника же, казавшегося ему спорным, он поднял целую бурю... Убедительнейшим же доказательством тому, что в суд обращаются преимущественно со справедливыми исками, служит масса мировых сделок, заключаемых как до разбора дела, так и во время самого разбора, и даже после разбора. До суда доходит не более

двух третей заявленных в волостном правлении жалоб: одна треть кончается миром без всякой помощи правосудия, если не называть помощью посылку ответчику повестки; эта последняя как бы напоминает ему о существовании и на него «управы», и он спешит мириться, если настолько честен, чтобы безусловно признать свою вину или долг. Но еще характернее мировые сделки, заключаемые после постановки решения суда. Нередко случается, что суд присудит Ивану с Петра, скажем, пять рублей за потравленное у него сено; через полчаса или более по объявлении решения, когда начинается разбор третьего или четвёртого после этого дела, в «залу заседания» врываются Иван с Петром.

— Вам что?

— Да вот просим покорнейше наш суд помарать, потому мы помирилися...

— На каких условиях?

— Рублёвку с него беру. Что его обижать, Господь с ним!

Это говорит истец, сначала оценивший потравленное у него сено в десять рублей и оставшийся сильно недовольным, когда суд присудил ему «по таксе», т.е. по закону, только пять рублей.

Особенно много мировых сделок бывает по уголовным делам. Нужно сказать, что в последнее время стали появляться в суде массы жалоб за «нанесённые побои», за оскорбления «действием» и даже «словами». Я указывал выше на причину этого явления, кроющуюся в ослаблении власти мира и в сознательном устранении себя со стороны сельских старост от вмешательства в такого рода «кляузныя» дела. Жалуются в суд и мужик на десятского за то, что он, гоня его на сходку, «бадигом» ударил, и десятский на мужика, что он его «сволочью» назвал; жена на мужа — за побои; отец на сына — за непочтение; кум на кума — за драку в пьяном виде; девка на парня — за уличение её в связи с более счастливым соперником и т.д., и т.д. Но все эти уголовные, в известном смысле, иски можно подразделить на две, резко друг от друга отличающиеся группы: одна будет заключать в себе иски родственников к родственникам, живущим в одной семье (отец к сыну, жена к мужу, золовка к деверю, и проч.), другая — все остальные; между тем, как первые всегда имеют целью обуздать насилие посредством уголовного возмездия ответчику арестом, телесным наказанием, — вторые составляют, в сущности, лишь удобный случай сорвать с обидчика более или менее приличный куш за обиду. Как исключение, в одном иске из двадцати случается, что истец просит неродственного ему ответчика «попужать, чтобы умнее был», и не требует за свою «обиду» какой-нибудь ассигнации; это случается преимущественно тогда, когда истцом является или богатый человек, не имеющий нужды зариться на тощий гаманок[57] «виновника», или старик, или старуха, хоть и не богатые, но считающие себя, по своему возрасту, достойными уважения, и по ветхозаветным понятиям своим не понимающие, как можно рублём загладить нанесённую их старческому достоинству

обиду. Вообще, требование денег за нанесённую обиду есть явление сравнительно новейшее, и некоторые старики, с которыми мне случалось говорить об этом, с неодобрением относятся к нонешним временам, когда стал процветать торг своей личностью. «Бывало, — говорят они, — подерутся мужики: известно, пьяным долго ли до греха?.. Коли ровно подрались, протрезвятся и даже не вспомнят о драке; ну, а ежели кто кого уже дюже изобидел либо старика или старуху затронул — старикам пожалуются. Виновник и начнёт в ноги кланяться обиженному; ну, тот и простит, а виновник на радостях старикам за утруждение четвёрочку поставит. Коли старшого кто обругал или, Боже упаси, побил, так это уж завсегда поучат: бывало, на сходке «горяченьких» всыпят десятка два или три, а он за учёбу опять стариков водочкой поблагодарит... Так вот и жили безо всяких кляуз, и судов этих не знали; а теперь, Господи ты Боже мой милостивый! Сколько этих обидов развелось — уму непостижимо!.. Пьяные подрались, сичас это в суд: давай пять цалковых; парень с девкой пошутил — она в суд: давай ей рубль... Ей бы, бесстыжей, такой суд задать, по-старински, чтоб она туда и дорогу забыла, а вы сидите, слушаете её, паскуду... Нет, теперь народ куда как ослаб противу прежнего»...

С этими поборниками старого порядка нельзя безусловно согласиться. Самый факт возникновения жалоб об оскорблениях доказывает лишь развитие сознания собственного достоинства и проявляющееся сознание неприкосновенности личности как таковой. Правда, что в переживаемый нами период всеобщего господства рубля и полного порабощения всяких других принципов — принципом наживы на счёт другого как единственно доступным неразвитому уму выходом из бедственного экономического положения, возникшее сознание о неприкосновенности личности тотчас же подчинилось духу времени и стало лишь источником наживы; но всё-таки первый шаг к поднятию значения личности сделан, и если со временем будут устранены некоторые пагубные влияния на жизненные условия крестьянства, влияния, придающие отвратительную окраску многим сторонам народной жизни, то прогресс в указанном отношении обрисуется совершенно явственно. Как-никак, а надо признаться, что в настоящую минуту неприкосновенность личности вошла в фазис оценки её на рубль, подобно тому как оценивается теперь мирская правда, человеческая совесть, девичья честь...

— Ты чего, красавица?

— Окажите защиту, господа судейные! Яшка Шведов осрамил, опозорил меня кругом: мне в люди показаться нельзя!.. Онамеднись, в воскресенье, при всей улице зачал срамить меня: и потаскуха, и такая-сякая. Чем это я заслужила такую срамоту?.. А ежели он ко мне лез, а я ему отваливать велела, так это ещё не есть причина срамить меня...

— Так ты о чём же просишь?

— Вы лучше моего знаете, как по закону-то...

— Ах, глупая!.. Мы и так, и этак можем. А мы тебя спрашиваем, как тебе желательно?..

— Известно, деньгами.

— Много ль же ты хочешь?..

— Как угодно, господа судейские, а я меньше десяти рублей никак не согласна, потому этакий срам принять...

Дело кончается тем, что Яшку приговаривают к одному рублю штрафа в пользу мирских сумм; истице же ничего не присуждают, чтобы не повадить её таскаться по судам. Она уходит, возмущённая неправедным судом и в уверенности, что Яшка «подпоил» судей...

Другая жалоба — о побоях. Рассказ потерпевшего кончается опять просьбой взыскать «по закону»; судьям удаётся допытаться, что Тимохины побои оцениваются «прошателем» в 25 рублей. Им предлагают помириться на рубле, и после отказа идёт суд. По объявлении постановления суда о подвергнутии за обоюдную драку аресту — Тимохи на трое суток, а истца на сутки — оба они с выражением обманутой надежды выходят, но через несколько минут вваливаются обратно в комнату.

— Прикажите помириться, господа судьи!.. Мы таперь согласны, чтобы он, то ись, мне рубль и больше ни на ком...

Живущим под одной кровлей, имеющим один общий семейский фонд, близким родственникам или супругам, нет, конечно, никакого смысла просить друг с друга деньги за обиду, и поэтому они всегда просят «поучить» виноватого. Большая часть этих дел кончается миром: виноватый (конечно, младший член семьи) кланяется в ноги обиженному прошателю, тот читает ему краткое нравоучение вроде: «Ну, смотри же, Васька, на этот раз Бог простит, а коли ежели ещё что, не прогневайся!» Судьи со своей стороны «попужают» какими-нибудь страшными словами обидчика — тем и кончается домашняя распря... в большинстве случаев только на время... Но иногда оказывается, по мнению суда, необходимым поучить упорного обидчика и на деле...

Наиболее подавляющее впечатление производят дела, возникающие по жалобе жены на жестокое обращение с ней мужа.

— Бил это он меня — бил кулаками, за косы по избе таскал — только показалось это всё ему мало, — рассказывала молодая бабёнка на суде, — схватил верёвку, давай верёвку об меня трепать... Не вытерпела я его смертного боя, вырвалась от него и к мамыньке убегла; пришла я сама не своя, сижу, плачу, и мамынька около меня рекой разливается, потому вся-то я в синяках, косы растрёпаны и рубаха новая из хранцузского ситца в клочья порвана... Извольте хоть посмотреть...

— Нет, нет, не надо!.. Говори дальше.

— Только плачем это мы так-то, вдруг он в избу и входит. «А, — кричит, — змея, так ты жалиться на меня бегаешь?» И опять схватился за меня...

Мамынька было отнимать стала, да где же ей с ним справиться? Он и её отпихнул к печке, больно она ударилась в ту пору, да и давай опять меня тиранить... Бил, бил, покеда заморился, потом схватил за косы и к себе во двор поволок... Нету моей моченьки, господа судейные, что хотите делайте со мной, а не могу я больше терпеть от него!..

— Где ж ты жила до сих пор?..

— Да у тётеньки жила в другом селе; мамынька присоветовала уйти, а то, грит, он убьёт тебя...

— У тебя дети-то есть?

— Двое есть: старшему-то третий годок пошёл, а младшему четвёртый месяц с Успенья...

— Что ж ты с собой унесла грудного-то?

— Известно, с собой.

— Ты что же, Дмитрий, охальничаешь? Рази можно так бабу забижать?..

Дмитрий молчнт.

— Слышь, что ль, тебе говорят!..

— Чего ж мне слышать?.. Она — баба, и должна меня слухать... А она перечит!

— В чём же она перечит?

— Мало ли в чём!.. По домашности больше... Пьяный когда придёшь, уж она пилит-пилит... Опять матка её зудит: такой да сякой, губитель ты, грит, мово детища... А какой я губитель?..

— Это всё ладно... Только для чего ж ты так, не жалеючи-то, бьёшь?..

— А она меня жалеет? Однова говорю — портки дай новые, а то эти сопрели; а она на меня и взъелась: кто те, говорит, припасал? И пошла, и пошла!.. Ну что ж тут делать?.. Без ученья никак не обойдёшься.

— Вы бы помирились, голуби, вот что! Тебя как звать-то... Фёклой?.. Так вот что, Феклуша, поклонись-ка ты мужу в ноги, он те простит, и ты его прости, да и ступайте опять по любу жить... Ребята вы славные...

— Я и то два раза ездил к ней, звал к себе, а она вишь что вздумала — на суд идти...

— Поклонись, Фёкла, а?

— Хоть зарежьте, господа судьи — не буду; не могу я жить с ним, варваром... Разводную мне дайте!..

— Глупая, глупая, какую ж мы те разводную дать можем? Ничего в нашей власти нет, окромя как в «холодную» его суток на двое засадить: пороть его тоже из-за тебя не годится, не закон... А посадим, отсидит он — тебе же ведь хуже будет? Куды ты от него с малыми детьми пойдёшь? Никуда, — и вся ты у него завсегды в руках; и он тебе за эту «холодную» такую горячую баню задаст!.. Миритесь, говорю вам честью!..

— Пусть идёт — живёт... Я принимаю, — говорит Дмитрий.

— А я не пойду!..

— Ну вот что, коли миром вас не сведёшь, так идите себе с Богом: как сходились, так и расходитесь, а мы вам не разводчики!.. Ступайте себе, живите, как хотите...

Через несколько минут под окнами волостного правления раздаётся отчаянный бабий крик. Я в беспокойстве спрашиваю, что это такое случилось?

— Это, должно, Митрий, вот что сейчас судился, бабу свою учит... Ох, и супротивная же она! — философствует хладнокровно Петрович, почёсывая себе спину между лопатками о дверной косяк...

Вообще, представление о бабе как о полной собственности мужика сохранилось ещё в сильной степени. Крайне характерно сказалось это воззрение по одному случаю, который я здесь приведу, так как он также имеет некоторое отношение к волостному суду.

Подрались две бабы из-за холстов; зачинщицу, притом в лоск побившую свою противницу, суд приговорил к аресту на трое суток при волостном правлении. Когда решение это вошло в законную силу, я, по обыкновению, выдал старосте приказ привести решение суда в исполнение. Дня через два после этого приходят ко мне старшина вместе с старостой.

— Н. М.! Что мы вас спросить хотели?.. Сами не посмели, думаем, спрошаючи все ж лучше... Мужик тут один, Николка Рыжий, вот жену которого в «холодную»-то присудили, просит, нельзя ли ему отсидеть заместо неё?..

Я и рот разинул от удивления.

— Что ты, Яков Иваныч!.. Да ведь осуждена она, а не он, так как же его сажать можно?..

— То-то и я говорю, спрошаючи лучше!.. Вишь, по закону-то и нельзя... Мы было думали: как она — одна баба, и печку истопить, опять ребятишки, и коров подоить... Если её таперича посадить, кто всё это справлять будет?.. Так нельзя?.. Пойди, староста, скажи Николке, что писарь не велит, — нельзя, мол, по закону!.. А мы было думали... Ах, грехи, грехи!..

Через полчаса входит ко мне сам Николка с узелком в руке.

— Уж вы, Н. М., не тесните меня, сделайте такую милость!.. Я вот и гостинчика вам — десяточек свеженьких яичек — принёс.

— Помилуй, братец, да что ж тебе от меня надо?

— Прикажите уж мне за бабу отсидеть!.. Потому ей никак нельзя от дому отлучиться... Да и то сказать, — опять моя тут вина, что я не соблюл её, допустил до драки; вот я отсижу, а тогды уж с ней сам слажу — она у меня будет знать, как драться!.. Сделайте такую божескую милость!..

Конечно, я такой божеской милости сделать не мог.

Выше я упомянул бегло, что крестьяне оттягивают расчёты с помещиками до последней возможности в чаянии какой-либо грядущей «перемены». Это-то чаяние и составляет часто причину неисполнения обязательств по отра-

боткам, нарушения заключённых зимою условий под летнюю работу. Леность, пьянство, нерадение (официальные мотивы) суть лишь второстепенные причины этих неотработок; хозяйственный расчёт, присущий всякому мужику, — вот главная причина подобных явлений. Беря зимой работу, огромное большинство — почти все подряжающиеся — искренно намереваются исполнить взятые на себя обязательства; но настаёт рабочая пора — и вдруг разносятся слухи, что «вышел указ не работать на господ», или «работать, но не дешевле 4 рублей за десятину», или «через месяц, в такой-то день, будет общее поравненье»... Ну, скажите, пожалуйста, какой же расчётливый хозяин будет затрачивать свой труд: во-первых, противно «указам» (надо вспомнить, что говорилось выше об уважении мужика ко всякого рода законам и указам), а во-вторых, с явным для себя убытком, так сказать на ветер, потому что через месяц всё равно выйдет «поравненье», и работа должника не достанется ни барину, ни ему, работавшему, а какому-нибудь «чужому дяде»?.. Но проходит назначенный для объявки «перемены» день, проносится слух, что «отложили ищо на год», — и мужик безропотно идет с поклоном к барину, просит подождать на нём долг, опять искренно надеясь всё честно отработать. Конечно, не все баре хотят или могут ждать — и отсюда масса исков с громадными неустойками как у мирового судьи, так и в волостном суде. Господа судятся, впрочем, с мужичьём чаще у мирового судьи, считая несколько унизительным для себя прибегать к защите волостного суда, где заседают такие же мужики, а частью, не доверяя этому суду, хотя совершенно напрасно. Если у помещика есть формальная расписка — а у кого их теперь нет! — то дело его в волостном суде так же верно, как и у «своего» судьи: писарь — законник и чувствует к тому же уважение к сильному истцу, судьи боятся и закона, и писаря, и истца — и помещик всегда выигрывает формально обставленное дело. Лично помещики никогда почти даже не являются на суд, а присылают лишь доверенного приказчика или старосту.

Закончу небольшой сценкой с натуры.

Действие происходит не в кочетовском суде, а в одной из соседних волостей. Истец — приказчик известного в округе своим кулачеством помещика П., ответчик — безземельный и бездомовый бобыль, живущий по работникам; он служил у П., но ушёл от него в самую горячую пору, соблазнившись высокой подённой платой в степи и забыв, что обязался перед П. при найме двухрублёвым штрафом за каждый прогульный день. Три рубля забрано было им вперёд да сорок дней прогулу — итого иск в 83 рубля, обставленный всеми формальностями. Судьи присуждают взыскать с бобыля 83 рубля в пользу П. По окончании дела один из присутствовавших посторонних зрителей спросил судей:

— К чему вы присудили так много с него? Ведь он вовек не расплатится, с него взять нечего...

— Хе, хе... А потому и осудили так: с него всё едино взять нечего, а барину как-никак почёт!..

XVIII

Как-то раз зимою возвращались мы со старшиною Яковом Иванычем из нашей обычной, по делам службы, поездки в город. Мелкий, сухой снег бил нам прямо в лицо, и мы старательно кутались в тулупы, нимало не будучи расположены любоваться однообразными снежными равнинами, тянувшимися по обеим сторонам дороги.

— А ведь это будто Василий кого-то в город везёт, — вдруг заметил наш ямщик, полуоборотясь к нам. — По кореннику вижу, что его тройка, — ишь голову дерёт... Кого это Бог ему дал?..

Навстречу нам, действительно, неслась земская тройка из нашего Кочетова. Мы с любопытством высунули из воротников головы — посмотреть на проезжих.

— Стой, стой! — закричали во встречных санях, лишь только они поравнялись с нами. Проезжие оказались священником одного из приходов нашей волости и местным нашим урядником.

— Вы из города? — торопливо крикнул нам отец Никита, вылезая из саней.

— Из города... А что?

— Цыган не встречалось вам?

— Нет, никого не встречалось...

— Ах, грех какой!.. Должно, след-то мы потеряли... Ещё в Карповке опрашивали — говорят, проехали, а вот сейчас на мельнице — нет, говорят, не были... Видно, стороной взяли!

— Известно, стороной, — дал своё заключение и урядник.

Отец Никита, в сильном возбуждении, рассказал нам, что прошлою ночью воры взломали у него задние ворота во дворе, задушили дворную собаку и увели трёх лошадей; одну, старую кобылу, уже не бывшую в состоянии быстро бегать, бросили за селом, а две другие, молодые матки, рублей по двести каждая, исчезли совершенно. Подозрение в краже падало на каких-то цыган, проезжавших вечером через село; и вот отец Никита, захватив с собой урядника, бросился на тройке догонять конокрадов. Потолковав и пораскинув умом, где и как можно найти след воров, и пожелав погоне всякого успеха, мы со старшиной тронулись своим путём.

На другой день отец Никита пришёл ко мне в волость делать формальное заявление о случившейся у него покраже. Цыган он не догнал: они, должно быть, свернули куда-нибудь просёлком и этим ловким манёвром сбили своих преследователей с толку.

— А ведь это всё штуки Фомки Сухменёва, — заключил батюшка свой рассказ. — Никто, как он, подвёл «их» под моих лошадей. Работник мой говорит, что, поужинав, он вышел на улицу и видит — едут какие-то люди на двух

санях с задками — не то, говорит, барышники, не то — цыгане. «Где нам, — спрашивают работника-то, — переночевать?» Он им и говорит: направо, мол, постоялый будет. Поехали; стал он им вслед глядеть и видит, что держат они не направо, а налево... Это они, должно быть, для отвода глаз его спросили, а сами завернули к Сухменёву — он как раз налево и живёт!

— А видел кто-нибудь, что они действительно заехали к Фомке? — спрашиваю я.

— Видать хоть не видали, — да куда ж им было заворачивать налево, коли там ни одного постоялого нет?..

— Так-то так, а всё-таки это не прямая улика, что они к Фомке завернули. В этой слободе не один ведь Фомка живёт.

— Ну, да вы всегда за этих канальев заступаетесь!

— То есть как это я всегда заступаюсь?.. Что вы, отец Никита, хотите этим сказать?

— Нет, нет, это я так... А всё-таки — некому, кроме Фомки...

— Очень может быть; но то, что вы сообщаете, не может служить против него уликой; надо собрать более веские обвинения...

Отец Никита сухо распрощался, разочаровавшись найти во мне горячего союзника.

Несколько слов об отце Никите. Он может служить характерным представителем любопытного типа деревенского попа-кулака. Приход у него маленький, семья большая, а «кормиться», по его выражению, чем-нибудь да надо; вот он и промышляет чем попало: и посевы производит, и овец скупает на убой, и шерстью занимается, и пеньку не прочь приобретать; но главная его специальность — лес. Ежегодно, на казённых торгах, отец Никита покупает две или три «делянки» строевого леса, сводит его, заготовляет строительные материалы, дрова, и всё это распродаёт по мелочам, под овец, пеньку и проч., и только очень дальним покупщикам, с которыми опасно водить сложные торговые операции, — за деньги. От этих оборотов он наживает не менее чем рубль на рубль, но, несмотря на всю свою предприимчивость, он никак разбогатеть не может — ему, что называется, не везёт: года три тому назад он погорел начисто, прошлым летом ливнем с градом засекло у него сотню овец, бывших в поле на подножном корму, а теперь вот увели двух рысистых маток, из коих одна была уже жеребая от знаменитого в околодке производителя... Но чем больше несчастий постигает отца Никиту, тем жаднее к наживе он становится: глаза его беспокойно бегают по сторонам, как бы постоянно высматривая, что бы «купить-продать», живёт он, во всём себе отказывая, ходит в старом засаленном подряснике, за требы берёт неистово (до 25 рублей за свадьбу, 6 — 8 рублей за вынос и т.п.) и паству свою держит в ежовых рукавицах. В своей алчности он заходит даже за пределы скольконибудь дозволенного: так, однажды, на торгах, облюбованную им делянку леса

стал у него отбивать его же прихожанин-мужик, тоже лесопромышленник.

— Семьсот пятьдесят! — кричит о. Никита.

— Мой рубль, — не уступает мужик.

— Рубль! — накидывает отец Никита.

— Рубль! — твердит мужик.

— Рубль, рубль, рубль, рубль... — насчитывает лесничий, но ни одна из торгующих сторон не поддаётся; вогнали они таким образом делянку в девятьсот рублей. «Василий! — шепчет отец Никита, — брось, отступись!..» Но Василий ухом не ведёт и продолжает накидывать по рублю. Наконец, на тысяче ста двадцати рублях отец Никита отступился, и делянка досталась Василию. Только что победитель вышел на крыльцо, как на него накинулся побеждённый: «А, анафема, так ты против меня пошёл? Да ты забыл, кто я?.. Я тебя причастья за это лишить могу!..» «А я, — отвечает Василий, — в монастыре говеть буду...» Не помню, чем кончилась эта сценка, но знаю, что угрозу свою привесть в исполнение отец Никита не решился.

Вместе с алчностью в отце Никите прогрессивно развивалось и злобное отношение ко всем лицам, заподозренным им в устройстве ему препятствий на пути его к наживе. Достаточно было хоть раз не исполнить какой-либо его деловой просьбы, чтобы нажить себе в его лице непримиримого врага... И вот такой-то человек обратил теперь свою энергию на «искоренение» Фомки Сухменёва. Этот последний был довольно заурядным мужиком-бедняком. Лет десять тому назад он отделился от двух братьев своих после целого ряда ссор и драк при дележе, за одну из которых он был даже высечен по приговору волостного суда. Считая себя не по-божески отделённым, он увёз у братьев с поля две копны ржи, был опять судим и опять высечен; должно быть «по отчаянности» стал шибко запивать, стащил в кабаке полштофа водки, попался и был жестоко избит кабатчиком, но суду на этот раз не предан. Наконец, в прошлом году при дележке мирских лугов, будучи пьян, стал назойливо приставать к отцу Никите, чтобы тот поднёс обществу ещё четверть водки за отмежёванный ему «в уважение» кусок мирского покоса и, получив от скупого пастыря энергический отказ, обозвал его, хотя и за глаза, довольно скверно, что отцу Никите было, конечно, передано его сторонниками... Таким-то образом за Фомкой сложилась репутация пропащего, отчаянного, на всё способного человека. На грех случилось так, что после двух-трёхлетнего перерыва в селе Удольском произошло несколько покраж лошадей. Крестьяне заволновались, стали доискиваться виновного, но, по обыкновению, не доискались, а оставили в сильном подозрении нескольких человек, неугодных миру. Тем бы это дело и кончилось, как вдруг случилась новая покража, на этот раз у отца Никиты, — а отец Никита не был человеком, который пропустил бы такое дело безнаказанным. Не много надо было приложить стараний, чтобы замутить мир...

Несколько дней спустя после посещения волости отцом Никитою, Яков Иванович сообщил мне, что приехал удольский староста и зовёт его, старшину, в Удольское на сход, который будто бы порешил составить приговор о ссылке в Сибирь на поселение трёх из своих односельчан. Я, конечно, присоветовал Якову Ивановичу немедленно же ехать в Удольское, разузнать, в чём там именно дело и, по возможности, уладить возникшие недоразумения. Поздно вечером вернулся Яков Иванович:

— Ну что там? — спрашиваю его.

— Да что! Грех один!.. Решили Фомку Сухменёва, да Ивана Дятлова, да Семёна Рожнова сослать.

— За что же это?

— Вишь, подозрение на них падает в лошеводстве. Вот за это самое.

— Да ведь их не поймали? Какие ж против них доказательства?

— Поди ж ты, поговори с ними!.. Бился я с ними, бился, аж в пот ударило — ничего не берёт: стоят на своём, и шабаш... Все, как один человек, кричат: «Не надо нам их!»

— Уж не отец Никита ли тут причинен?

— Може, и он, кто его знает!.. Я ещё дела не кончал, велел на послезавтра сходку опять со двора на двор собирать, сказал, что с вами приеду приговор поверять.

На послезавтра, когда мы со старшиной приехали в Удольское, сходка была уже в сборе; толпа встретила нас, по обыкновению, молчаливым скидыванием шапок; только староста да человек пять из «знакомых» старшине мужиков, принадлежащих к сельской аристократии, толпились около нас, покуда мы раздевались в сборне. Нам делали обычные в таких случаях вопросы, мы давали обычные, сотни раз говоренные, ответы.

— Благополучно ли доехать изволили?

— Ничего, слава Богу. Дорога теперь отличная.

— Благодарить Создателя надо! Уж такая дорога, такая дорога!.. А всё-таки беспокойство вам одно... Чайку с дорожки не пожелаете ли?

— Нет, нет, благодарим покорно, не надо!

— Ах, напрасно!.. Потому как вы из наших делов такое беспокойство примаете... Мы тоже ведь понимать можем!

— Скажите-ка, что у вас тут за смута пошла?

— И-их, уж точно, что смута!.. То есть, доложить вам, и сами не поймём, на удивленье даже! То жили себе, слава Богу, чинно, благородно, а тут вдруг — и ума не приложим!..

Все эти разговоры, конечно, никакого делового значения не имели, и обе стороны, то есть и мы с старшиной, и представители удольского общества, очень хорошо это знали; поэтому, лишь только зазябшие пальцы поотошли в тёплой избе и оказались в состоянии держать карандаш, я прекратил эти ди-

пломатические тонкости и предложил всем выходить на улицу для переклички. Сход оказался полным: из 92 человек налицо было 78.

— Так как же, старички, — спрашивает старшина, — надумались, что ль, об этом деле-то?

«Старички» молчат, переминаясь с ноги на ногу; некоторые в передних рядах стоят без шапок.

— Да наденьте же шапки, господа! — говорю я.

— И то надеть, — бормочет один и, застыдившись, что он стоял без шапки, когда большинство было в шапках, быстро надевает её; прочие стараются, по возможности, незаметно проделать то же самое.

— Воля ваша, Яков Иваныч, — говорит один из аристократов, — а мы такое своё согласие имеем, как онадысь, когда поверять изволили.

— И чаго там по нескольку раз народ тревожить!.. — слышится голос из толпы. — Ведь сказано раз — сослать, чаго ж ещё?..

— Кого же вы ссылать хотите? — спрашиваю я.

— Фомку Сухменёва, Ванюху Дятлова... Рожнова Семёна! — раздаются отдельные возгласы.

— Троих?

— Точно так, троих-с! Обчество надумало так, чтобы троих, значит...

— За что же вы их сослать хотите? В чём они перед вами провинились?

— Очень уж беспокойно стало, житья просто нет! Ныньче — у соседа увели, завтра — у меня уведут! Раззор, да и только!.. Их пужануть надо, може, и другие, на них глядючи, поугомонятся!.. — раздаются из толпы замечания, преимущественно из передних рядов.

— Но есть ли у вас доказательства, улики, что в этих делах виноваты именно эти трое? Может быть, вы только подозреваете их!

— Это точно-с, подозреваем!.. Потому нешто в законах сказано, что воровать дозволено, особливо лошадей уводить? Ведь этак сам сбежишь, не то что в Сибирь, а хоть куда хошь!..

— Всё это так, но верно ли вы знаете, что лошадей увели именно Фомка с Ванюхой и с Семёном?..

— Кому ж, окромя них? Более некому!.. Потому и допреж они на заметке у нас были...

Я открываю штрафной журнал и ищу, значатся ли в нём за ссылаемыми какие-нибудь старые прегрешения. Проступки Сухменёва уже объяснены выше; за Иваном Дятловым значится только один грех — он был несколько лет тому назад подвергнут аресту за пьянство и оскорбление в пьяном виде сельского старосты; Семён же Рожнов ни разу ещё не был внесён в штрафной список. Я сообщаю обо всём этом сходу.

— Да нешто до волости всё доходит? — раздались голоса. — Нам-то на

миру все их штуки оченно хорошо известны!.. Кто с Фомкой полштоф с полки в кабаке стащить хотел?..

— Братцы, я сильно хмелен был!.. — оправдывается Рожнов.

— Ладно, хмелен!.. Этак всякий напьётся да полуштофы таскать зачнёт!.. Опять, с порубкой в мирском ольшатнике кто попался?..

— Православные, да нешто ж я один? Почитай, кажинную сходку с когонибудь за порубку пьём, так чего ж мне одному этим делом в нос тыкать?..

Препирательства грозят перейти в бесконечную всеобщую перебранку, в которой наиболее энергичное участие примут все попадавшиеся с порубками; из всего этого ждать добра нечего, и я стараюсь вновь поставить вопрос на настоящую почву. Я подзываю к себе ссылаемых и потихоньку советую просить пощады у мира, причём обещать никакого беспокойства миру впредь не причинять.

— Нет уж, господин писарь, увольте нас от этого! Кабы в чём причинны были, то разговор бы другой был, а то — вот как на духу говорим — ни вот эстолько нашего тут дела нет!.. Чего ж нам зря кланяться? Пущай их воля теперь будет; а мы настоящего закона искать будем, коли ежели вы нам защиты не дадите...

Так говорил Семён, и прочие двое поддакивали ему: «Воля Ваша, а мы не желаем...» Их решительный отказ кланяться миру заставил меня призадуматься: или они уж очень ловкий народ, или же действительно невинны в этом деле. Невольно припомнилась мне другая подобного рода сцена, но с действующими лицами иного характера.

Перед зданием волостного правления стоит толпа в полтораста человек: это созван волостной сход для рассмотрения приговора Кузьминского сельского общества* «о предании в руки правительства крестьянина Григория Седова, пойманного с поличным и уличённого в конокрадстве». Седов уже привлечён к судебному следствию; улики против него неотразимы, и он, наверное, будет присуждён к арестантским ротам. Ввиду этого я стараюсь разъяснить сходу, что приговор о ссылке его совершенно излишен и причинит лишь массу хлопот и что по окончании срока заключения Седова общество будет непременно опрошено, желает ли оно принять его обратно в свою среду, или же он должен быть сослан на поселение? Тогда, говорил я, всё равно придётся составлять приговор «о неприёме», а теперь все хлопоты преждевременны и ни к чему не ведут. Но сход не верит моим словам, не доверяет и суду и хочет теперь же решить дело: больно уж злы все на конокрадов... Решительная минута настала; старшина «сгоняет» всех выборных к одной стороне; толпа стоит сумрачно, стараясь не глядеть на Седова и жену его, ползающих перед миром на коленях. — «Старики! Кто Григория жалеет, — оставайся на месте, а кто

---

* В нём менее 300 ревизских душ, а такие общества должны представлять свои приговоры о ссылке на поселение на утверждение волостному сходу.

не прощает — отходи направо!» — выкрикивает старшина. Дрогнула толпа, колыхнулась — и замерла на месте: никто не решался первым сделать роковой шаг... Григорий лихорадочно перебегал глазами по лицам своих судей, стараясь прочесть на них жалость к нему; жена его глухо рыдала, припав лицом к земле; возле неё, засунув пальцы в рот и собираясь зареветь благим матом, стоял трехгодовалый мальчуган (дома у Григория осталось ещё четверо детей)... Но вот от толпы отделяется один мужик, у которого года два тому назад уведена была кем-то лошадь. «Чаго нам жалеть!.. А он нас жалел?» — говорит старик и, насупившись, решительными шагами переходит на правую сторону. — «И то правда, — худую траву с поля долой», — говорит ещё один из толпы и следует за стариком... Начало было сделано: первые — поодиночке, а потом уже целыми кучками стали переходить выборные на правую сторону. Осуждаемый общественным мнением колотился головой о землю, бил себя кулаками в грудь, хватал шедших мимо него за полы, кричал: «Иван Тимофеич!.. Дядя Лександра!.. Васинька, милый куманёк!.. Погодите, родные, дайте слово сказать!.. Петрушенька!».. Но, не останавливаясь, с суровыми лицами, обходили миряне слева и справа группу ползавших у ног их несчастливцев... Наконец, затихли вопли Григория, около него на 3 сажени вокруг было пустое место, некого стало просить: все выборные, за исключением одного, родного дяди ссылаемого, оказались перешедшими направо. Баба тоскливо рыдала, а Григорий замер на коленях, опустив голову и тупо глядя в землю...

Вот именно эта сцена припомнилась мне, когда я услышал от удольских опальных решительный отказ просить мир о помиловании. Возможность в данном случае ошибки со стороны мира становилась для меня всё очевиднее: никаких прямых улик против обвиняемых в краже лошадей не было (по произведённому полицейскому дознанию не оказалось даже возможным привлечь их к судебному следствию), прежние же мелкие сравнительно проступки их никакой активной роли в этом происшествии не играли, и если о них упоминалось на сходе, если их выставляли на вид, то только с целью охарактеризовать ссылаемых в глазах закона — в данном случае нас со старшиною, в глазах же самих крестьян все эти проступки имели сами по себе лишь очень небольшое значение. Последствия показали, что удольские крестьяне подняли вопрос о ссылке преимущественно под влиянием панического страха («вот-вот и у меня уведут лошадь»), хотя не без влияния оказался и другой фактор, о котором речь будет ниже. Крестьяне сознавали, что невозможно сидеть сложа руки ввиду грозящей беды, что надо же чем-нибудь оградить себя от страшной опасности остаться без лошади (это влечёт за собой, в иных случаях, полное разорение), и вместе с тем решительно не знали, что им предпринять. Самое простое, всегда имеющееся у мужиков под руками средство — это навести страх на лихих людей, поучить кого-нибудь так, чтобы и другим не повадно было... Страх есть господствующий элемент в крестьянской жизни: религия и

земные власти действуют на мужика страхом, таинственные явления природы, могущие пустить его по миру (град, ливень, гроза, засуха и пр.), заставляют его пребывать в постоянном трепете; не мудрено, что мужик, испытав на себе воспитательное значение страха, научается действовать, в случае нужды, на других преимущественно страхом же. И в данном случае, устрашась грядущей беды, мир прибег к обычному в этих случаях средству — устрашению и с своей стороны... В некоторых случаях подобного рода происходят сцены дикого самоуправства, когда подозреваемого (иногда улик не бывает, да и быть не может, как, например, в делах по обвинению в колдовстве) в каком-нибудь деянии, наводящем страх на окружающих (например, колдовство, поджог, конокрадство и пр.), «доходят своими средствами» — бьют, калечат, убивают и жгут; в других случаях дела получают более законный исход: обвиняемых дерут, сажают в «холодную» или ссылают на поселение; последние решения имеют место обыкновенно лишь тогда, когда со стороны начальствующих лиц встречается содействие исполнению мирской воли — проучить кого-нибудь. С большою вероятностью можно предположить, что в данном случае лишь очень немного удольских общественников было твёрдо уверено в виновности ссылаемых лиц: большинство же, вероятно, рассуждало так: «Кто их знает, може, они, а може, и не они: во всяком разе, острастку им дать не мешает»... Под словом «им» подразумевались не одни ссылаемые, а вообще лиходеи. Теперь возникает сам собою вопрос, почему же именно Фома, Иван и Семён, а не кто-либо другой остановил на себе внимание общества, как человек, способный на конокрадство? Кажется, причиной этому отчасти является «неугодность» этих лиц миру, их ненормальное положение в обществе... В самом деле, Фома у всех был на примете как человек буйный и пьяница, Иван — просто как пьяница, а Семён — как малый бесхозяйный, сирота, собственного хозяйства не ведущий и проживающий обыкновенно на соседнем винном заводе в качестве рабочего; наконец, все они вместе были очень дружны между собою, составляли «свою компанию», заседая во всех окрестных кабаках. «Немудрено, — думалось миру, — что они спьяну и снюхались с цыганами»... Но нельзя отрицать и того обстоятельства, что первый почин в обвинении, исходивший от отца Никиты, мог иметь сильное значение в этом деле: покуда мир ещё колебался, кому приписать эти кражи, отец Никита уж указал на трёх человек, обвинил их в знакомстве с цыганами («работник видел»), припомнил их непутёвую жизнь, обиды, лично ему нанесённые Фомой и пр. Из сети мелких обвинений создалось то, что называется общественным мнением; желание произвести острастку стало особенно интенсивным, — и вот три человека уже на пути к поселению... Воспрепятствовать мирскому решению было трудно, а главное — опасно для ссылаемых. Возбуждённое состояние общества должно было непременно разрешиться кризисом: или приговором, или, пожалуй, самосудом; доводить же до последнего было бы уж окончательно скверно.

— Так как же, господа старички, надумались, что ль?

— Не надо нам их, все желаем...Троих... — загремел сход.

Попытка указать на предстоящие по ссылке расходы также не привела ни к чему, обществу было известно, что эти расходы падают, согласно существующему уже много лет волостному приговору, на всю волость и что платеж с душ будет поэтому незначителен. Пришлось приступить к голосованию: в результате оказалось 73 голоса за ссылку и 2 против ссылки — зятя Дятлова и дяди Рожнова. Прочие родственники ссылаемых сочли за лучшее от голосования воздержаться, т.е. попросту на сходку не приходить и таким образом избегнуть дилеммы — или миру перечить, или на свою кровь руку подымать; в последнем случае сами миряне осудили бы их.

Делать нечего, приходилось «оформливать» приговор.

— Фома Сухменёв! Сколько лет?.. Женат?.. Как звать жену? и т.д... Семён Рожнов! Сколько лет?..

— Двадцать первый.

— Как так? На призыве ещё не был?

— В нонешнем году, надо быть, позовут.

— Господа старички! — восклицаю я, обрадовавшись встретившемуся «законному препятствию», — ведь Семёна-то по закону нельзя ссылать: ему ещё 21 года нет, а таких ссылать не полагается.

Сход недоумевает. Но по привычке искать в каждом действии, в каждом слове начальства заднюю мысль «старички» недоверчиво относятся к внезапно объявившемуся «законному препятствию» и раздумывают, нет ли тут подвоха какого. В эту критическую минуту торопливыми шагами подходит к нам запыхавшийся отец Никита; мужики расступаются перед ним, большинство снимает шапки и кланяется. Отец Никита отрывисто говорит им: «Здорово, здорово», торопливо благословляет старосту, двух-трёх стоящих вблизи «благомыслящих» прихожан и начинает мне и старшине жать руки.

— А я, знаете, в Киселёвку ездил — с Ивана Парамонова должок получать... Вот он, нонешний народец какой! С заговенья не отдаёт 11 рублей, и шабаш! Строился он и купил у меня леску... Да об этом деле я с вами после посоветоваться хотел... Да, так приезжаю, а мне попадья и говорит: а ведь волостные давно на сходе. Ну, я скорей сюда... Чайку ко мне напиться после дела? Я и самоварчик заказал попадье...

— Покорнейше благодарю вас за любезное приглашение, отец Никита, но вряд ли мы с Яков Иванычем будем иметь возможность воспользоваться им, — говорю я, а сам поглядываю на старшину, чтоб он смекнул, в чём дело. — Нас в волости сегодня народ ждёт.

— Да, батюшка, в другой уж, видно, раз как-нибудь, — говорит и Яков Иваныч, но не без сожаления о пропавшем чаепитии: лично он не понимает, почему бы это и не побаловаться чайком, но супротив меня говорить не решается.

— А-ах, какие вы... Ну, подождут — эка важность!..

— Подождут-то подождут, а всё-таки, знаете, не порядок это... Нет, уж до другого разу, отец Никита.

— И несговорчивые вы, право!.. А чем у вас тут дело кончается?

— Да вот, кой о чём всё толкуем... Так слышали, старички, Семёна нельзя ссылать?

— Слышали, как не слыхать!.. Известно, вам виднее, как там в законах сказано...

— Это вы, Н. М., насчёт Сеньки? — с азартом вступается духовный пастырь. — Чего вы его, мошенника, жалеете?..

— Я ещё мошенником не бывал, — говорит Семён в полуоборот.

— Ска-ажите, пожалуйста, он ещё кочевряжится!.. А кто у меня лошадей...

— Отец Никита, покорнейше просим вас прекратить этот разговор! Здесь не место для личных препирательств.

— Да, вот оно что!.. Мне и слова сказать нельзя, а за конокрадов заступаетесь?.. Прекрасно, прекрасно!

— Яков Иваныч! Предложи отцу Никите прекратить свои неприличные замечания.

— Батюшка, сделайте милость, уж покорнейше прошу вас! Уж вы нас извините... Потому как мы своим делом заняты, и Н. М. оченно прекрасно все законы знают..

— Это ещё вилами на воде писано — знает он законы или не законы... Не слыхал я что-то, чтобы такой закон был — конокрадов покрывать!..

Меня возмутили эти двусмысленные намёки, и, чтобы покончить с этими препирательствами, ронявшими нас в мнении мирян, я сказал:

— Если вы, отец Никита, не прекратите своих замечаний, то я буду принужден указать г. старшине на необходимость составления акта о вмешательстве вашем в мирские дела...

При таком обороте дела отец Никита счёл за лучшее спор прекратить; он отступил и делал только вполголоса какие-то замечания нескольким стоявшим вблизи его мужиков; те принуждённо поддакивали ему, но, поддакивая, один за одним незаметно поразошлись, и отец Никита остался один. Таким образом, сражение было выиграно, и авторитет отца Никиты значительно поколеблен в глазах схода.

Благодаря этому обстоятельству я как законник намного вырос в глазах схода, слова мои получили больший вес и мне уже без большого труда удалось уговорить крестьян отказаться от ссылки Рожнова и Дятлова; один только Фома, подобно козлу отпущения, был обречён на жертву... Как это всегда делается, тут же постановлено было сходом — посадить Фому немедленно в арестантскую: ссылаемых вообще боятся, как бы они из мести не подпу-

стили «красного петуха» или не отмстили каким-либо другим образом своим судьям-односельцам в период времени между постановкой приговора о ссылке и приведением его в исполнение. Тотчас же была снаряжена подвода, и Фома в сопровождении сотского отправился в волостное правление, где имелась арестантская. Я наблюдал за ним во время его отправки: он был наружно спокоен, тщательно укладывал в сани мешочек с хлебом, на односельчан своих не смотрел и отрывочно говорил что-то своему старшему сыну, с неделю лишь вернувшемуся с военной службы в запас. Сход соблюдал тишину; многие тихонько уходили по домам, прочие старались не глядеть на Фому и приискивали себе какое-нибудь занятие: оправляли кушаки, тыкали бадигами в начинавший уже таять снег, шептались друг с другом о посторонних вещах... Сноха Сухменёва негромко хныкала, как бы исполняя какой-то обряд. Наконец, сани с Фомой тронулись, он скинул шапку, перекрестился несколько раз на церковь и крикнул «миру»: «Спасибо, православные!»... Лошадь пошла шибче, и, что он говорил дальше, я разобрать не мог. Вслед за ним тронулись и мы, отказавшись от приглашения старосты и кабатчика «побаловаться на дорожку чайком».

Грустная вся эта история!.. Только твёрдое моё намерение не скрывать ни хорошего, ни дурного из того, что я узнал о тысячной доле русского народа, жительствующего в одном уголке —ского уезда, заставляет меня передавать эти факты. Грустно, что экономические условия создали людей, не останавливающихся перед уводом последней лошади у пахаря; грустно, что эти пахари, ослепнув от страха и злобы, иногда обрушиваются гневом своим на неповинных людей; но что всего грустнее, это что гнев их, справедливый или несправедливый, это в данном случае не имеет особенного значения, — может быть утешен... хотя бы двумя вёдрами водки!.. Должен признаться: я решительно не могу себе представать, до чего ещё может дойти в будущем слабость к водке сельских сходов?.. Кажется, дальше идти некуда, ибо и теперь уже делаются невероятные вещи. Я отнюдь не говорю, что крестьяне поголовно пьяницы, если под словом «пьяница» разуметь человека или постоянно, или большую часть дней в году пьяного; нет, таких в крестьянском миру очень мало: один, два на сотню; наоборот, человек 8, даже 10 на сотню найдётся совсем не пьющих вина. Зато все остальные, принужденные по недостатку средств пить изредка, лишь по особо выдающимся случаям, раз 15 — 20 в году, не пропускают уж ни одного удобного случая выпить, и даже не только выпить, а прямо напиться. Разум у крестьян при виде водки как бы перестаёт действовать, и в тем большей степени, чем их большее количество собрано вместе. Каждый из них порознь, за малыми исключениями, ещё может отказаться от водки, предлагаемой за какое-нибудь грязное дело; тоже и по двое, пожалуй, и по трое; но если собралась толпа, то стремление находящихся в числе её единичных коренных пьяниц дорваться до водки какою бы то ни было ценою как бы электрическим током передаётся всему сходу; желание выпить в компании,

поразнообразить бесшбашной гульбой свою вечно серую, будничную жизнь заговаривает с особою силою, и сход делает невероятные вещи: отдает за бесценок мирскую землю, пропивает чужой стан колёс, закабаляется за грош на многие годы, обездоливает правую из числа двух спорящих сторон, прощает крупную растрату мошеннику-старосте, ссылает невинного односельца на поселение, принимает заведомого вора обратно в общество и т.д., и т.п.* Мне ка-

* Чтобы не быть голословным, сошлюсь на перепечатанный в одной московской газете из «Зари» приговор некоего сельского общества следующего содержания: «1885 г., февраля 5-го дня, общество крестьян села Катюрженец Чернелевецкой волости Старо-Константиновского уезда Волынской губернии, состоящее из 107 наличных домохозяев, имеющих право голоса, собравшись в числе 75 домохозяев на полный сельский сход, где, между прочим, имели рассуждение о тяжбе, заведённой с помещиком своим с. Катюрженец Д., и пришли к убеждению совести, не только некоторые, но даже всё без исключения целое общество, что 3 января 1884 г. мы составили приговор о выселении из нашего села Пейсаха Работника и тем оклеветали его до самого нельзя, но всё это несправедливо, и к тому нас подговорил помещик Д. посредством попойки и обещанием письменным, если прогоним Пейсаха Работника, то за то будет платить жалованье нашему учителю, дал в залог 150 руб., что аккуратно построит нам корчму, также обещал помочь бедным займом денег, а когда только успели выселить Работника, то помещик Д. от всего отказался, даже выманил залоговые 150 р. И корчмы не окончил, так что вынуждены были предъявить иск к нему. Приговор на Работника написан по подговору нас помещиком; мы при всей натяжке имели в виду, что Работник — не вредный человек, семейный, из 8 душ, и имеет разное имущество; чтобы его не разорять, просили выселить его в его общество м. Кульчины Старо-Константиновского уезда, а нам положительно неизвестно, откуда и от кого явилась просьба к господину генерал-губернатору о воспрещении Работнику проживать в пределах всей Волынской, а также и Подольской губернии, и таким образом Работник выселился в Киевскую губернию, оставив почти всё своё имущество в с. Катюрженцах, которое частями продаётся, а большею частию уничтожается. При таких обстоятельствах целое общество тронула совесть, и мы не желаем иметь такого тяжкого греха на душе, чистосердечно признаём, что безвинно оклеветали честного человека и разорили семейство из 8 душ со всем имуществом. Сознаём перед Богом и начальством свой грех и не можем себе простить и выдержать и так ещё, что грех этот беспрерывно нас мучит, ибо когда мы пойдём в нашу святую церковь или пройдя мимо неё, является на ум Пейсах Работник. Церковь наша требовала непременно починки; мы бедные люди, не имеем на то средств, а Работник нам дал тысячу рублей на выплат через 8 лет почти без корысти и, таким образом, привели церковь в блестящий вид; что же мы сделали за такое добродеяние? Отомстили человеку разорением его до бесконечности и как же тут не каяться?».

Прочтя этот замечательный документ, я решительно не знал, чему больше удивляться: лёгкости ли, с которой удалось сослать человека, плате ли, полученной за его ссылку (жалованье учителю и постройку корчмы), позднему ли раскаянию общества, случившемуся притом лишь тогда, когда помещик Д. обманул мир?.. А если бы не обманул, то и «святая церковь», приведённая на деньги сосланного «в блестящий вид», не «тронула бы совести» прихожан своих?.. Должен признаться, что у меня, при чтении, промелькнула даже мысль — не придётся ли обществу с. Катюрженец раскаяться впоследствии в составлении и второго приговора? Чего доброго, окажется, что по проискам Работника, сосланного поделом, оклеветан ныне в этом приговоре Д.?.. Вообще, этим приговором столько раскрывается гнусностей, что хотелось бы не верить в существование подобного рода позорного для русского народа документа.

жется, что дело обстоит именно так: пассивное нежелание большинства делать глупое или грязное дело побеждается страстным порывом к выпивке наиболее слабых к вину лиц; интенсивное стремление некоторых увлекает всех. Но вот водка выпита, хмельные головы протрезвились спустя некоторое время, влияние наиболее страстных личностей перестало действовать на пассивное большинство, и опросите тогда каждого из бывших на сходе, как это они за несколько шкаликов водки сделали такую гнусность? Почти все дадут один и тот же ответ, и ответ совершенно искренний: «Да нешто это я? Я ни Боже мой, ни в жисть на такое дело сам не пошёл бы, а обчество... А супротив обчества что ж поделаешь?». Довольно утвердительно можно сказать, что не более 5% из опрошенных таким образом будут с о з н а т е л ь н о защищать и отстаивать совершённое ими вчера гнусное дело... Переспросите остальные 95% ещё раз, зачем же они пили водку, выставленную за скверное дело, если они понимали, что это дело скверно, и каждый из них скажет:«Да мне что? Да пропади она пропадом, эта водка, — словно я её не видал никогда! А так — вижу, что все пьют, так мне чего ж не пить?..». Тут каждый прячется за в с е х ; выходит, будто каждый пил только потому, что пили все... Решительно, как маленькие дети, напроказившие вместе, но потом сворачивающие беду друг на друга, причём, в конце концов, выходит, что лампа сама разбилась или что собака сама себя ударила палкой... Я не решаюсь давать окончательного объяснения вышеуказанной особенности мирского пьянства, ибо думаю, что решать этот вопрос — почему честные люди, будучи в сообществе с потерявшими нравственное чутьё пьяницами, не могут противостоять им в желании «спить» с кого-нибудь под каким бы то ни было предлогом — в состоянии только человек, обладающий значительными познаниями в области психологии; мне кажется, что тут должно быть взвешено и оценено душевное состояние каждого из действующих лиц, причём должны быть приняты во внимание все факторы, могущие иметь влияние на это состояние. Признаюсь, что такая сложная работа мне не под силу.

Возвращаюсь теперь к предмету, заставившему меня коснуться мало известных мне законов психологии. Я буду, по возможности, краток, чтобы каким-нибудь лишним словом не усугубить и без того тяжёлого впечатления, которое должно произвести на читателя это повествование... Казалось бы так: Фома был приговорён к ссылке или правильно, или неправильно; в первом случае он мог бы быть прощён, если б общество, например, разжалобилось судьбой его семьи и т.п.; во втором — если б общество заметило вовремя свою ошибку. Таким образом, водка ни в том, ни в другом случае никакой роли играть не должна бы. Между тем, дней через пять после описанного происшествия, когда приговор о ссылке ещё не был подписан грамотными и волостной старшина ещё не засвидетельствовал его, является в волость вместе со старостой сын Фомы, солдат, и просит выпустить его отца из арестантской, так как

«общество простило его»; староста подтверждает его слова и с своей стороны просит никакого дальнейшего хода приговору о ссылке не давать, ибо «общество раздумало»... Я стал расспрашивать солдата, каким способом он добился прощения отца. Вот его подлинный ответ:

— Какими способами? Известно — поставил два ведра, вот-те и вся недолга!..

Старшина, поехавший, из предосторожности, опросить сход на месте, действительно ли он изменил свое решение относительно Фомы Сухменёва, также подтвердил справедливость слов солдата. Фому выпустили из арестантской, и он поныне благоденствует среди своих односельцев, выпивших с нёго за освобождение два ведра водки, а перед тем, до его заточения, распивших несколько четвертей от отца Никиты... за хлопоты по розыску конокрадов, столь жестоко его обидевших...

XIX

Середина апреля месяца; погода для сева стоит самая благоприятная; мужики дорожат каждым днём, ибо у нас очень важно производить яровые посевы вовремя, когда почва ещё сохраняет некоторую влажность. Молодым росткам необходимо укрепиться в влажной земле настолько, чтобы злодейка засуха, очень часто посещающая нашу местность не только в июне, а даже в мае месяце, не погубила их, ещё нежных и не способных выдерживать палящие лучи солнца; поэтому-то ранний сев, апрельский, считается в описываемой мною местности наилучшим, и понятно, с каким неудовольствием собирались в одно прекрасное апрельское утро выборные «пятидворные» Кочетовской волости на волостной сход. Хотя и был воскресный день (мы со старшиной, конечно, и не подумали бы собирать сход в будни), но мужики всё-таки роптали за причинённое им беспокойство: надо бы дать лошади вздохнуть, да и самому бы не мешало выспаться хорошенько перед завтрашней пахотой и дать отдых наболевшим членам измученного за неделю работы тела, а тут — изволь ехать за пять, за десять вёрст в волость, не знамо зачем, не ведомо про что. Некоторые из бедняков выборных, жалея своих надорванных лошадей, предпочли утрудить свои собственные ноги, благо они не купленные и ремонта не требуют — попросту сказать, пришли на сход пешком. Народу собралось немного: едва-едва хватало до законного для открытия схода количества голосов. Всех интересовал вопрос, для чего это в необычную пору года сход согнали?

— Н. М.! Да скажи ты нам, по какому это делу нас потревожили? — решились обратиться ко мне двое мужиков, войдя в канцелярию. — Господи Боже наш! Теперь самая пахота, завтра чуть свет в поле выезжать надо, а тут за двенадцать вёрст тащись в волость ни весть про што!..

— Не моя в том вина, господа! Начальство только на этих днях прислало бумагу, чтобы беспременно в двухнедельный срок приговор составить.

— Это что и говорить! Ваше дело, известно, подневольное, писарское; что скажут, то и исполняй... А о чём дело-то будет?

— В мае месяце гласных[58] в земство выбирать надо от крестьян; в Демьяновском будет съезд, так нам от своей волости надо выборщиков на этот самый съезд назначить.

— Так за эвтим только делом и тревожили?

— Только за этим.

— Ну, и дела!.. Да вы бы сами назначили!..

В сотый раз приходится объяснять, что ни судей, ни десятских, ни выборных назначать своей властью мы со старшиной не можем.

— А это что ж такие за гласные? Это которые в судейной палате ристантов судят?.. — спрашивает вполголоса один мужик другого.

— Молчи, дурья голова, не бреши! Чай, это присяжные, потому они присягу приймают... Я летось ходил в присяжных, так очень хорошо тебе все эти порядки изъяснить могу.

— Врё?.. Аль взаправду ходил? И судил ристантов?..

— Судил, вот те хрест! Да нешто ж у вас на хуторе не слыхать было?

— Где нам слыхать! Живём мы на отшибе, народу нас не много, в волости по разу в год, може, бываем...

— Так, так, это что и говорить... Вот я и говорю, что это присяжные, а то — гласные.

— Каки ж таки гласные?..

— Гласные-то?.. А вот на святках в трахтире старшина Яков Иваныч о них гуторил, — он в этих самых гласных ходит который уж год!.. С господами будто в одной комнате сидят и слухают, как они дела решают...

— Что ж это за дела такия?.. Чудно чтой-то, братец ты мой!

— Они уж там знают, каки!.. Да вот, Н. М. опять нешто потревожить?..

Я лишь притворялся занятым, а сам со вниманием слушал заинтересовавший меня разговор мужика из большого села с мужиком из маленького хутора. Видя, что беседовавшие окончательно не решаются меня тревожить и не желая упускать удобного случая распространить в массе более верные сведения об обязанностях и правах гласных, я остановил приятелей, уже собравшихся было идти в трактир, и рассказал им, что такое гласный; при этом я обещал и всему сходу, когда он соберётся, рассказать о земстве, о земских собраниях, об управе и проч. Я так и сделал. Сход с большою охотою стал слушать мою немудрую лекцию о земстве; не знаю, был ли я вполне понят всеми выборными, но что все слушали меня с нескрываемым интересом — это было очевидно. Думается, что слова мои не прошли вовсе бесследно; по крайней мере, ропот на то, что тревожат народ в рабочую пору

из-за нестоящих внимания пустяков, что выборщиков можно бы назначить и без созыва волостного схода, — ропот этот, явственно слышный до начала моей речи, после её уже больше не слышался, и пятидворные довольно охотно приступили к назначению выборщиков, имеющих явиться на съезд. Впрочем, происшедшие выборы ничем не отличались от обычных выборов судей, «пятидворных» и проч.: интересующиеся общественными делами «Парфёны» выбрали самих себя, — конечно, с полного согласия и одобрения своих односельцев в надежде поживиться чем-нибудь на съезде, деньгами ли, водкой ли; рядовые мужики, т.е. которые от общественных дел поживы себе не видят и считают всякую общественную службу за натуральную повинность, — те были очень рады оказавшимся добровольцам, ибо с них, рядовых, снималась этим самым часть натуральной повинности, оставшиеся незамещёнными вакансии на должности выборщиков были разложены по сельским обществам пропорционально числу их ревизских душ, а там пошли обычные препирательства об очередях, стали конаться на кнутовищах и орясинах, выпрашивать у старосты рублёвку-другую на харчи из мирских сумм — словом, произведены были манипуляции, о которых я уже говорил выше. Как-никак, а полный комплект выборщиков, не долженствующий, по закону, превышать одной трети общего числа лиц, имеющих право голоса на волостном сходе, был составлен, список избранных написан мною, а им самим было приказано явиться на 20 мая в село Демьяновское к 10 часам утра.

XX

Ежемесячно десятого числа все комнаты здания, принадлежащего —скому земству, наполняются самой разнохарактерной, многочисленной публикой. В этом здании, приобретённом земством несколько лет тому назад, нашли себе приют, кроме уездной управы, ещё несколько уездных учреждений, как-то: присутствия по крестьянским делам и по воинским делам, дворянская опека, училищный совет и съезд мировых судей; здесь же имеется помещение для арестуемых по приговорам мировых судей. Еще предместником нынешнего предводителя дворянства, Столбикова, до сих пор памятным в уезде покойным Сафоновым, совмещавшим в себе должности председателя уездной управы и предводителя дворянства, было заведено, что старшины и писаря всех волостей уезда должны были раз в месяц, десятого числа, являться в те апартаменты, где в трогательном единении сливались крестьянское присутствие с уездной управой, где не только два председателя совмещались в одном лице, но и секретарь уездной управы то пребывал таковым, то оказывался секретарём крестьянского присутствия, то воинского, а то самому себе, как секретарю управы, представлял от себя, как смотрителя над арестованными

по приговорам мировых судей, рапорт о количестве потреблённого этими последними хлеба или о числе требующих ремонта холщовых портов. На одном из столов, скажем, № 1, велась «исходящая» книга, в которую записывалось, например, отношение уездной управы в одно из присутствий: бумага эта за подписью председателя Сафонова и секретаря К. передавалась на другой стол (№ 2), где записывалась во «входящую» книгу; тот же Сафонов клал на ней соответствущую резолюцию (согласие с ней прочих членов присутствия само собой подразумевалось), и ответная бумага за подписью тех же С. и К. благополучно прибывала в стол № 1. Таким образом, все дела, касавшиеся управы или присутствий, опек или советов, решались быстро и аккуратно; пикировок между этими учреждениями никогда не происходило, что, конечно, тоже благотворно отражалось на многосторонней деятельности их... Лицо, стоявшее во главе всех этих учреждений, имело огромный вес в уезде; все и вся перед ним, если не трепетало, то во всяком случае преклонялось; старшины и писаря были как шёлковые, ибо Сафонов «сокращал» их в срок, гораздо меньший двадцатичетырёхчасового: власть его была так велика, что он мог «доехать» даже исправника, если б того захотел; понятно, что волостные чины наслаждались жизнью лишь постольку, поскольку это входило в виды всесильного начальника. Именно им, для своего удобства, и было введено за правило, чтобы раз в месяц все писаря и старшины являлись в... право, не знаю как сказать, — в управу или в присутствие, лучше скажу — чтобы являлись пред начальнические очи. В эти дни выдавались старшинам деньги для передачи земским фельдшерам, учителям и проч.; в эти дни разбирались жалобы; тогда же приходили крестьяне с разного рода изустными просьбами, уверенные, что они всякое начальство найдут в сборе; сюда же забегал судебный пристав, чтобы повидаться с нужным ему старшиной, агент земского страхования, письмоводитель судебного следователя и проч., и проч. Словом, одновременный съезд волостных был далеко не бесполезен, ибо им значительно сокращалась канцелярская переписка: многое — и приказы, и донесения — передавалось изустно. Волостные, просидев несколько часов к канцелярии управы и в комнатке для сторожей, потолкавшись у дверей залы заседания уездного присутствия, отправлялись вечером того же дня по домам, толкуя о тех из своих сотоварищей, которые получили в этот раз возмездие за свои прегрешения вольные и невольные (арест — для старшины, штраф — для писаря); на каком основании и по какой статье какого тома законов налагались (и теперь налагаются) штрафы на писарей — неизвестно, но я должен отметить тот факт, что, несмотря на всю строгость Сафонова, он пользовался большою популярностью между волостными, и, сравнивая порядки, бывшие при нём, с порядками, заведёнными Столбиковым, многие и многие с сожалением вспоминали о прежних временах. Рискуя сильно отклониться в сторону, я попытаюсь, однако, охарактеризовать этого замечательного, в своем роде, земско-дворянского деятеля, с тем чтобы

к нему больше не возвращаться. Вот что рассказывал мне один из старшин, служивший несколько лет при Сафонове: «Строгий он был начальник, что и говорить, — да тем был хорош, что наши мужицкие распорядки знал и нужду мужицкую понимал. Куда нонешним супротив него тягаться!.. Бывало, вызовет к себе: «Григорий, — говорит, — вот мне Борщёв, ваш помещик, жаловался, что крестьяне парину[59] его травят скотом, просил взыск на них наложить; ну, я ему обещал, лишь бы отвязался, — их, знаешь, тоже ублажать надо, они это любят; сделать — не сделай, а не отказывай вовсе... Теперь я думаю, что ж с мужиков взять? Я ведь их выгона знаю; куда они свою скотину денут, коли он им парины не даст? Ни на печь же коров посадишь!.. Ты им скажи, чтоб они повеликатнее там жили, а я этого дела поднимать не буду». Так и отпустит, да еще накормить велит, коли к себе в имение вызывал... А то раз в присутствии собрал всех нас, старшин, и такую речь повёл: «Вот теперь новое начальство у вас проявилось, — урядниками зовутся. Слыхал я, что эти самые урядники к вам придираются, мужиков прижимают, а сами только чаи в трактирах распивают. А вы этому начальству в зубы не глядите! У вас один начальник — я!.. Пришёл в волость урядник или хушь становой, спросил там, что ему нужно, — вы ему честь-честью расскажите всё, как надо, справку дайте; а там — с Богом по морозцу: нечего ему в волости прохлаждаться, не над кем куражиться; в волости вы начальники, а не полиция... Артачиться будут, вон их гоните, в зубы им не глядите!.. Да силы им не давайте над собой взять! Ох, пропадёт Россея, если полиция силу возьмёт!.. Слышите, старшины, не давайтесь полиции! Как чуть что, сейчас мне всё, как на духу, говорите!..» Так-то он разговаривает, а тут же о бок с ним господин исправник сидит — и ни гу-гу... Вот какой был покойник-то!»

Этот же Сафонов, когда отпускал своих крестьян на волю, захотел их переселить на другое усадебное место. Он указывал им на выгоды, имеющие произойти от такого переселения: дворы их будут находиться как раз в центре надельной их земли, никаких штрафов за потравы они поэтому платить не будут, вода будет иметься под боком и т.п.; он давал крестьянам полный надел, известную сумму на переселение и некоторое количество лесу и соломы на стройку. Крестьяне его были довольно-таки своевольный народ; он сам их обучил при крепостном праве никого не бояться, кроме его самого, а раз его власть была манифестом уничтожена, то мужики и возомнили, что им, по новому положению, сам чёрт не брат... Сафонов вообще любил, чтобы его подданные жили сытно: чуть только, бывало, заметит, что чьё-нибудь хозяйство приходит в упадок, тотчас же начнёт дознаваться. где кроется причина обеднения; если таковая оказывалась уважительной, то Сафонов давал мужику средства справиться: снимал тягло, дарил корову или лошадь; но если оказывалось, что обеднение происходило по дурости или пьянству домохозяина, то порол его на конюшне жестоко... Любил он также, чтобы мужики его одевались хо-

рошо, чтобы по праздникам на всех, по возможности, были сапоги, кумачовые рубахи и плисовые шаровары; каким путём добывалась эта роскошь, он не допытывался. Нередко он говаривал: «Воруй, да не попадайся»; и действительно, если у него самого уворовывали что-нибудь, но так, что виноватого нельзя было разыскать, то он даже восхищался молодечеством своих удальцов; но если вор бывал неискусен и попадался, то его нещадно драли... Такого рода режим несомненно должен был отразиться на характере и быте сафоновских мужиков; и теперь они отличаются огромным, сравнительно с прочим местным населением, достатком: избы у всех прекрасные, запашки делаются большие, работают все мужики на поле до седьмого поту, лошадей менее двух на дворе нет, а есть и по десяти (в среднем — около пяти лошадей на двор); все мужики ведут собственное хозяйство, даже вдовые бабы не бросают земли, а нанимают работников. Но зато во всём селе только двое порядочно грамотных, и народ вообще грубый, дерзкий на слова и на руку, сутяга, очень часто посещающий волостной суд, потому что съёмка земли участками или душами у окрестных крестьян, для передачи её нуждающимся по мелочам, практикуется большинством дворов; в результате же подобного рода операций оказывается всегда масса исков с неисправных арендаторов... Итак, эти мужики, рассудив, что царь барскую власть уничтожил, решили Сафонова не слушаться и насиженных мест своих не покидать. Однако с Сафоновым оказались шутки плохи: он призвал военную силу, и после разных порок, ломки строений и проч. крестьяне должны были убедиться, что не всю барскую власть уничтожил царь... Теперь они живут на новых усадьбах, и нельзя сказать, чтобы были ими недовольны. Довольно характерное обстоятельство: несмотря на экзекуцию, Сафонов сполна выдал крестьянам и деньги, и строительный материал, обещанные им в подмогу переселенцам... Когда Сафонов был избран предводителем дворянства, то до самой уже смерти, в течение нескольких трёхлетий, нёс эту почётную должность, к коей присовокупил, как сказано выше, должность председателя уездной управы, сравнительно недурно оплачиваемую. Крупные землевладельцы не очень-то тянули его руку, ввиду того что он не всегда соблюдал их интересы, как это видно, например, из вышеприведённого рассказа старшины; но зато мелкое дворянство было без ума от своего предводителя, который благодаря мелкопоместным всегда проходил с значительным большинством голосов. Говорят, что перед дворянскими выборами в Воронеже всегда закупались целые партии брюк, сюртуков, серебряных часов и т.п.; кому эти вещи предназначались и от кого — о том история умалчивает.

Таков-то был всесильный в —ском уезде Сафонов. Многое из установленных им порядков сохранилось и при Столбикове, но многого этот последний сохранить, несмотря на всё своё желание, не мог, ибо появилось двоевластие, столь пагубное для... органов самоуправления. Председателем земской управы Столбиков выбран не был, и трогательное единение уездных учреждений

несколько нарушилось: секретарей появилось трое, отношения управы уже не так быстро принимались к исполнению присутствием, и наоборот, и т.д. Впрочем, в глазах не только простых крестьян, но и некоторых старшин, управа и крестьянское присутствие оставались нераздельными: Столбиков считался «начальником», а все прочие, в том числе и председатель управы, — «членами». В действительности это так и было в крестьянском присутствии, но мне стоило большого труда убедить моего Якова Иваныча, что Столбиков в земской управе ни при чём.

— Значит, там Суровский главным? — в десятый раз переспрашивал меня старшина.

— Да, он председателем земской управы.

— А такой-то и такой-то?

— Это члены управы.

— А как же, когда по осени гласных собирают, в «гласности» заседания бывают, так опять Павел Иваныч на большом кресле сидит и в колокольчик звонит?

— Так то земское собрание, а не заседание управы... — и проч. в том же роде. Наконец, я его научил кое-как распознавать различные учреждения, имеющие местопребывание в земском здании, по секретарям: в управе — длинный и худой секретарь, в крестьянском присутствии — рыжий, в воинском — лысый; тогда он уже перестал ошибаться комнатами, но всё ещё удивлялся, как это во всех комнатах одно и то же начальство, а секретари разные.

Вспомнив, вероятно, либеральные фразы, обильно расточавшиеся им до выбора его в предводители, Столбиков внёс в присутствие билль о привлечении старшин и писарей к более сознательному отношению к вопросам, решаемым в присутствии. Мысль была бы, действительно, удачная, если б её не извратило плохое её исполнение. В самом деле, было бы прекрасно, если б начальство, рассмотрев известное дело по возникшему в какой-нибудь волости вопросу и постановив согласное с законом решение, объяснило в живой речи всем старшинам, почему именно надо поступать так-то и так-то, а не другим каким-либо образом, и затем давало бы разъяснения на могущие возникнуть у волостных начальников новые сомнения и вопросы по тому же предмету. На лучший конец надо полагать, что Столбиков именно это и имел в виду, когда велел поставить несколько рядов стульев в зале, где происходили заседания присутствия, и усадил в ней старшин и писарей, сильно перепугавшихся этих новшеств. Как и следовало ожидать, все «благие порывы» с первого же дня превратились в пустую комедию. Столбиков председательствовал, прочие члены заседали, Столбиков скороговоркой прочитывал заготовленное секретарём решение по известному делу, изредка удостоивая прочесть и подлинное прошение просителя, затем из вежливости, должно быть, обращался к членам присутствия с вопросом: «Так?» — те кивали головой, и дело, как решённое, откладывалось;

за ним следовало другое, пятое, десятое, двадцатое... Во время чтения один из старшин и один из писарей, услыхав знакомые им названия сёл и фамилии крестьян, вставали и вытягивались; этим и ограничивалось их «сознательное» отношение к решаемым вопросам, ибо стараться расслушать, что, собственно, читается, было бы бесполезно: волостные знали, что через неделю или две они получат из присутствия бумагу, в которой будет прописано всё, что в данную минуту читается. Иногда председатель находил нужным вопросить моргавшего от страха старшину: «Что ж, ты принял меры для ограждения прав просителя?»

— Точно так-с! Все силы-меры!.. — бывал ответ.

В этих невинных, но либеральных занятиях проходило дня два. Волостные ужасно скучали, лучше сказать — томились от вынужденного бездействия, очень хорошо зная в то же время, что дома в волости стоят неотложные дела, что нужно ехать составлять приговор, что завтра утром должен приехать судебный следователь, который вызвал для допроса 30 человек свидетелей, и что если хоть один из вызванных не явится, то старшине попадёт от не любившего шутить следователя на орехи... С горя и со скуки волостные забирались по вечерам в трактиры, где истребляли изрядные дозы «очищенной» и огромное количество «кипяточку»; тратились даром деньги, пропадало даром время; иным приходилось ездить вёрст за 50 и более, так что у таких отдалённо живущих пропадало ежемесячно с проездом по 3 — 4 дня, итого в год — около полутора месяцев. Все это сильно не нравилось волостным начальникам, и старинные служаки из них с сожалением вспоминали былые времена, когда Сафонов задерживал их в городе не долее чем на один день.

Так вот, в одно из десятых чисел все мы были в сборе в зале и слушали скучное чтение шаблонных секретарских произведений; многие посматривали на часы — скоро ли стрелка покажет четыре, предельное время наших заседаний. Вдруг, ещё за полчаса до срока, Столбиков поднялся и обратился к нам с обычным: «можете идти». На это с нашей стороны последовали молчаливые поклоны, после каковых мы гурьбой поспешили к выходу; но на лестнице нас догнал сторож и объявил, что приказано нам опять собраться в тот же день, в 6 часов вечера. Все мы пришли в недоумение, что за притча такая приключилась?.. Вечернее заседание, что ли, назначили, чтобы отпустить нас в тот же день, не задерживая на завтрашний?.. С сильной надеждой на такой исход дела мы все собрались к назначенному времени, но, увы, никого, кроме рыжего секретаря, в присутствии не застали. Этот последний обратился к нам с речью приблизительно такого содержания:

— Рассматривая представленные вами, господа, приговоры о выборе лиц для участия на избирательных съездах, Павел Иваныч изволил усмотреть, что во всех волостях назначен самый полный комплект выборщиков, причём вами упускалось из виду, что теперь пора рабочая и что мужикам каждый день дорог. Между тем, в положении о земских учреждениях сказано, что число выбор-

щиков от волости может не превышать числа сельских обществ, входящих в состав волости, причём от каждого общества должен быть хоть один представитель. Павел Иваныч пожелал поставить вам это обстоятельство на вид, а я от себя советую вам, господа, ограничить число выборных до наименьшего размера, дозволенного законом. Тогда съезды будут не так многочисленны и самые выборы будут производиться в большем порядке...

— И будут выбраны те, которых желательно видеть выбранными?... — раздался голос из нашей кучки.

Секретарь несколько смешался, но по долгу службы продолжал развивать гениальную мысль своего начальника.

— Мужики ведь совершенно не понимают, кого выбирают; это вам всего лучше известно, господа. По-моему... то есть, вообще говоря, совершенно всё равно, сто ли человек участвуют в выборах или тридцать...

— Геннадий Эммануилович! Но представительство от волостей будет ведь в таком случае крайне неравномерно, — попробовал и я вставить своё замечание. — В одной волости — пять сельских обществ, в другой — двадцать пять, хотя по числу ревизских душ и дворов они равны между собой; если делать по-вашему, то одна волость будет иметь в пять раз больше представителей, чем...

— Ну, тут говорить не о чем!.. Я вам передал приказание... то бишь сделал разъяснение закона и затем ничего больше прибавить к этому не имею...

Мы двинулись к выходу. Двое-трое писарьков из породы кровных холуёв и несколько старшин из тех, что поглупее, с восхищением отзывались о предложенном их вниманию толковании закона.

— Павел Иванович уж никогда не упустят случая сделать мужикам добро! — осклабившись, говорит бывший писец присутствия, посланный ныне «кормиться» в хлебную волость.

— Известно, из какой это корысти целую полсотню лишнего народу гнать харчиться?.. И десятку-то там делать нечего, — глубокомысленно рассуждает быкообразный старшина.

Другие волостные, иначе смотревшие на это дело и понимавшие, в чём тут суть, угрюмо молчали, боясь громко высказать своё мнение об этом предмете: очень уж мы, старшины и писаря, не доверяли друг другу.

XXI

С раннего утра 20-го мая 188... года к селу Демьяновскому стали со всех сторон стягиваться подводы с выборщиками. На избирательном съезде должны были участвовать четыре волости: Демьяновская при 80 выборщиках, наша Кочетовская при 68 и ещё две небольшие соседние волости — Петров-

ская и Семёновская — с 40 выборщиками каждая, итого на съезде должны были принять участие более 225 человек. Непременный член Щукин, имевший открыть съезд, приехал ещё с вечера; в волости шла суета; писаря и старшины бегали, считая и поверяя явившихся выборных из своих волостей, а сами выборные лежали в тени растущих вокруг здания правления дерев, наблюдая за своими лошадьми, стоявшими табором вокруг пожарного сарая. Трактир торговал бойко: на харчи выборным были сделаны по всем волостям ассигновки из мирских сумм, и старосты не скупились на чай с кренделями. Водку пили покуда немногие лишь — «на свои», ибо старосты боялись ставить до начала выборов мирское угощение: могли бы оказаться подвыпившие, а тогда от Щукина перепало бы на орехи старостам наверно. Кандидатов в гласные из «интеллигентов», т.е. из землевладельцев или священников, не было никого, а двое из выборных от крестьян сильно желавшие попасть в гласные, боялись действовать чересчур открыто и ограничивались только обещаниями угощения в будущем; то были известный уже читателю демьяновский волостной писарь Ястребов, произведший себя в выборные и намеревавшийся, должно быть с согласия и одобрения своего высшего начальства, поближе пробраться к земскому пирогу, и некто Дыхляев, крестьянин того же общества, к которому приписался Ястребов (вероятно, и самая приписка Ястребова именно к этому обществу была не случайна). Этот Дыхляев может служить прекрасным типом деревенского кулака-выжиги, все помыслы которого сосредоточены на извлечении копеек из всех, близко к нему приближающихся карманов, будь то карман хоть полунищего... Разорив своих братьев при разделе отцовского имущества, он завёл разные торговые операции, преимущественно лесные, и как человек грамотный, юркий и с большим грабительским нюхом успел быстро разбогатеть; ему теперь только 30 с небольшим лет, а считается он уже в нескольких тысячах, ходит всегда в поддёвке синего сукна, знаком с разными чиновными лицами, да и сам грезит попасть в начальство. Два уже года состоял он кандидатом волостного старшины и вёл в то время сразу две мины: одна из них должна была сделать его настоящим старшиной (она уже удалась), другая — земским гласным (эта покуда не удалась); думаю, что он грезил даже пробраться когда-нибудь в члены управы и, по всей вероятности, грезит этим и поныне. Он пользовался таким же благоволением от начальства, как и Ястребов, если не больше, и, будучи поэтому уверен в своем избрании, несколько даже надменно относился к слабым к вину выборщикам, изредка подходившим к нему и просившим «угощеньица».

— Эко ты, ворона, чего запросил!.. Дурак я, что ли, на свою беду возжаться с вами? Рази не знаешь, что в законе насчёт вина сказано?.. Ужо после... вечерком, а теперь — шалишь!

— Да мы, Лукьян Прокофьич, за всё просто, без всякого то ись... А так, думали промеж себя, не будет ли что от твоей милости?..

— Сказано, будет. Нешто я покорыстуюсь вам два ведра не поставить, али там сколько потребуется?.. Не жаль мне денег, а нельзя теперь — вот спроси хоть Григорь Фёдорыча...

Избиратель отходит в некотором смущении, а Дыхляев направлялся к более влиятельным выборщикам вести речь на тему, что «в гласные вобче выбирать надо с осмотром, потому ноне начальство за этим, ух, как строго наблюдает»...

Впрочем, был слух, что накануне выборов происходила значительная попойка в демьяновском трактире; угощал будто бы Дыхляев, а угощались человек десять демьяновских воротил, из коих некоторые были избирателями; Ястребова же на попойке будто бы не было: он держался в стороне от всего, могущего его скомпрометировать. Надо, однако, заметить, что демьяновские кандидаты в этом деле много ума не выказали, попав самым грубым образом впросак, и вот каким путем. Желая быть всегда угодным начальству, Ястребов поступил согласно «совету» рыжего секретаря и распорядился, чтобы выборных от Демьяновской волости было на избирательном съезде лишь по одному человеку от сельского общества, а всего по волости двадцать с чем-то человек; кто именно из назначенных на сходе оказался фактическим выборным и получил разрешение участвовать на съезде, доподлинно сказать не могу: знаю только, что ни в Демьяновской, ни в какой другой из волостей, принявших к сведению и исполнению секретарское разъяснение закона, вторичных приговоров волостного схода постановлено не было, а потому сортировка — кому быть на съезде и кому не быть — была сделана, вероятно, чисто домашним образом, посредством приказов сельским старостам. Таким образом, вместо 160 выборных от трёх волостей явилось только 56, а от одной нашей Кочетовской — 55 человек... Итак, голоса одной нашей волости составляли почти большинство. Яков Иваныч, наш старшина, ужасно опасался, как бы за такое ослушание начальнических разъяснений он не был в ответе и за несколько дней до съезда раза два обращался ко мне с полувопросом, полупросьбой: не разослать ли приказы, чтобы не все выборные выезжали на съезд, а только по одному от общества? В этом случае от нашей волости было бы только 17 голосов, так что надежды провести кого-нибудь из наших кандидатов в гласные было бы очень мало, и, наоборот, демьяновские кандидаты прошли бы наверное. Не находя достаточных оснований подчиниться странным начальническим разъяснениям и уже предвкушая всю прелесть предстоящего на выборах инцидента, я твёрдо стоял за точное выполнение приговора волостного схода о числе выборных и ни на какое уменьшение этого числа согласия своего не давал. Яков Иваныч, не мало раз повздыхал и почесал затылок, но по привычке во всём слушаться писаря решился и на этот раз пренебречь отеческими советами начальства; таким образом и оказалось, что представители одной нашей волости почти равнялись числу представителей от трёх других; последствия такого оборота дела

становились для меня ясны, и мне смешной казалась уверенность Ястребова и Дыхляева попасть в гласные.

Нужно сказать, что к этому времени стал сильно выдвигаться из массы кочетовского крестьянства Иван Моисеич, личность, о которой я уже довольно подробно говорил в другом месте. Отчасти благодаря знакомству со мной, отчасти вследствие других обстоятельств Иван Моисеич стал очень сознательно относиться к общественным делам, интересовался всем, происходящим в области земского хозяйства, взялся за ведение двух мирских тяжб и оказался прекрасным поверенным, ибо по уму превосходил решительно всех известных мне крестьян; словом, там, где не было большого соблазна в виде личной выгоды, Иван Моисеич был вполне мирским человеком, умно и энергично соблюдающим мирские интересы. Мне казалось поэтому, что в земских гласных Иван Моисеич был бы совершенно на своём месте: независимый от начальства, звонящего на собраниях в колокольчик, обеспеченный в материальном отношении, умный, знающий быт и нужды народные, как никто из интеллигентных гласных, и при всём этом не робкий и довольно складно говорящий, он сразу стал бы силой в собрании, вожаком всех гласных от крестьянства и стойким защитником общекрестьянских интересов. Кроме того, мне было известно, что в земстве стоял на очереди вопрос о переоценке земель для более соразмерного обложения их с доходностью, вопросы о способах борьбы с чумой, об изменении правил страхования строений от огня и, наконец, один вопрос, непосредственно касавшийся кочетовского сельского общества: о вознаграждении его за трёхлетнюю чинку почтовой дороги, исправление коей лежало на обязанности земства. Кандидат мой, как оказалось, и сам был далеко не прочь принять звание гласного. В прежнее трёхлетие гласным от нашей волости был один только Яков Иваныч; как человек вообще робкий и как старшина, застращённый всякого рода администраторами, он был образцом безгласного гласного, вскакивающего с трепетом со стула, когда начальство встаёт во время баллотировки, и сидящего немым, как рыба, если начальство сидит... Яков Иваныч и сам понимал свою, как старшины, непригодность для земской службы, и по собственной инициативе, хотя не без внутренней борьбы, предложил уступить свою кандидатуру Ивану Моисеичу; так было сначала и решено, что от нашей волости будет один только заправский кандидат — Иван Моисеич; но когда за час до открытия съезда выяснился огромный по числу перевес кочетовских избирателей над прочими, то мы с Иваном Моисеичем задумали новый манёвр: провести в гласные исключительно кочетовцев. Наскоро составленная избирательная комиссия наша, состоявшая из Ивана Моисеича, старшины, меня и двух-трёх мужиков поумнее, решила выставить пятерых кандидатов, по числу требовавшихся от нашего избирательного участка гласных; в число кандидатов вошли, конечно, Иван Моисеич и старшина, остальные же были довольно заурядные мужики, ибо выбор хороших кандидатов из числа только

участников съезда представлял немало затруднений; впрочем, я утешал себя тем соображением, что под наблюдением и руководством Ивана Моисеича и прочие наши гласные не ударят на собрании в грязь лицом. Составленный список кандидатов был мною прочитан нашим кочетовским выборным, собранным для этого в кучку, в стороне от выборных из прочих волостей (каждая волость совещалась особо от других и выставляла своих особых кандидатов).

— Ладно живёт!.. Народа хорошего набрали, — послышались замечания.

— Ишь, Федул-то Осипов — в баре захотел!.. Гласным будет, ха, ха!..

— Нет, Петра-то, Петра, братцы мои, туда же! (Пётр, один из числа кандидатов, был совсем бедный, безлошадный, но сметливый мужик, почему мы его и включили в список).

— А чего ж и мне государю-батюшке не послужить? Нешто ему моя мошна нужна?.. Ему, чай, не мошна требуется, а понятие чтоб правильное... На харчи в город опять из волости по шести гривен дают, так чем же я хуже других буду?.. — кричал Пётр в ответ на обидные для него замечания.

— Ну, ну, ты и впрямь!.. Мы ведь это так, любя!.. С тебя ужо магарыч!..

— Нет, братцы, вы теперь о магарычах-то речи уж не подымайте, не ладное это будет дело, — замечаю я.

— Чего там, рази мы тоже не понимаем?.. Будьте покойны, мы ведь это только так, смешком.

— Н. М.! А как эвти самые выборы будут делаться? Я на них николи не бывал, так боязно чтой-то!

Я подробно рассказал о порядке выборов, о конструкции избирательного ящика и проч.; все слушали меня с напряженным вниманием, ибо, как оказалось, многие не имели совершенно никакого понятия, что значит положить шар направо, что — налево[60].

— Н. М.! А от прочих волостей тоже эти самые кандидаты будут?

— Как же, непременно будут.

— О, шут их возьми! Да мы никого не знаем из них! Как же им класть шары-то?

— Чего там, братцы, глядеть им в зубы-то! Вали им всем налево, вот те и весь сказ!..

— Эй, кочетовские! — закричал какой-то чужой староста с крыльца правления. — Писарь ваш где? Посылайте сюда, член его требует к себе.

В волости меня встретил демьяновский писарь Ястребов.

— Список кандидатов ваших готов? Давайте сюда, непременному члену на просмотр.

Я отдал. Через несколько минут Ястребов вышел из комнаты, занимаемой Щукиным, и с усмешкой возвратил мне список.

— Приказал вам двух кандидатов исключить, чтобы не больше трёх человек от волости баллотировалось.

— Что вы пустяки говорите? На каком же основании...

— Ну уж, батюшка, не нам с вами об основаниях толковать. Я вам передал приказ, а вы, как знаете, так и делайте.

Ничего во всём этом не понимая, я решил идти к Щукину, чтобы выяснить дело. Он курил сигару, лёжа на диване.

— Кто там? Что надо? — спросил он, не оборачиваясь.

Я изложил ему сущность моего недоумения; нигде в законе, насколько мне известно, не ограничено число кандидатов, желающих баллотироваться в гласные, поэтому я затрудняюсь исполнить приказание — вычеркнуть из списка двух кандидатов.

— Что вы ко мне с законами лезете? — закричал он. — Что я сказал, то Вам и закон!.. Ваше дело не рассуждать, а исполнять, что прикажут. Я не допущу более трёх баллотироваться — не до ночи же мне тут сидеть!

Возражать что-либо на такое категорическое приказание я не имел права, апеллировать было не к кому, и мне ничего не оставалось делать, как покориться. Я подбивал было Ивана Моисеича и других избирателей, как имеющих право голоса, протестовать против совершаемого начальством насилия, но храбрецов не выискивалось... Двое кандидатов, в том числе и Яков Иваныч, были вычеркнуты из списка.

Всё было готово; ожидали только старшину одной из маленьких волостей, почему-то запоздавшего: без него нельзя было приступить к выборам, так как он списка избирателей ещё не представлял. В тени растущих близ волости акаций были поставлены стол и стул; на столе красовался избирательный ящик и рядом — деревянная чашка, из коей волостной сторож в обыкновенное время хлебает щи; в чашке лежали кусочки мелко распиленных прутьев в виде шашек: эти последние должны были заменять шары, которых в волости не оказалось в запасе. Наконец, прибыл и запоздавший старшина; Щукин сильно раскричался на него, хотя тот и приводил какое-то, заслуживающее внимания, оправдание. Уставши кричать, начальник сел на приготовленное ему место; избиратели густой толпой, но на почтительном отдалении окружали стол; все хранили глубокое молчание и были без шапок; только на Щукине красовалась форменная фуражка с кокардой.

— Ну, я открываю съезд. Вы сюда созваны, чтобы избрать пятерых гласных в земство. Мне поданы списки ваших кандидатов. Нужно выбирать людей хороших, не пьяниц каких-нибудь. У вас есть, например, старшины, которые знают толк в делах и которых вы хорошо знаете... Теперь вам нужно председателя выбрать. Кого вы хотите?

Огромное большинство избирателей вряд ли поняло что-либо из этой вступительной речи, а о выборе какого-то «председателя» не имело ни малейшего понятия; поэтому на последний вопрос Щукина ответом было то же глубокое молчание; кто тоскливо вздыхал и шептал: «Господи, Господи», кто

прибавлял к этому: «А-ах, грехи, грехн», кто просто мял шапку в руках... Наконец, Иван Моисеич и несколько человек из наших кочетовских крикнули: «Рогожина Якова Иваныча, кочетовскаго старшину!» Этот возглас был подхвачен ещё десятком-другим выборных, наших и чужих. Щукин повёл по толпе глазами.

— Так Рогожина выбираете?.. Эй, старшина, подходи сюда ближе! Кто-нибудь из писарей, — ну, ты что ль, Ястребов, читай список выборщиков. Да у меня поживей откликайтесь и подходите к столу — не дремать!.. Кто там первый кандидат? Выходи сюда, покажись народу!

Первым стоял в списке Дыхляев; он вышел к столу, галантно — не по-мужицки — поклонился Щукину, потом обернулся к толпе и сделал жест рукою: вот, мол, и я. Выборщики молча смотрели на «кандидата».

Началась перекличка. «Иван Петров!» — «Где Иван Петров?..» — Здесь! — «Подходи живей, чего спишь!»... «Сидор Верёвкин!»... Тута! — «Пётр Шестёркин!» и т.д. Выкликаемые подходили без шапок к столу, брали из рук стоявшего также без шапки «председательствующего» шар и, засучивая правый рукав, с сосредоточенным вниманием просовывали руку в ящик; некоторые, впрочем, клали шар совсем зря, что было заметно по всей их фигуре; один даже ухитрился не руку сунуть в ящик, а бросить шар в отверстие ящика; иные от волнения пыхтели, потели и утирались рукавами поддёвок и «халатов», размазывая широкие грязные полосы по лицу. Щукин некоторое время сидел молча, но на втором десятке выкликаемых не выдержал.

— Чего вы, как мёртвые, ходите?.. Пошевеливайте ногами-то, не отвалились они у вас... Василий Старов! Где этот каналья?

— Здесь, здесь я, — откликается выборщик, протискиваясь сквозь толпу.

— Заснул, разиня!.. Слышишь ведь, зовут?

— Виноват, не дослышал маленько...

— Не дослышал!.. На то и уши у тебя есть, чтоб дослушивать... Рукав засучи, засучи!.. У, бестолочь!.. Все вы засучите рукава, слышите, вы! А то с вами тут до завтра просидишь!..

Так происходило вразумленье непонятливых выборщиков; я слышал, как ближайшие соседи мои перешёптывались: «Ну, и строгий же барин, ну ж и ругатель!»...

Перекличка кончилась; надо было считать шары. Яков Иваныч, как принимавший уже несколько раз участие на выборах, знал их порядки и на правах председателя придвинул к себе ящик и чашку.

— Ты что? — окрикнул его Щукин. — А... шары считать? Ну, ну, считай. Ты, должно быть, уже бывал на выборах?..

— Как же-с, ваше высокородие, бывал, — ответил, осклабившись, Яков Иваныч и вдруг решился спросить:

— Дозвольте, ваше высокородие, шапку мне надеть, а то рука занята, шары неспособно считать!..

— Надень, — последовало милостивое разрешение.

Ещё во время первой переклички я распорядился было принести для «председателя» стул из волости, но Яков Иваныч, увидав его, как-то съёжился и постарался незаметным образом отодвинуть его от себя подальше; так он, из почтения к начальству, и пробыл всё время своего председательства на ногах.

— Раз, два, три... — стал считать Яков Иваныч избирательные шары.

Избиратели немного понадвинулись к столу; Дыхляев замер в выжидательной позе.

— Сорок, сорок один... сорок два! — не без торжественности провозгласил Яков Иваныч.

— Эге-ге!.. — пошёл по толпе гул. — «Провалился», — вырвалось у Ястребова, — «Сплоховал», — заметил и Щукин и стал записывать цифры в протокол: 42 избирательных, 69 — неизбирательных. Я начинал восторгаться: кочетовцы, очевидно, действовали единодушно.

— Баллотируется Ястребов!.. — объявил Щукин.

— Я уж боюсь и баллотироваться! — пробовал отшучиваться второй демьяновский кандидат, чтобы скрыть своё смущение. — Так руки и дрожат: пожалуй, сам себе черняка положишь.

— Ничего, мы вам один черный за белый сочтём: это счёта не спутает, и нам обидно не будет, — съехидничал Иван Моисеич.

— Смотри, братец, не сплошай и ты!.. — грозил Щукин Ястребову.

— Что ж, это как господам выборщикам угодно... А я послужить земству готов.

Увы, тщетной оказалась надежда и Ястребова! Он получил ещё менее шаров, чем Дыхляев: только 28. Сдержанные, но весёлые восклицания раздались в толпе: «Сорвалось!.. Что, брат, не всё, видно, коту масляница?.. Не выгорело» и т.д. Провалившийся кандидат так огорчился своим поражением, что не мог даже продолжать переклички и передал списки другому писарю.

— Вы что ж это, шутите, что ли? — раскричался Щукин, лишь только результат баллотировки стал известен. — Ведь вы так никого не выберете!..

— Кочетовских дюже много понаехало, ваше высокородие, вот они и гнут на свою сторону, — «сфискальничал» Дыхляев Щукину.

— Кочетовских? Почему много? Как — много?..

— Истинно говорю. Извольте в списки-с посмотреть, сколько от ихней волости народу и сколько от прочих.

Щукин посмотрел — и недоумение отразилось на его широком, красном лице.

— Почему же это так? Почему у вас мало народу?

Ястребов поспешил рассказать, что, согласно разъяснению, данному секретарём присутствия, он счёл долгом уменьшить количество выборщиков от своей волости, будучи уверен, что и в прочих волостях будет поступлено так же; однако в Кочетовской волости...

— Кочетовский писарь! Отчего это у вас больше выборщиков, чем в других волостях?

— Не знаю. В нашей волости законное число выборщиков; а если в других волостях меньшее число, то это не наше дело и до нас ни мало не касается.

Было очевидно, что г. непременного члена своевременно не познакомили с «толкованием закона» о числе выборных, вследствие этого Щукин никак не мог себе уяснить, нужно ли ему предпринять что-нибудь по этому случаю или не нужно? Опасаясь, вероятно, попасть в какой-нибудь просак, он решил ничего не предпринимать, но сознание своего невежества обозлило его ещё пуще, и он стал просто рвать и метать. Так, один из выборных, думая, что очередь класть шар дойдёт до него ещё не скоро, пошёл посмотреть свою лошадь — всё ли с ней благополучно; однако очередь дошла до него, когда он ещё не возвращался.

— Савелий Панов! — вызывает писарь. — Панов!

А Панова всё нет. Выборные ищут его глазами и перешёптываются: «Да ведь он тут был? И куда это он девался? Ах, грех какой!»

— Панов! — взревел и Щукин, колотя своей толстой палкой по столу. — Где этот мерзавец?.. Подайте мне его сюда, каналью... (тут последовали совершенно неудобные для печати выражения).

— N. N., — решился я самым почтительным образом заметить обеспокоенному начальству, — но ведь избиратель имеет полное право даже вовсе уехать до конца выборов, так же как и вовсе не приехать, и никакой закон...

— Вы опять с законами ко мне пристаёте? Я вам что говорил?.. Что я вам говорил, русским языком я вас спрашиваю?.. Чтобы вы не совались не в своё дело, слышите?..

В этот критический для меня момент к баллотировочному ящику стал протискиваться злосчастный Панов и этим отвлёк от меня гнев разъярённого начальства, которое обрушилось на него целым арсеналом бранных эпитетов; я воспользовался этим счастливым для меня обстоятельством: поспешил со срамом ретироваться, ибо, действительно, какое я, простой наёмный писарь, имел право соваться не в своё дело?..

Дошла очередь баллотироваться и нашим кандидатам; первым по списку стоял Иван Моисеич: он прошел блистательно, получив только 14 неизбирательных и 96 избирательных; второй кандидат получил 76, третий 72 белых, и все трое оказались, таким образом, выбранными. По толпе пошёл гул удивления относительно результатов баллотировки, а лица кочетовских избирателей сияли: они радовались и своей победе, и сознанию своего единодушия.

Не суждено было, однако, кончиться выборам без нового, на этот раз последнего, инцидента. Приходилось баллотировать кандидатов волости, старшина которой опоздал на съезд и тем прогневал начальство.

— А что ж не баллотируется старшина? — спросил Щукин, заглянув в список кандидатов.

— Я, ваше высокородие, и в списке выборщиков не состою.

— Что такое? Вот пустяки! Баллотируйся сейчас же.

— Увольте, ваше высокородие! Я уж послужил в гласных, пусть и другие послужат.

— Нет, шалишь!.. Это тебе в наказание будет, что опоздал на съезд. Баллотируйся сейчас!

Старшина должен был баллотироваться поневоле. Наши кочетовские знали его за хорошего мужика, и новый кандидат был выбран довольно значительным большинством шаров. Это избрание было впоследствии опротестовано губернатором, ибо старшина, действительно, не имел права баллотироваться как не включённый в список выборщиков; таким образом, наказание за неаккуратный приезд на выборы оказалось довольно чувствительным: «гласному поневоле» пришлось осенью приехать в город на сессию только для того, чтобы пережить несколько скверных минут во время чтения губернаторского протеста и принятия его земским собранием.

Тотчас после выборов Щукин уехал, и по селу Демьяновскому пошло веселье. Староста раскошелились и выставили своим односельцам угощение на отпущенные обществами харчевые деньги; новые гласные, со своей стороны, отблагодарили избирателей за беспокойство, т.е. за приезд на выборы, за многочасовое стояние на солнцепёке, за ругань, принятую от строгого начальства, и проч.; не угощал только наш кочетовский Пётр, ибо ему и угощать было не на что; зная это, никто с него угощения и не требовал, а наоборот, ещё ему подносили. Хотя лично мы с Яковом Иванычем от всяких угощений — по моей, конечно, инициативе — уклонились и немедленно после закрытия съезда отправились домой, но, рассуждая по дороге о происходившей в демьяновских заведениях гульбе, не решались за неё осуждать мужиков.

— Ведь вот, к примеру сказать, господа, когда собираются в земство, али на экзамены в школу, али куда на следствие выезжают — завсегда после делов закусывают: чай кушают, случается, — и водочкой не брезгают; так нам-то, мужикам, нешто это запрещено законом? Ведь мы дело своё честь-честью сделали, душой никому не покривили, для ча ж, скажем, хоть с Ивана Моисеича не выпить стаканчик? Ведь он с этого стаканчика не обедняет, а иному мужику, гляди, это лестно, потому он свою лошадь по общественному делу гнал, сено травил, сам день целый прогулял... Что ж тут худого, коли ему и поднесут стакан-другой? — рассуждал Яков Иваныч, и я был с ним отчасти согласен.

Таким-то образом Иван Моисеич попал в гласные; нужно отдать ему справедливость, что он оправдал почти все возлагавшиеся на него надежды: выхлопотал у земского собрания вознаграждение кочетовскому обществу за чинку дороги, настоял на назначении помощника учителю нашей сельской школы, принимал участие в обсуждении разных других вопросов, причём был даже выбран членом двух комиссий в земском собрании и проч. Лично же для меня эти выборы имели то значение, что с этой минуты я попал в опалу к предводителю Столбикову; он с этой минуты понял, что я начинаю приобретать чересчур нежелательное для него влияние среди крестьян Кочетовской волости, и участь моя, как волостного писаря, была с этого момента решена, тем более что мне пришлось иметь несколько столкновений с разного рода начальством и с лицами, близко к начальству стоящими. Мелкие эти сами по себе столкновения настолько, однако, характеризуют сферу деятельности волостного писаря, что я считаю нелишним передать о некоторых из них хотя вкратце.

XXII

Одно из сельских обществ нашей волости благодаря своему чрезвычайно малому и по качеству плохому земельному наделу (1 десятина на ревизскую душу) пришло в чрезвычайное обеднение (50% безлошадных дворов, 15% дворов вовсе без скота и т.п.); последний неурожай доконал этих крестьян, они порядочно запустили как казённые платежи, так и оброк владелице (крестьяне эти до последнего момента не хотели идти на выкуп, ожидая какой-то прирезки земли). Два года оттягивали они платежи, но, наконец, грянул гром: всякие данные им льготные сроки прошли, владелица на новую отсрочку уплаты не согласилась, и становой пристав получил предписание произвести опись имуществу крестьян. Согласно одному из недавних законоположений, волостное правление должно было указать, какое именно имущество из описанного могло быть продано — «без расстройства хозяйства» недоимщиков[61]. Понятно, что всякий мужик, не исключая и волостного старшины, ясно сознавал, что ни о какой продаже имущества у обеднявших мужиков — без полного их разорения — и речи быть не может; именно такая резолюция и была положена нашим правлением на описи. Уездное присутствие (читай: предводитель Столбиков) было, однако, другого мнения и вернуло мне опись с строжайшим наставлением — сделать какие-нибудь отметки о продаже; я не желал принимать греха на душу, способствуя разорению крестьян, и опись вновь вернулась в присутствие в прежнем её виде. Тогда присутствие стало уж собственной властью назначать имущество в продажу (согласно закону). Насколько мы со старшиной и с прочим мужичьём, составляющим волостное правление, с одной стороны, и уездное присутствие — с другой, расходились во взглядах, какое имущество

крестьянину необходимо для ведения хозяйства и какое не очень нужно и может быть продано, доказывается лучше всего на следующем.

Хозяин сослан в Сибирь на поселение: дома только жена его и четверо детей, из коих старшему 13 лет; скота у них никакого; недвижимое имущество: изба старая, сенцы и плетнёвый полуразрушенный двор; семья живёт подённым заработком матери-домохозяйки и «кусочками»[62], собираемыми старшими ребятами по окрестным деревням. Уездное присутствие нашло, что «плетнёвый двор» в этом хозяйстве составляет излишнюю роскошь и может быть, без всякого ущерба для домохозяйки, продан для покрытия недоимки (оценён он был в три рубля)... Были ли произведены торги в этом несчастном селении, я не знаю, ибо ещё до развязки этого дела я оставил с. Кочетово.

Двое мужиков забрали зимой на хлеб у одного барина, почётного мирового судьи из отставных корнетов, под летние работы 25 рублей, в чём и выдали расписку. Весною у одного из них пала единственная лошадь; другого — целое лето трепала лихорадка, порядочно-таки свирепствующая в этой местности; словом — мужики своего обязательства не исполнили, долга не отработали да и денег, конечно, вернуть не могли. Корнет подал жалобу в волостной суд, — само собой разумеется, не лично, а через своего приказчика. Благодаря «законному документу», расписке, суд вынужден был постановить решение о взыскании 25 рублей и какой-то неустойки с ответчиков в пользу истца. Мужики пошли тогда к барину и умолили его повременить с уплатой: авось-де справятся на будущий год. Но «авось» редко выручает, а опустившийся раз мужик ещё реже поправляется; так случилось и на этот раз: должники за год обедняли ещё более и уплатить решительно ничем не могли — ни деньгами, ни работой; тогда барин прислал сказать старшине, чтобы этот последний описал имущество должников. По описи, у одного из них оказалась лошадь, но коровы не было, а у другого — корова, но лошади не было; кроме того, у обоих — по избе и самые плачевные надворные постройки; назначить в продажу ничего нельзя было, «не разстроивая хозяйств» крестьян, кроме разве кур, которых у одного оказалось 4, а у другого 5 штук; вот эти девять кур, оценённые по 15 копеек каждая, и назначены были волостным правлением на продажу. Вырученные за них деньги, что-то около двух рублей (купили родственники хозяев и оставили в пользовании этих последних), были отвезены старшиной на волостной паре за 12 вёрст в имение г. почётного мирового судьи (если бы нанять, то меньше, чем за 2 руб., вольные ямщики не поехали бы); он сильно прогневался на старшину за дурное выполнение его приказа и потребовал, чтобы для покрытия долга у должников было продано ещё какое-либо имущество. Яков Иваныч с трепетом передал мне о барском гневе и просил совета — как теперь поступить?.. Через несколько дней, в ту сторону, где расположено имение г. судьи, должен был ехать мой помощник — развозить какие-то повестки; воспользовавшись этим случаем, я ему дал описи имуществ неисправных должников с тем, чтобы

он показал их строгому кредитору и убедил бы его, что продавать что-либо, не разоряя вконец крестьян, совершенно невозможно. Эта попытка увенчалась... полным неуспехом, ибо барин на помощника моего раскричался, затопав ногами, на описи только бегло взглянул и приказал продать корову у одного и сарай у другого, а деньги представить ему не позже, чем через неделю. Однако этих недель прошло до моего отъезда около двадцати, а денег своих он, увы, так и не получал!.. О такой злостной неисполнительности волостного правления, иначе сказать — писаря, было г. почётным мировым судьёй обязательно сообщено г. предводителю Столбикову на зависящее его распоряжение.

Был и такой случай. Приносит в волость приказчик одного землевладельца условие, заключённое с 28 крестьянами для засвидетельствования; эти крестьяне брали зимой 340 рублей под летние работы в экономии владельца. Вот краткие выписки из этого любопытного документа: «Скосить десятину ржи, связать, свезть на гумно и сложить в скирды — 2 р. 50 к. (обыкновенная цена при найме летом — 4 р. 50 к. — 5 р.); вспахать десятину, посеять овсом, взбороновать, скосить и убрать, как сказано выше — 3 р. 50 к. (обыкновенно 7 — 8 р.); о времени начала каждого из видов работ узнавать самим мужикам в конторе, а за каждый день просрочки явки на работу — 3 рубля штрафа и наём рабочих за счёт виновного, по какой бы то ни было цене; за курение табаку в неуказанном месте — штраф по определению приказчика; за дурную работу — добровольный возврат владельцу забранных денег, а если дело дойдёт до суда — то вдвое; во всём — круговая порука нанимающихся» и т.д. По прочтении этого любопытнаго документа я обратил внимание приказчика на неправильное его, с формальной стороны, составление: он превышал сумму 300 рублей, то есть ту, на которую может быть составлено условие, предъявляемое для засвидетельствования в волостное правление; крестьянам же я указал на всю растяжимость понятия о штрафе по определению приказчика и предупредил их, что за неосторожное обращение с огнём они подлежат ответственности перед законом на общем для всех граждан основании, помимо всяких особых условий с экономией. Крестьяне потребовали, чтобы пункт о штрафе за курение был исключён и чтобы обусловлено было оповещение их о времени начала каждого из видов работы. Узнав о моём вмешательстве «в добровольный договор между нанимателем и нанимающимся» и о том, что я «входил в разбор добровольной ценности на работы», землевладелец обратился к старшине со строгим посланием, из коего взяты вышеприведенные фразы; он обвинял меня чуть ли не в возмущении рабочих против хозяина и обещал о моих противозаконных действиях сообщить начальству, что, конечно, не замедлил исполнить.

В некоторых губерниях открыли свои действия отделения Крестьянского банка; в нашей ещё тогда не открывались. Однажды, после заседания 10-го числа, Столбиков подозвал нас, старшин и писарей, к своему столу и сказал нам речь следующего приблизительно содержания:

— Для мужиков очень полезен будет банк; но у нас его не откроют до тех пор, покуда не поступят заявления о нужде, ощущаемой в нём крестьянством. Поэтому представьте присутствию рапорты о том, что население ждёт с нетерпением открытия действий банка в нашей губернии; но крестьянам погодите говорить о предполагающемся открытии банка, да и вообще о самом банке ничего не говорите во избежание разных нежелательных слухов и толков.

Словом, от нас требовали заведомо ложного донесения... Кажется, что все волостные правления таковые представили, я же воздержался, и это, без сомнения, было мне поставлено в счёт.

Ни одного года не проходит, чтобы в селе Кочетове не было пожаров; иногда дело ограничивается несколькими дворами, чаще — несколькими десятками их, а однажды выгорело более двухсот дворов. За недостатком воды и за отсутствием какой-либо организации рабочей силы купленные на общественный счёт две пожарные трубы обыкновенно бездействуют на пожарах; простыми же орудиями — баграми, топорами и проч. крестьяне действуют крайне недружно, неумело и поэтому обыкновенно без всякого результата. Я ни одного ближнего пожара по своей волости не пропускал и из многочисленных наблюдений вынес заключение, что для деревянно-соломенных деревень наших пожарные трубы мало полезны и могут с успехом применяться лишь для заливания головёшек и обгорелых брёвен, вытаскиваемых при помощи багров из пожарища, или при начале пожара для поливания не загоревшихся ещё крыш. Наибольшее внимание при борьбе с пожарами должно, по моему мнению, быть направлено на какую-нибудь организацию рабочей силы, иначе сказать — на устройство пожарных дружин, вооружённых для тушения преимущественно ручными орудиями, как-то: баграми, топорами и ломами. Впрочем, здесь далеко не место распространяться о моих проектах улучшения пожарного дела в России; упомянул же я об этом обстоятельстве, чтобы яснее была роль, которую я играл в следующем деле. В последнюю весну моего пребывания в Кочетовской волости я предложил кочетовцам учредить у себя пожарную дружину, в которую должны были войти непременно молодые парни по одному от пяти дворов: назначенные молодцы были подразделены на группы, и каждой группе было указано, какими инструментами она должна действовать на пожаре, причём были объяснены и некоторые приёмы, например, как препятствовать распространению огня помощью войлочных щитов, наброшенных на соседнее здание и поливаемых из пожарной трубы. В каждой группе был избран старшой, преимущественно из запасных рядовых, знающих военную дисциплину и поэтому умеющих приказывать и быть авторитетными в глазах своих дружинников-односельцев. Словом, мною сделана была попытка осмыслить борьбу с пожарами, истребившими в Кочетовской волости за последние десять лет более чем на 200 тыс. руб. крестьянского имущества. Нужно заметить, что ничьего разрешения на устройство пожарной дружины я

не испрашивал, ибо полагал, что сельский сход имеет полное право принимать те или другие меры для ограждения себя от разрушительного действия пожаров; но когда приговор об этом предмете был составлен, то я представил его в присутствие по крестьянским делам, причём почтительнейше просил войти в оценку учинённых мероприятий и, буде таковые, по мнению присутствия, окажутся целесообразными, предложить и прочим волостям испробовать предлагаемый мною способ борьбы с пожарной эпидемией. Не знаю, как всё присутствие оценило мой проект, но знаю, что Столбиков оценил его с совершенно своеобразной точки зрения: вряд ли он серьёзно испугался предложенной мною меры, но не подлежит сомнению, что устройство мною пожарной дружины служило ему впоследствии одним из доводов при требовании моего увольнения.

— Послушайте, — говорил он одному из членов присутствия, — разве мы с вами всё ещё студенты, чтобы не видеть, к чему всё это клонится? Ведь сегодня он устраивает только пожарные дружины, а завтра начнёт, пожалуй, устраивать чёрт знает какие?!

Чтобы не возвращаться к вопросу о пожарных дружинах, скажу кратко, что с отъездом моим всё дело рушилось, ибо население не успело ещё на опытах проверить пользу этого учреждения, а сами добровольцы — привыкнуть к новому делу, как говорится, втянуться в него.

О прочих многочисленных столкновениях моих с волей начальства я не стану распространяться, ибо не в них главная суть: участь моя была уже решена после выборов гласных, и Столбиков выжидал только событий, чтобы без хлопот удалить меня, как непокорного слугу. Удобным для этого моментом оказалась весна 188... года, когда вместо непременного члена Щукина, человека, как уже известно читателю, далеко не идеальных качеств, но все ж таки самостоятельного, на эту должность поступила креатура Столбикова — молоденький офицерик, ничего не смысливший ни в крестьянских делах, ни в жизни вообще и поэтому на всё смотревший сквозь очки своего патрона. Таким образом, власть Столбикова в присутствии ещё более усилилась, и он нашёл, что пора со мной перестать шутить. Проезжая однажды через наше село, он во время смены лошадей обратился ко мне со следующим предложением.

— Послушайте, А—рев, в —цкой волости освободилось, как вам, вероятно, известно, место писаря. Бывшие там писаря сильно запустили все дела и даже вооружили население против волости своими поборами и притеснениями. Я бы хотел, чтобы вы перешли туда на службу и исправили бы вред, причинённый этими недобросовестными личностями.

Это предложение было так неожиданно и странно, что я в первый момент совершенно растерялся: однако, собравшись с мыслями, я указал Столбикову на то обстоятельство, что я обжился в Кочетове, привык к местным жителям и позволяю себе надеяться, что они мною довольны и тоже привыкли ко мне, так

что на этом месте я могу быть гораздо полезнее, чем в —цкой волости, где надо будет убить несколько лет жизни, прежде чем заслужить доверие населения. Я указал и на то обстоятельство, что можно бы меня и пожалеть, не посылая в волость, где дела запущены и где придётся употребить массу времени на приведение глупейших канцелярских дел в порядок. Столбиков сосредоточенно курил папиросу и смотрел мимо моего лица в стену.

— Да, первое время там будет, может быть, несколько и потруднее, но вы скоро обживётесь... Польза службы требует этого перевода вашего; я тут ничего не могу сделать

— Павел Иваныч! Я не хочу приносить себя в жертву какой-то мифической пользе службы, так как, поступая на должность волостного писаря, я поставил себе целью работать не для одной только канцелярии волостного правления. Если я уйду из Кочетова, три года моей упорной борьбы с некоторыми некрасивыми явлениями общественной жизни кочетовцев и с некоторыми личностями из их среды пропадут даром; моим переводом вы мне не даёте возможности укрепить кой-какие мои начинания... Словом, на предложение перейти я смотрю, как на опалу. При поступлении моём на службу я просил вас — и вы мне обещали — дать мне заблаговременно знать, когда вы найдёте, что я достаточно послужил; теперь я вновь обращаюсь к вам с вопросом, должен ли я смотреть на это предложение перейти в другую волость, как на предложение вовсе оставить службу?

Мы были одни в комнате, и, может быть, поэтому Столбиков поспешил меня уверить, что он мною совершенно доволен, что вовсе не желает моей отставки, но что в видах пользы службы...

— Во всяком случае, подумайте и дайте мне ответ в непродолжительном времени, — сказал он, когда в комнату вошёл сторож с докладом, что лошади поданы.

В ближайшее 10-е число, когда я явился в присутствие вместе с писарями и старшинами прочих волостей, меня вызвал Столбиков и спросил: надумался ли я?

— Павел Иваныч, — ответил я, — если мне суждено поставить крест над своими работами, пусть будет так; но я не чувствую в себе достаточно сил вновь проделать и переиспытать в —цкой волости то, что я проделал и переиспытал в Кочетовской.

— Но я должен вас предупредить, что в Кочетовской волости я вас, по некоторым соображениям, оставить не могу, — сказал он и ушёл в другую комнату.

— Это само собой разумеется! — вырвалось у меня. Я теперь убедился вполне, что предложение перейти в другую волость было лишь дипломатической увёрткой моего начальства, побоявшегося открыто и прямо заявить о своём намерении — совершенно удалить меня со службы. Признаюсь, горечь

и злоба закипели во мне... Три года немалых трудов, три года нравственных и материальных лишений — с единственной целью заслужить доверие населения — всё это пошло прахом от одного мановения властной руки; сознание своего бессилия заставляло меня скрипеть зубами, а в душе складывалось совершенно «нелогичное» решение — бороться до конца и не уступать наглому насилию... Во время горьких моих размышлений, как нельзя более «кстати», подошёл ко мне один из волостных писарей, известный прихвостень Столбикова, и сделал предложение — принять участие в подписке на икону для поднесения Столбикову...

— Это по какому же случаю?

— Да так, в виде знака привязанности, уважения и благодарности... Мы было решили по десяти рублей собрать с волости, пять рублей — с писаря и пять — со старшины.

— До сих пор я слыхал, что поднесения разные бывают лишь по особенным каким-нибудь случаям, ну, вроде юбилея, что ли. Вы бы хоть подождали — если не этого, то другого какого-нибудь события — именин супруги его или рождения наследника, что ли!..

— Вы всегда... Что, вам пяти рублей жалко, что ли?

— Да-с, жалко! — прорвало меня. — Так и знайте, ни копейки от меня не получите на это... лизоблюдство!

...Мне остаётся рассказать о последнем периоде своей службы в волостных писарях очень немного, и то, что я расскажу, будет довольно заурядно. Сочувствие своему горю я находил во всех, к кому ни обращался за советом; но активной поддержки не нашёл, ибо вопрос о моём удалении был Столбиковым поставлен так удачно, что никакая с чьей-либо стороны поддержка была почти немыслима. Столбиков предложил присутствию уволить меня, и когда трое из прочих четырёх членов присутствия высказались против этого, ничем не мотивированного предложения, то он заявил им, что принуждён будет в таком случае обратить внимание высшего начальства на мою «неблагонадёжность». Чтобы обвинить меня в этом преступлении, моему гуманному начальнику не потребовалось бы, конечно, никаких доказательств, и одного его намёка было бы, думаю, достаточно, чтобы испортить мне всю жизнь; разъяснить мне это обстоятельство взялся секретарь присутствия, вследствие чего я был экстренно вызван в город. Секретарь прекрасно выполнил возложенное на него поручение: он ярко обрисовал мне всю невозможность «бороться с сильным» и притом с таким, который не останавливается на полдороги к цели. Другие лица, к которым я обратился по этому делу, сказали мне, что сочувствие их всегда будет на моей стороне, но что в моих же интересах они советовали бы мне подать в отставку, не ожидая выполнения Столбиковым своих угроз.

Это человек на всё способный, говорили они мне, он ни пред чем не оста-

новится, если захочет уничтожить вас, а что он этого захотел, вы имели уж достаточно времени убедиться. Не губите же себя, заставьте замолчать своё самолюбие, проглотите обиду и служите своему делу в другом месте или на другом поприще...

Много дней и ночей провёл я в нравственной борьбе с самим собою, прежде чем подать в отставку. В конце концов я послушался так называемого голоса «житейского благоразумия» и, сдав должность своему помощнику, выехал из Кочетова, чтобы никогда, вероятно, туда более не возвращаться...

XXIII

Когда я встречаюсь со своими старыми знакомыми или завожу новые знакомства и меня при этом рекомендуют как человека, имевшего случай три года наблюдать и изучать деревню и её быт на самом близком от неё расстоянии, то мне обыкновенно задают одни и те же вопросы:

— Ну, вот вы присмотрелись достаточно к народному быту, к крестьянским распорядкам: какое ж вы из всего этого вынесли впечатление? Каковы ваши взгляды, выводы?..

Я всегда чувствую себя скверно от таких, в упор мне поставленных, вопросов. Мне кажется, что меня экзаменует строгий профессор по «предмету», из которого я знаю один только билет: «введение»; самый же «предмет» кажется мне столь обширным, что я даже не даю себе ясного отчёта, какому из его отделов принадлежит первенствующее место, какому — второстепенное.

— То есть, о какого же рода впечатлениях и выводах вы хотите знать? Относительно чего именно?.. — спрашиваю я в смущении.

— Да вот хоть о волостных судах. Полезны они или вредны? Нужно ли их вовсе уничтожить, или только реформировать, или же оставить их как они есть?

И опять я чувствую себя в положении школьника на экзамене. Мне тотчас представляется огромная площадь России с её миллионами новгородцев, курян, костромичей, воронежцев, псковичей и проч., и проч., и те тысячи волостных судов, которые у них функционируют — с одной стороны, и Кочетовская волость с её судом — с другой; я смутно вспоминаю о тех томах и отдельных статьях, о монографиях и официальных исследованиях, которые посвящены научному разбору деятельности волостных судов. Воображение моё рисует мне образы судей Черныха и Федьки, а память воспроизводит мне попеременно то мудрое решение этих отправителей правосудия, то бессмысленное, то огромные пробелы в законах и прекрасное пополнение их обычаем, то применение этого же самого обычая мироедами с целями эксплуатации и грабежа...

— Я ничего не решаюсь сказать определённого по этому вопросу, — отвечаю я обыкновенно своему собеседнику. — Я недостаточно самонадеян, чтобы рубить этот нервный узел народной жизни сплеча. Всё, что я могу, — это передать вам свои наблюдения и сделать кой-где намёки для лучшего понимания передаваемых мною фактов, а там — ваше дело: хотите — забудьте то, что я говорил, как вещь бесполезную, хотите — примите мои рассказы во внимание, когда будете составлять своё окончательное суждение по этому вопросу...

И не только в разговорах, подчас застигающих врасплох, но и теперь, на досуге, сидя в своей комнате и спокойно размышляя о той или другой особенности крестьянской жизни, я не решаюсь дать категорического отзыва, например, о волостных судах; я всегда помню, что самое лучшее учреждение может быть плохим в руках плохих людей («законы святы» и т.д.), и наоборот, хороший человек и на плохом месте будет хорош и в значительной степени может внести свои индивидуальные особенности в отправление своей должности. Мне кажется, что очень часто смешивается понятие о волостных судах с понятием о волостных судьях, точно так же, как делают, например, некоторые органы печати, повально ругая земство и институт присяжных заседателей за хищения, обнаруженные в некоторых земствах, и за несколько не совсем понятных для постороннего человека приговоров присяжных. Мне кажется, что одно дело говорить: «волостной суд надо уничтожить», и другое дело говорить: «надо прекратить безобразия, чинимые некоторыми волостными судьями». Почему это, когда речь идёт про «интеллигентных» деятелей, говорят, например, так: «мировой судья —ского уезда А. сделал такую-то гнусность», или: «председатель —ской управы Б. украл земские деньги», а когда дело касается народной массы, то всякие личности из её среды игнорируются, равно как и все их индивидуальные качества и особенности, из всех участников в известном деле приготовляют какую-то окрошку и преподносят её в виде «одного факта из народной жизни, ярко рисующего, насколько волостной суд» и т.д.?.. Может быть, это потому, что мировых судей немного, председателей ещё меньше, мужиков же чересчур много расплодилось; может быть, указывать поэтому, что такой «мужичий» казус произошёл там-то, произведён тем-то и при таких-то обстоятельствах — совершенно бесполезно, ибо мужики скроены все на один манер, и что сделано одним или несколькими негодяями из их среды, то позволительно рекомендовать, как деяние, характеризующее нравы и обычаи всего народа?.. Что касается меня, то я не могу представить себе «волостной суд» как нечто безличное, абстрактное: тот суд, о котором я говорил и говорю, — это для меня Черных, Колесов, Федька и проч., притом непременно в их родной обстановке, в —ском уезде Воронежской губернии; перемести их, каковы они есть, в какой-нибудь Тихвинский уезд — и они потеряют, может быть, все свои характерные особенности как судьи. То, что для данного уезда, где Черных с прочими действуют в родной им сфере, может быть, и хорошо

мною придумано, то легко может оказаться малопригодным для Новгородской губернии; да, наконец, могу поручиться, что и в волостных судах Воронежской губернии реформа моя может на каждом шагу провалиться, ибо удачный исход её будет зависеть от того, попадут ли в состав суда два Черныха на одного Пузанкина или наоборот. Вот почему я почти не делаю выводов, а привожу только факты и характеристики и жалею только об одном, что привёл их мало; если бы приведённые мною факты и данные оказались соответствующими фактам и данным из практики волостных судов Новгородской губернии, то уже с некоторой уверенностью можно бы сказать, что и мероприятия, пригодные для судов Воронежской губернии, окажутся пригодными для судов Новгородской. Давайте ж поэтому побольше фактов и характеристик из всех концов России и сравним одни данные с другими, изучим их особенности, отбросим случайное, подчеркнём постоянное, и только тогда приступим к выводам, только тогда сядем писать проекты! А теперь — слуга покорный: я не хочу уподобиться гимназисту, прочитавшему в учебнике нечто о физических особенностях кавказского и монгольского племён и тотчас же возомнившему, что изучил антропологию...

Да не то что о волостных судах, — на гораздо более простые вопросы я не решаюсь дать категорического ответа. Положим, что меня спрашивают о следующем: «Вы пробыли три года писарем; всё население волости успело, вероятно, узнать вас за это время; скажите, какую пользу принесли вы кочетовцам за эти годы и поминают ли вас там добром?» Казалось бы, что на эти вопросы, лично до меня и моей деятельности относящиеся, у меня должен быть совершенно готовый ответ — или в утвердительном, или в отрицательном смысле; к стыду своему, я должен сознаться, что плохо даю себе отчёт, как меня поминают кочетовцы, да и поминают ли меня как-нибудь?.. Очень может быть, что добрая половина крестьян Кочетовской волости узнала о моей отставке лишь месяц, два, а то и более спустя её — именно не ранее того, как старшина Яков Иваныч приехал к ним в село для утверждения какого-нибудь приговора и привёз с собой нового человека, кратко рекомендовав его сходу: «Это-де новый писарь», или, когда самим обывателям пришлось завернуть в волость по какому-нибудь делу и когда они увидали, что за набольшим столом сидит незнакомое им новое лицо. Иду далее: многие, скажу примерно, 10% обывателей (женский пол я нигде в расчёт не принимаю, так как бабы до волости почти никакого отношения не имеют), даже обратившись за своим делом к новому писарю, не заметят происшедшей замены одного лица другим, потому что они меня за все три года не успели запомнить, хотя и видели раз десяток, а может быть, и больше: они так мало интересовались мною как человеком, что черты моего лица не запечатлелись у них в памяти... А вот другое исчисление, которое также кажется мне приблизительно верным: не менее $^4/_5$ обывателей, узнав тем или другим родом о моём увольнении, подумают про себя или даже громко скажут: «Надо по-

лагать — набедокурил!.. Ох, уж и писаря эти! Какой-какой выищется, чтоб долго на одном месте просидел, а всё больше — годика два али три; очень уж народ дошлый, палец им в рот тоже не клади»... Из остальных 20% обывателей, которые выразятся о моей личности несколько более категорично, около половины позлорадствуют по поводу моей отставки, припоминая те вольные и невольные (бывали, конечно, и такие) обиды, которые я им когда-либо наносил, так что в конце концов не более 10% пожалеют обо мне, помянув меня добрым словом. К этим последним будут принадлежать, во-первых, большинство мужиков, имевших по каким-нибудь обстоятельствам частые сношения с волостью: таковы старосты, десятские, судьи, ямщики, вообще служилый народ. Одни из них будут вспоминать, как я старался им разъяснять их недоумения по поводу их служебных обязанностей; другие — как я был доступен, по-ихнему — «прост» («коли в волости нет, смело ступай на фатеру: примет и всё честь-честью сделает и скажет»); третьи — как я заботился, чтобы не гонять даром лошадей из-за какой-нибудь пустой бумажонки, как я часто езжал на одной кляче, имея право требовать себе пару (даже это поставят мне в заслугу!..); четвёртые — как я выручал их из той или другой беды или промашки по службе, и проч. Затем, во-вторых, из лиц, редко имевших соприкосновение с волостью, добрым словом помянут меня лишь те, которым я оказал когда-нибудь непосредственную и чересчур очевидную для них услугу и которым никогда впоследствии не приходилось отказывать в их просьбах или как-нибудь иначе обижать их; если ж я хоть десять услуг им оказал, а в одиннадцатый раз просьбы их не уважил, даже вполне основательно, то все прежние услуги мои будут забыты и помниться будет только последняя обида.

Отчего же происходит такое странное отношение крестьянства к лицу, состоящему в волости писарем, к лицу, верно и честно служащему ему, поставившему себе задачей жизни быть полезным этому самому крестьянству?.. Оттого, отвечу я, что мужик волостью, волостными делами и своим всякого рода волостным начальством нимало не интересуется и даже не вспоминает о них до момента своей личной нужды в этой волости, в этих старшинах и писарях, как не интересуемся мы с вами, читатель, например, касторовым маслом вплоть до того момента, когда почувствуем расстройство желудка. Далеко не первому приходится мне отмечать тот факт, что волость со всей её канцелярщиной — совершенно чуждое для мужика учреждение, с которым он никакими, кроме фискально-административных, интересами не связан; вместе с тем достаточно известно, какими глазами смотрит мужик на фиск и администрацию во всех её видах: поэтому, надеюсь, понятно, с какой неохотой мужик имеет дело с волостью и с какой лёгкостью даже забывает о её существовании, если личной надобности до неё не имеет и она его, с своей стороны, не тревожит. Всё это, повторяю, так уже известно, что я не решаюсь распространяться на эту тему,

саму по себе крайне интересную: упомянул же я об этом обстоятельстве лишь с той целью, чтобы ответить на вопрос — какую я о себе оставил среди кочетовцев память? И вот мой на это по возможности определённый ответ: у большинства обывателей — никакой, ибо я для них был не человеком, интересным сам по себе, имеющим с ними общие дела, общие интересы, а только — писарем, «наёмною шкурой», как обозвал меня один обыватель в пьяном виде... Чтобы нагляднее представить то расплывчатое понятие о моей личности, которое имело место в массе кочетовцев вплоть до последнего дня моей службы, я позволю себе остановиться на одном эпизоде из моей жизни в писарях, — правда, очень мелком, но прекрасно подтверждающем высказанные мною мысли.

В самый разгар последней масляницы, которую мне суждено было провесть в Кочетове, у меня случилась маленькая домашняя оказия: не хватило масла для блинов (пожалуйста, читатель, не гневайтесь на меня, что я утруждаю вас такими пустяками: примите во внимание, что пустяки дают окраску жизни), об этой беде домашние мои сообщили мне утром, когда я собирался идти в волость, и объяснили, что искали по всем соседним дворам, но нигде продажного масла не нашли. В волости, куда я отправился, сокрушённый вышесказанным печальным обстоятельством, я нашёл прибывшие с почтой от судебного следователя повестки, которые надо было немедленно раздать по назначению: развозить их взялся мой помощник, славный малец лет семнадцати. Зная, что в одном из сёл, в котором он должен был побывать, крестьяне живут зажиточные и держат скота помногу, я просил его купить мне масла, если случится, причём дал два рубля денег. Присутствовавший при нашем разговоре десятский из кочетовских крестьян заметил мне:

— Н. М.! Я сейчас обедать иду домой; коли угодно, я у соседей своих поспрошаю — нет ли у них на продажу масла?

— Сделай милость, спроси. Может быть, он не привезёт, так я на тебя надеяться буду.

Несколько часов спустя возвращается мой помощник и привозит мне целую корчагу прекрасного масла, фунтов[63] в пятнадцать весом.

— Деньги ваши я отдал; свесьте, сколько тут масла, и тогда доплатите, сколько не хватит: сговорился я по 25 к. за фунт, — отрапортовал он мне.

Почти в это же время приходит и десятский, неся деревянную чашку с наколупленным маслом очень невысокого качества; по его словам, он обегал более двадцати дворов и вот только в одном нашёл фунтов пять по цене 30 копеек за фунт.

— Нет, брат, спасибо, теперь мне оно не нужно: и дорого, и плохо, да к тому же вон целую корчагу привезли. Отнеси назад.

— Ну, что ж, он эвтим не обидится, хозяин-то. Я и назад снесу, а то зайду к Иван Ермилычу (кабатчику) — може, он возьмёт.

Однако и Иван Ермилыч этого масла не взял, так что оно благополучно

вернулось к своему хозяину. Вот какова несложная завязка комедии, в которой мне пришлось играть очень глупую роль.

Прошло месяца два с половиной. Был май; сушь стояла превеликая, и многие из местных обывателей стали беспокойно спать по ночам, боясь пожаров, здесь очень частых. Давно уж надо было привесть пожарный инструмент в порядок, но кочетовский староста, Игнат Иванов, всё откладывал это дело: бочки, между тем, рассыпались, рукава пожарных труб были все в дырах, багры возмущали своим видом. Игнат был вообще чрезвычайно плохим старостой; попал он на эту должность лишь с помощью водки, которой щедро угощал как весь сход, так, в особенности, разных Парфёнов, мирских воротил. Достигнув власти, он пятый месяц не мог протрезвиться как следует, ибо постоянно пребывал в трактире, опивая жалобщиков и тем вознаграждая себя за убытки, понесённые им при выборах. Я давно был крайне недоволен им и неоднократно уж предупреждал его, что донесу присутствию о его полнейшей неспособности нести службу, но каждый раз он просил прощения, обещал исправиться, клялся, божился и проч. Наконец, терпение мое лопнуло, и ввиду огромного вреда, который мог произойти от небрежности старосты, я твёрдо решился привесть свою угрозу в исполнение. Случай мне помог: однажды в волости проездом остановилось для смены лошадей одно начальствующее лицо, бывшее со мной в хороших отношениях. Зашёл у нас разговор о пожарах.

— Да не хотите ли полюбоваться на наш пожарный обоз, стоящий более пятисот рублей и решительно ни на что не годный благодаря запущенности? — заметил я.

Лицо поинтересовалось посмотреть и пришло в ужас; немедленно было послано за старостой, который оказался, как и всегда, в трактире. Явился он в сильном градусе, давал ответы грубые и глупые; короче сказать, проезжее начальство решило, что ему старостой быть не годится. Действительно, вследствие сообщения, сделанного нечаянным ревизором уездному присутствию, волостью было получено предписание — старосту Игната Иванова от должности отрешить и возложить её исправление на кандидата. Бумага эта была получена в пятницу, а в субботу я послал десятского предупредить неизвестного мне крестьянина Алексея Суворова, значившегося в сельском приговоре кандидатом на должность старосты, чтобы он явился в воскресенье в волость.

— А кто такой этот Суворов? Хороший мужик? — полюбопытствовал я спросить у старшины.

— Ничего себе, мужик твёрдый, водки не пьёт вовсе. Да нешто вы его не знаете? Коренастый такой, с рыжей бородой...

— Нет, что-то не припомню.

Весть о том, что кандидата требуют в волость и что, следовательно, прежнего старосту хотят сменить, быстро облетела всё село; староста — это

ведь свой, мирской человек, ведающий необходимые мирские дела (сдачу земли, наём пастухов, хлебный магазин и проч.), и поэтому судьба его интересует мир гораздо более, чем судьба волостного начальства, стоящего особняком от мира, на отшибе.

Рано утром в воскресенье приходит ко мне на квартиру староста Игнат Иванов.

— Наслышамшись я, что меня сменять хотите?

— Да, любезнейший; пришла бумага из присутствия, чтобы кандидата на твоё место поставить.

— Н. М.! Больше не буду, ей-Богу не буду!.. И струмент завтра же в лучшем виде исправлю, кузнеца найму.

— Теперь, друг мой, поздно. Нам надо предписание исполнить.

— Не погубите, Н. М., дайте ещё в старостах походить! Я сильно на выборах похарчился, дайте своё вернуть, а я вам заслужу.

И он вытянул из кармана заготовленную заранее пятирублёвую бумажку.

— Извольте-с, а вечером раздобудусь — ещё столько же... Дайте мне послужить.

Каков был мой ответ, разумеется само собою. Любопытно то, что близко стоявшие к волости лица знали, что Игнат пошёл ко мне с приношением; может быть, он даже советовался с ними, сколько мне дать. Вывожу я это из следующего обстоятельства. Тот же десятский, которому я в субботу приказывал позвать кандидата, спросил меня, когда я пришёл в волость:

— Что ж, прикажете звать Суворова али не надо?

— Да ведь я тебе ещё вчера приказывал позвать его!..

— Это точно-с; мы ему говорили, да он не дюже поверил. Да и мы, признаться, думали так, что, може, и обойдётся...

Я начинал чувствовать, что около меня образовывается какая-то тонкая сеть неуловимой сплетни; но в чём именно дело, я ещё ясно не понимал. Игнат, отдавая печать и знак кандидату, опять просил прощения: «Ведь очненно даже известно, что эвто по вашей жалобе меня страмят; будет уж, накуражились надо мною, пора ж и милость вернуть»... Он был уже порядочно выпивши.

Этим же вечером отправились мы со старшиной в гости к местному священнику, у которого было какое-то торжество; пришлось идти мимо трактира. В тот самый момент, когда мы проходили мимо дверей этого «заведения», из него вывалило человека четыре сильно пьяных мужиков; было так темно, что мы не сразу узнали, кто такие эти гуляки, — они же нас тотчас признали по нашим костюмам.

— А-а, благодетели! — раздался голос бывшего старосты Игната. — Разорители вы мои, чтоб вам ни дна, ни покрышки!..

— Кровопийцы вы! За что человека обидели?.. — узнали мы голос одного из Парфёнов.

Мы поспешили уйти во избежание какого-нибудь серьёзного столкновения с разгорячёнными вином сторонниками Игната.

Прошло ещё с неделю. Нового старосту я редко видал, так как почти всё время был в разъездах по волости: однажды, в разговоре со старшиной, я вспомнил про него и спросил:

— А что, как Суворов дело своё правит? В трактирах не ночует?

— Нет, он там и допреж, почесть, не бывал, а теперь и вовсе разучился ходить...

— Это почему?

Старшина несколько замялся.

— Да так... Допекают его приятели того, старого.

— Чем допекают?

— Кто их знает... Я, признаться, хорошенько не слыхал.

Очевидно было, что старшина скрывает от меня нечто, а я уж знал по опыту, что он ни за что не проговорится, если захочет что-нибудь скрыть, — разве уж в пьяном виде проболтается; поэтому я решил допытаться об этом обстоятельстве у самого Суворова. Долго и он не хотел мне говорить, в чём дело; но, наконец, мне удалось его убедить, что в его же прямых интересах поделиться со мной своим горем.

— Да что, Н. М., страм один и рассказывать-то!.. Народ ведь наш глуп и дюже легко всякой небывальщине веру даёт; баба какая-нибудь, паскуда, сбрешет, а худая молва и пойдёт, и пойдёт по миру: обеляйся там, как знаешь... А перед кем обеляться будешь, коли никто тебе в глаза ничего не скажет, а все за углом шушукаются?..

— Не тяни ты, пожалуйста! Слыхал я всё это. Говори, в чём дело?

— Проходу мне не дают, всё маслом в глаза тычут... Изволите помнить, на масляние десятского посылали масло по селу разыскивать? Ведь дёрнула же меня тогда нелёгкая масло ему своё объявить, и хошь вы тогда и не купили его, а народ-то видел, что десятский от меня к вам масло понёс... Теперь, как произвели меня в староста, все и говорят, что вы с меня десять фунтов масла взяли да по моей просьбе Игната сместили, чтоб мне в староста попасть... Вот поди ты с ними теперь, толкуй!..

Итак, несмотря на то, что ни один человек из Кочетовской волости не может похвалиться, что я за данную им взятку мне учинил какое-нибудь беззаконие; несмотря на то, что десятский, носивший взад и вперёд масло, был жив и здоров и мог подробно разъяснить всю эту чепуху; несмотря на то, что многим было известно о пятишнице или даже о двух пятишницах, которые мне предлагал Игнат и которые я отверг, — несмотря на всё это, деревенский мир поверил, что я мог прельститься 10 фунтами масла, стоящими 2 рубля 50 копеек, и за эту несчастную взятку решиться сменить старосту!.. Признаюсь, горшей обиды не было мне нанесено за всё время моего пребывания в деревне,

и нужно ж было этому случиться почти перед самым моим отъездом, как будто именно для того, чтобы я не возмечтал о своём значении в волости, о нравственном влиянии, которое я будто бы приобрёл, о любви и доверии ко мне обывателей... Нимало не утверждаю, что вовсе не было мужиков, которые отнеслись бы с полнейшим недоверием к этой сплетне: все, знавшие меня близко, конечно, не поверили, чтобы я мог продать мужика за несколько фунтов масла; но я не скрываю от себя и того обстоятельства, что невероятности сплетни в их глазах много способствовала чересчур малая цифра вознаграждения, полученного будто бы мною за услугу (10 фунтов масла — 2 рубля 50 копеек); но если бы моим защитникам сказали, что я взял с Суворова не 10 фунтов масла, а 100 рублей денег, то вряд ли кто-нибудь из них не поверил бы сплетне в такой редакции... Всё дело тут в цифре: один всякого продать готов за шкалик, — этот, в глазах деревенской публики, непутёвый, пустой человек, которому самому грош цена; другой торгует собой за рубли — это средственный, обыденный человек; а кто себя за единицы или даже за десятки рублей не продаёт — это уж «гора-человек», хотя эта же «гора» против, например, радужной[64] может и не устоять. Скажу даже более: если эта «гора» и против радужной устоит, то много потеряет во мнении публики: «Прост он», — будут говорить про такого чудака, или же: «Кто его знает, мудрёный он какой-то, всё у него не по-людски делается»... Странно сказать, но мне кажется, что заурядный мужик (по крайней мере, в нашей местности) вполне честного человека, которого нельзя купить и за тысячи, представить себе не может; есть, вероятно, и из этого правила исключения, но... во всяком случае, единичные.

Чувствую, что я договорился до очень печальных речей; начал, некоторым образом, «за здравие», а свёл «за упокой»... Что ж делать, если действительность такова, какою я её рисую? Я и теперь не поколеблюсь сказать всякому из интеллигентов, который спросил бы меня: «Идти ли туда?» — «Идите, там ваше место», — точно так же, как и сам пойду, если... (но позвольте умолчать, в чем заключается это «если»). И, однако, не будучи лицемером и узко партийным человеком, я не могу закрывать глаз и не видеть самому, да другим не указывать язв, разъедающих народный организм: надо знать, на что идёшь и что тебя ожидает; если не знаешь — очень тебе трудно будет...

XXIV

Возвращаюсь к решению поставленных выше вопросов. На второй из них: какую я о себе оставил память среди кочтовцев, я ответил ещё довольно определённо; гораздо труднее будет мне справиться с первым: какую пользу я принёс населению за три года своего писарства?..

Прежде всего, должен оговориться, что после меня не осталось реши-

тельно ничего, на что можно было бы указать со словами: это — дело рук бывшего писаря такого-то. Пробовал было я устроить, как сказано выше, пожарную дружину, но она рухнула и распалась тотчас после моего отъезда; помог я совершению и даже ускорил переделы земель в нескольких общинах (первые после ревизии), но об этой помощи, конечно, никто не помнит, да и вопрос тут может быть только относительно времени, когда совершились бы переделы без моей помощи: неравномерность распределения земель внутри общин становилась настолько ощутительной, что и без моего содействия переделы непременно произошли бы, может быть, лишь годом, двумя позже, чем они действительно произошли. Заводил было я речь об общественных запашках для засыпки хлебных магазинов, но это вопрос настолько сложный, что кочетовцы не могли его решить сразу и при мне его не решили, а теперь, думаю, и решать не будут... Затем остаётся выяснить: какую я приносил, так сказать, текущую пользу кочетовцам за время моей у них службы и что сделал я такого, чего не сделал бы всякий заурядный писарь на моём месте? Единственное, на что я могу указать без колебаний, это что я сохранил им несколько сот рублей чистыми деньгами и несколько тысяч рабочих часов. Деньги я им сохранил тем, что ни сам с них поборов не делал, ни другим, по возможности, делать не давал, что я вёл их дела в городе, устраняя тем необходимость самим туда ездить и тратиться на городских «аблакатов», и проч. в том же роде. Рабочие часы я им сохранил, не сзывая лишних сходов, не разъезжая по пустым делам по волости, не задерживая просителей в волостном правлении, и т.п. Это я действительно делал; но к такому образу моих действий население так привыкло, что удивилось бы, если б у меня вдруг пошли в волости другие порядки; говорят, что теперь, при новом писаре, пошли именно другие порядки и что мужики только теперь начинают оценивать лучшие времена, бывшие при мне; но это только говорят... Если затем считать уж все содеянные мною «благодеяния», то придётся останавливаться на перечне услуг, оказанных мною отдельным личностям: выхлопотал отставному солдату шестирублёвую в год пенсию, оградил вовремя сиротское имущество от расхищения, хлопотал по делу обиженной вдовы и т.д. Но эти услуги только тем разве и заслуживают внимания, что они обошлись облагодетельствованным мною лицам даром, тогда как другой писарь потребовал бы с них за эти услуги известное вознаграждение; таким образом, всё опять сводится к сохранению некоторым из кочетовских обывателей нескольких лишних рублей. Вот, если рассуждать на точном основании фактов, всё, что я сделал для населения; конечно, этого очень мало, и самолюбие нашёптывает мне, что, может быть, благодаря моим многочисленным разъяснениям и разговорам на сходах и судах кочетовцы стали лучше понимать свои права и обязанности, получили более правильный взгляд на некоторые вещи — словом, развились несколько; но не одно ли это только самообольщение с моей стороны?..

Итак, в результате своего трёхлетнего изучения народной жизни я дол-

жен поставить вопросительный знак; но не благодаря неудачно намеченной цели являются во мне сомнения, и даже не благодаря неудачному исполнению взятой на себя задачи... Я склонен думать, что работа моя оказалась безрезультатной единственно благодаря малому периоду времени, которым я располагал: три года — чересчур ограниченный срок, когда приходится иметь дело с двенадцатитысячным населением, видевшим в течение десятков лет в писарской должности лиц, все, как одно, скроенных по известному шаблону; поэтому даже совсем новый человек, но на старом писарском месте казался им писарем, правда, «ловким» и «учёным», но только писарем, и ничем более...

Мне остаётся сказать, для финала, лишь несколько слов. Провожали меня из Кочетова не без торжественности: несмотря на рабочую пору и на будний день, приехали даже несколько старост, желавших со мной проститься; наиболее близко знакомые мне мужики и бабы толпились у крыльца в ожидании моего отъезда. Появилась и водка, этот неизменный спутник всех житейских радостей и невзгод; пили, целовались, просили не забывать друг друга; от волнения, а вернее, от водки у некоторых, в том числе и у меня самого, были на глазах слёзы... Ямщики даром предложили своих лошадей до станции, и три тройки с провожатыми составили довольно шумный поезд. На станции опять прощания, пожелания всяких благ... А вот и поезд. Прощай, Кочетово!.. Прощай, хорошее село, научившее меня понимать многое, что оставалось для меня непонятным в городе!..

Прощайте, кочетовцы! Не поминайте меня лихом, добрые люди, — меня, любящего вас всей душой, несмотря на многие и многие обиды, которые вы мне причинили, и на массу разочарований, которые я испытал за период моего знакомства с вами!..

Я по сей день получаю от некоторых друзей из —ского уезда письма, в коих они подробно описывают местное житьё-бытьё вообще и кочетовское в частности. Всё идёт там своим порядком. Столбикову была поднесена роскошная икона от признательных подчинённых его; пели по этому случаю молебен; писаря говорили речи; Столбиков от полноты чувств прослезился. Затем был обед, поданный старшинам и писарям особо от прочих почётных гостей, собравшихся посмотреть на трогательное торжество; словом, всё было чинно-благородно. В нашем уезде открыты действия Крестьянского банка; непременный член юнец уже успел оскандалиться, навязывая демьяновцам против их воли участок земли из имения Столбикова; говорили что-то о приговоре, который предлагали подписать, не прочтя его с ходу... Дыхляев стал старшиной против воли схода, который для выборов старшины был собираем раз пять; наконец, на последнем сходе, на котором присутствовал сам Столбиков, старостам «предложено» было приложить печати к приговору о выборе Дыхляева, и ныне в Демьяновской волости орудует такая парочка (Дыхляев и Ястребов),

какой не скоро ещё сыщешь в целой губернии... Иван Моисеич понемногу приобретает себе значительную популярность: между прочим, он принял себе за правило — во все пострадавшие от пожаров селения Кочетовской волости, и даже в окрестные, посылать погорельцам печёный хлеб; несмотря на то, что —ский уезд горел в 1885 году благодаря суши особенно жарко, Иван Моисеич аккуратно рассылал целые воза с хлебом, являвшимся очень кстати для погорельцев в первые дни после постигшего их несчастия... Старшина Яков Иваныч чувствует себя очень нехорошо: он уже подавал раз в отставку, но потом раскаялся, испросил у Столбикова прощение и ныне ещё старшинствует, хотя постоянно трепещет за своё существование... «Милая, добрая провинция»!..

ЮРИДИЧЕСКІЙ
ВѢСТНИКЪ

ИЗДАНІЕ

Московскаго Юридическаго Общества

1886

ГОДЪ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ

ВТОРАГО ДЕСЯТИЛѢТІЯ

Томъ XXI

КНИГА ПЕРВАЯ

(Январь)

МОСКВА
Типографія А. И. Мамонтова и К°, Леонтьевскій пер., № 5.
1886

Н.М. Астырев

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В ВОРОНЕЖСКОМ УЕЗДЕ

В декабре месяце прошлого 1884 г. вышел в свет «Сборник статистических сведений по Воронежскому уезду», представляющий собою первый опыт земско-статистических исследований Воронежского губернского земства. Статистическое отделение губернской управы состоит в заведывании известного своими литературными трудами Ф. А. Щербины, которому и принадлежит всецело весь текст Сборника, составляющий 235 стр., всего же, с таблицами, в томе этом около 580 стр. С внешней стороны Сборник издан прекрасно; к нему приложены пять изящно выполненных карт: 1) почв Воронежского уезда; 2) средних урожаев ржи и овса; 3) крестьянского скотоводства; 4) распределения крестьянских промыслов и 5) географическая карта уезда в масштабе 5 верст в английском дюйме. Последняя карта исполнена в особенности образцово — при помощи фотографирования с большой карты, принадлежащей уездной земской управе. Поименованные карты в значительной степени облегчают труд читателя сборника: они дают возможность ясно представить себе состояние той или другой отрасли крестьянского хозяйства как по целому уезду, так и по отдельным волостям в зависимости от качества почвы, близости или отдаленности города и т.п. В доселе выходивших сборниках других земств или вовсе не имелось никаких карт, диаграмм и проч., или, если таковые имелись, то в ограниченном числе и исполненные не совсем изящно. Воронежский же Сборник представляет собою в этом отношении блестящее исключение как по количеству карт, так и по изяществу их выполнения, поэтому было бы крайне желательно, чтобы такой благой пример не оставался без подражаний. Единственное, в чем можно упрекнуть Сборник с внешней стороны его исполнения — это довольно значительное количество опечаток, вкравшихся

в текст; но эта вина более, чем извинительна, — и вот на каком основании.

Насколько мне известно, до сих пор не было еще издано ни одного сборника в столь короткое время и с таким обширным текстом, каким является воронежский Сборник; правда, текст борисоглебского Сборника мало чем уступает по объему Воронежскому и издан в срок еще более короткий, нежели этот последний, но, сравнивая их, следует иметь в виду, что над составлением «Сборника по Борисоглебскому уезду» трудились лица, вполне знакомые с техникой местных исследований и под руководством такого опытного заведующего, каким является В. И. Орлов[1]; в составлении же воронежского Сборника принимали участие совершенные новички в статистических исследованиях, исключая, однако, Ф. А. Щербины, который хотя и не был до этого земским статистиком, но приобрел уже некоторый навык, собирая материалы для своих монографий, каковы «Рабочие на Кубани», «Южнорусские артели» и другие. Деятельность Воронежского статистического бюро началась лишь в конце апреля 1884 г., а в первых числах декабря Сборник уже вышел из печати, так что собирание материала, разработка его и печатание книги заняли лишь семь месяцев. Этой быстроте выполнения способствовало то обстоятельство, что воронежский Сборник выполнен по всесторонне разработанной и испытанной уже программе статистического отделения Московской губернской земской управы, так что большинство рубрик в таблицах и комбинаций с числовыми данными в тексте уже имелось в виду и воронежским статистикам оставалось лишь подставлять свои данные на место данных московских. Кроме того, для ознакомления с практическими приемами местных исследований был специально приглашен В. И. Орлов, который и произвел примерную перепись одного из селений Воронежского уезда, объяснил способы и порядки пользования разными документальными данными, имеющимися в волостных правлениях, дал образцы многочисленных выборочных и сводных таблиц и проч. и проч. — словом, указал практические приемы, кажущиеся столь простыми для знакомых с ними и столь трудными для создающих их ощупью, вновь, помимо готовых, выработанных и испытанных уже многолетним опытом.

Содержание Сборника распадается на следующие главы: 1) пространство уезда и его естественные особенности; 2) народонаселение; 3) колонизация и общинно-земельные порядки; 4) земледелие; 5) скотоводство; 6) аренда земли; 7) отрядные работы и промыслы; 8) кредит; 9) меновые процессы и продовольствие и 10) материалы для определения ценности и доходности земель. Последняя глава написана специально для удовлетворения одной из насущных потребностей воронежского уездного земства — поразрядной группировки, или кадастрации земель для более правильного обложения их земскими налогами сообразно с их ценностью. Вопрос этот был поднят в воронежском земстве уже несколько лет тому назад, но до сих пор не мог быть разрешен за неимением фактических данных для расценки земель; теперь же, по устра-

нению этого препятствия, можно надеяться, что он достигнет благополучного конца. Затем следуют в сборнике статистические таблицы о крестьянских общинах Воронежского уезда, о бывших дворовых, проживающих в селениях, о сторонних крестьянах и мещанах, о крестьянских промыслах, о торговых и промышленных заведениях, о крестьянских хозяйствах, арендующих пашни и сенокосы, и, наконец, таблицы частных хозяйств, одна об имеющих до 50 десятин и другая — свыше 50 десятин (к сожалению, последняя таблица не подсчитана). Кроме того из частных источников мне известно, что в сборник, за недостатком времени, не могла войти уже совсем готовая заключительная глава о крестьянском хозяйстве. Из одного перечня этих отделов и таблиц уже видно, какой богатый материал заключается в сборнике. Я позволю себе теперь сообщить о некоторых наиболее выдающихся особенностях крестьянского хозяйства Воронежского уезда.

Преобладающей почвой в Воронежском уезде является чистый чернозем, дававший до сих пор порядочные урожаи, не требуя никакого удобрения. Поэтому арендная стоимость крестьянских земель значительно превышает лежащие на них платежи и повинности; эта особенность создает строй жизни и экономическо-общинных явлений совершенно особенный от такового в местностях с почвой нечерноземной, не окупающей лежащих на земле платежей, каковы, например, северные губернии. В Воронежском уезде крестьяне дорожат землей как ценностью, приносящею владельцу доход помимо приложения с его стороны к ней труда; бобыль, не ведущий хозяйства и живущий в работниках, вдова с малолетними сиротами, бездетный старик-неработник не отступаются от своих душевых наделов, а сдают их в аренду, получая так называемые «верхи», т.е. разницу между арендной стоимостью надела и причитающимися за него податями; разница эта достигает в некоторых богатых землею общинах государственных крестьян 10, 15 и даже более рублей.

Воронежский уезд принадлежит к числу густо населенных уездов России; на 1 кв. милю приходится в нем — с г. Воронежем — 2305 душ, а без города — 1731 душа; 75,9%, населения составляет крестьянство, живущее в черте своей оседлости. Всего крестьян числится 79 958 мужчин и 82 301 женщина, т.е. обоего пола — 162 259 душ. Почти 78% этого числа составляют государственные крестьяне, затем 19,5% — крестьяне бывшие помещичьи, состоящие ныне на выкупе, а затем ничтожную численность представляют собой прочие разряды: полных собственников, окончательно выкупивших свои наделы, насчитывается только 105 душ обоего пола, а собственников на дарственном наделе — 3461 душа[2]. Впрочем, по отношению исключительно к разряду бывших помещичьих крестьян крестьяне на дарственном наделе составляют довольно видный %, именно 9,6%, между тем как в более северных, менее хлебород-

ных местностях, этого разряда крестьян или совсем нет, или очень мало; так, в недавно вышедшем сборнике по Елатомскому уезду, в котором преобладает серая почва, число крестьян на дарственном наделе составляет лишь 0,7% общего числа бывших помещичьих крестьян; в Московской губернии их совсем нет и т.п. Явление это — увеличение числа крестьян на дарственном наделе в местностях хлебородных и густо населенных — уже давно подмечено и объясняется, главным образом, предусмотрительностью некоторых помещиков, совершенно верно рассчитавших свои выгоды при наделении крестьян землею: в нечерноземных местностях было выгодно навязать крестьянам побольше дешевой земли за высокие выкупные платежи, в черноземных наоборот — оставить у себя больше земли, сильное вздорожание которой в будущем легко было предусмотреть еще 20 лет тому назад... Затем ничтожное число крестьян, отдельно от обществ выкупивших свои наделы (105 душ обоего пола, или 0,3% общего числа бывших помещичьих крестьян), указывает отчасти на твердость общинных традиций в населении, подтверждение чему мы сейчас найдем при знакомстве с общинными порядками этой местности.

В среднем по уезду государственные крестьяне имеют на душу 5 десятин, государственные, перешедшие в казну от помещиков[3], — 2,5, собственники[4] — 2,8 и крестьяне на дарственном наделе — 1 десятину; таким образом, государственные крестьяне, как и почти везде, значительно богаче землей, нежели прочие разряды. Кроме того, на их стороне имеется еще то преимущество в некоторых волостях уезда, что они наделены лесом, который очень дорог в этой местности и встречается очень редко, преимущественно в северной части уезда, где расположена, между прочим, большая казенная Усманская лесная дача.

Начало колонизации Воронежского края, говорит г. Щербина, относится к концу XVI столетия. «Вызванная чисто военными целями, колонизация производилась первоначально исключительно служилыми людьми: казаками, стрельцами, пушкарями и т. п. Ими основаны самые старинные населения в уезде, известные под именем однодворческих. Несколько позднее, именно в XVII веке, стали селиться в этом крае экономические[5] и казенные крестьяне центральных губерний. Названия некоторых поселков и сейчас указывают места, откуда вышли поселенцы: таковы сс. Московское, Можайское, Верейское, Каширское, Коломенское, Епифановское, Дашково и др. Наконец, помещики, частью перешедшие в Воронежскую губ. вместе с служилыми людьми, а частью вышедшие из их среды, с своей стороны, вывозили крепостных из разных мест России на пустующие земли Воронежского уезда». Таким образом, население сложилось из трех элементов: из потомков служилого люда, из свободных крестьян-поселенцев и из поселенцев крепостных. Вследствие этого, говорит г. Щербина, и отношения к земле должны были сложиться у населения двоякие: у одних «обычное право в области общественно-земельных отношений могло развиваться естественным путем, у

других должно было сжиматься тесными рамками крепостной зависимости».

Пустующие никем не заселенные места носили в Воронежской губернии название «дикое поле», или просто «поле» («Историческое, географическое и экономическое описание Воронежской губернии» митрополита Евгения (Болховитинова), изд. 1800 г.); это название сохранилось и до сего времени за некоторыми местностями, хотя, понятно, — некультивируемых местностей теперь уж нет в Воронежской губернии; вот эти-то «дикие поля» постепенно заселялись свободными поселенцами на праве вольной заимки. Кроме вновь учреждавшихся поселков выходцами из других губерний, учреждались еще как бы колонии выходцами из существовавших уже поселков, жителям которых по какой-либо причине становилось тесно жить совместно; на такой способ колонизации края указывают, между прочим, нынешние названия некоторых селений, например, Усманские выселки, Хреновские выселки, Горенские выселки и друг. Мирное занятие земель могло происходить, впрочем, лишь в очень давнее время, когда население было редко и когда всякий мог пользоваться землею по своим потребностям; позднее же стали происходить разные столкновения из-за земли как между жителями самостоятельных общин, так и между колониями со своими метрополиями. В Сборнике отмечены несколько случаев таких печальных, хотя и неизбежных столкновений. Понятно, что такие недоразумения должны были постепенно выяснять понятия между «моим» и «твоим», или, вернее, между «нашим» и «вашим»; в отношении же пользований «нашим» стало постепенно происходить, по той же причине, урегулирование в смысле перехода от вольных заимок к общинным ограничениям и к равномерному пользованию землей. Кроме того, топографические особенности края не допускали общинам раздробляться; недостаток естественных водовместилищ — рек и ручьев — способствовал образованию больших и скученных населений и односелочных общин. Этот же недостаток воды сдерживает и по сию пору назревающую год от году необходимость расселения больших поселков. Ниже, говоря о состоянии земледелия в данной местности, мы познакомимся с обстоятельствами, побуждающими большие поселки к расселению.

Любопытную особенность представляют некоторые раздельные общины, происшедшие от военно-сословных разрядов служилого люда и делящиеся поныне на так называемые «чины». Такова, например, большая слобода Чижовка, в состав который входят шестнадцать чинов: казачий пеший, казачий конный, пушкарский, стрелецкий, сапожный и пр.; некоторые из этих чинов владеют равными наделами земли, некоторые — разными: беднее всех наделен пешестрелецкий чин (2,1 десятины на душу), богаче всех — два мелких чина иконный и портняжный (8,9 десятины). Все чины составляют восемь поземельных общин, но в то же время у них остались в нераздельном владении выгоны, лес и кустарники. Теперь община эта, благодаря своему пригородному положению, потеряла всякий земледельческий характер, почти всю землю

свою сдает в долгосрочную аренду, а сама занимается разными промыслами.

В настоящее время в Воронежском уезде уже окончательно установились по отношению к пользованию земельными угодьями строго общинные формы; в вольном пользовании остались лишь выгоны и пастбища по лесам, — понятно, лишь в тех общинах, где таковые имеются и только для членов этих самых общин. Пользование же водовместилищами как рыболовными угодьями и как механическими двигателями, а также пользование лесом поступили уже в общинное ведение: рыболовные угодья и двигательная сила рек сдаются обыкновенно в аренду какому-нибудь лицу, хотя бы и не принадлежащему к обществу; впрочем, помимо арендной платы, которая поступает в пользу всего общества, некоторые из них выговаривают право каждому из своих членов ловить рыбу бреднем для себя (например, Подклетенское общество Подгоренской волости). Лес является для общин, у которых он есть, как бы запасным капиталом, которым пользуются, впрочем, далеко не рационально, отнюдь не руководствуясь последними выводами науки: он рубится не систематично, а как придется, когда общину постигнет какая-нибудь нужда; при плохом, например, урожае леса рубится больше, потому что за недостатком соломы и топка нужна, и больше денег нужно на хлеб и т. п. Но есть примеры, что часть леса служит неприкосновенным фондом для удовлетворения экстраординарных нужд, именно нужд погорельцев; как, например, село Усмань отвело для этой цели 18 десятин лучшего леса. Пользование лесными материалами происходит совершенно так же, как пользование пахотной землей: за единицу деления вырубаемой площади или вырубленного материала принимается окладная душа — ревизская, где переделов еще не было, а где таковой уже был — наличная мужская, получившая надел.

В течение последних пяти лет по уезду был уже 61 случай передела земли на наличные души мужского пола, т.е. почти в $^1/_3$ части всех общин уезда и в 58% общин государственных крестьян. Массовое движение в пользу переделов началось с 1881 г., когда 12 общин государственных крестьян, составляющих Можайскую волость, наскучив ждать ревизии, одновременно переделили свои обширные угодья; отсюда движение в пользу переделов стало распространяться во все стороны. Обыкновенно по волости пример подает самая большая община, в которой, именно благодаря ее величине и сравнительному многоземелью (большие общины состоят исключительно из государственных крестьян), отношения наиболее запутались и пользование землей стало наиболее неравномерно; меньшие общины выжидают, чем кончится затеянное их «маткой» дело, и раз передел там благополучно совершился, от начальства препятствий не произошло, никаких «царских указов или «писем»*

* Крестьяне, противящиеся переделу, упорно распускают слухи, что для каждого случая дележа земли требуется царский указ; в этой пропаганде деятельное участие принимают отставные солдаты, преимущественно «николаевские».

получено не было, как тотчас же и мелкие общины приступают к переделам. Г. Щербина, говоря о переделах, приводит два любопытных расчета. Из первого оказывается, что распределение земли после передела становится действительно гораздо равномернее, чем оно было до передела; так, в семи селениях до передела было семей, имеющих на 1 надел до 3-х едоков, — 613, а свыше 3-х едоков — 514; после же передела оказалось семей составом до 3-х едоков на 1 надел — 999, а свыше 3-х — только 128. Иначе сказать, «значительная часть семейств, имевших много едоков и мало душевых наделов до передела, перешла после передела в разряд семей с более уравновешенным отношением между едоками и обеспечением их земельными наделами».

Другой расчет г. Щербины выясняет, что семьи, заинтересованные в переделе земли, никогда не составляют законного большинства $^{2}/_{3}$ всех семей, иначе сказать — голосов на сходе. Оказывается, что в семи селениях, где произошел передел и где этот вопрос обследован, у 527 хозяев уменьшилось земли, у 65 осталось столько же и у 535 — увеличилось; т.е., только 48%, а не 67% домохозяев, как следовало бы ожидать, был в данную минуту выгоден передел, причем эти голоса составляли лишь 71% требующегося законного количества голосов. В частности же, например, в д. Морозовке это обстоятельство выражается еще резче: там только около $^{1}/_{3}$ домохозяев был выгоден передел (если за выгоду считать единственно увеличение площади надельной земли), а он все-таки совершился. Г. Щербина объясняет этот факт единственно тем обстоятельством, что крестьяне руководились «началом справедливости, а не одними лишь материальными выгодами», причем «часть из большинства домохозяев сознательно поступилась своими интересами в пользу меньшинства». Вполне соглашаясь с почтенным автором, что начало справедливости могло играть некоторую роль в данном случае, я никак не могу признать, чтобы рядом с этим альтруистическим чувством не играл роли и некоторый чисто хозяйственный расчет. Во-первых, благодаря длинному сроку, прошедшему со времени последней ревизии и передела, поземельные отношения некоторых домохозяев могли так запутаться, что им, хотя и с некоторым для себя кажущимся убытком, все-таки выгодно было произвести упорядочение этих отношений; так, мне известны случаи, что некоторые домохозяева владели $^{1}/_{6}$ частью душевого надела своих дедов, наделы которых перешли к ним по наследству (в черноземных полосах надельная земля, как ценность, может в промежуток от передела до передела переходить в наследство); отсюда чересполосица, постоянные споры с сонаследниками, судьбища в волости и т.п.

Понятно, что иной хозяин готов был отказаться от нескольких саженей земли из душевого надела деда, лишь бы себе «руки развязать»; но отказаться так, просто отдать свою полоску, без общего поравнения, никакому крестьянину и в голову не придет: ну, и ждали все такие невольные наследники, когда будет случай на законном основании избавиться от своего наследства, но при

том непременном условии, чтобы и прочие сонаследники потерпели бы такой же ущерб... Во-вторых, никак нельзя отнять у крестьян известной предусмотрительности: многие, теряя в данное время клочок земли, соглашались на этот убыточный для них акт, лишь бы видеть обеспеченными в будущем своих, хотя бы еще и не родившихся, членов семьи. Отец, только что женивший сына, вполне предусмотрительно поступает, соглашаясь на передел земли хотя бы с некоторым временным для себя убытком, но тем самым приобретая нравственное право через шесть лет (обычный срок передела в Воронежском уезде) требовать наделения землею своих имеющих к тому времени народиться внуков... Наконец, в-третьих, в некоторых обществах существовали большие участки общественных земель, не поделенных на души при ревизии за излишеством или за отдаленностью их и все время сдававшихся обществом в аренду с очень небольшой выгодой (большая часть арендных денег пропивалась). Теперь же эти общественные земли поступили в разверстку и тем несколько пополнили убыль в размере душевого надела; опять-таки, благодаря этому обстоятельству у некоторых домохозяев убыль в размере надела могла оказаться настолько незначительной, что «началу справедливости» было довольно легко восторжествовать над эгоистичными побуждениями.

В числе общин, переделивших землю, есть две бывшие помещичьи, состоящие на выкупе (в одной 5 и в другой 58 домохозяев). Незначительное число переделов у бывших помещичьих крестьян указывает на пошатнувшиеся под влиянием «выкупа» общинные традиции. Впрочем, г. Щербина говорит, что он знает не одну общину крестьян-собственников, которые сильно поговаривают о переделе; мне же лично известно, что такие общины боятся приступить к переделу лишь на том основании, что они «на выкупе» и что «как бы за это чего не было»... Равнение же наделов, т. е. переделы по ревизским душам, бывают и теперь у помещичьих крестьян и даже чаще, чем у государственных.

Самая техника переделов ничем не отличается от много раз уже описанных приемов, практикуемых крестьянами в других местностях России; поэтому останавливаться на этой части сборника я не буду, хотя изложение всех этих общинных порядков представляет в воронежском Сборнике высокий интерес. Отмечу лишь тот факт, что в Воронежском уезде, благодаря ценности земли, ею наделяют вдов, сирот, увечных и т. п. лиц, требующих общественного призрения, тогда как в нечерноземных местностях, как известно, льгота выражается тем, что с призреваемого лица надел снимают. Нарезка земли производится таким призреваемым иногда наравне с прочими — за подати, иногда же дается душа или полдуши без всякого платежа податей.

Подводя итог всему сказанному об общинных порядках, г. Щербина говорит, что крестьяне Воронежского уезда не знают иной формы землевладения, кроме общинной. Единственное исключение в этом отношении представляет на весь уезд с. Ивановское Катуховской волости. Благодаря настояниям

известного философа-славянофила Хомякова, подарившего крестьянам этого села по две десятины на ревизскую душу, подаренная им земля была разделена раз и навсегда подворно... Но и в этом случае подворное землевладение удержалось благодаря, может быть, чистой случайности. Крестьяне, по собственным их словам, задумались было над переделом земли на души, но их удержали от этого лишь разъяснения посредника[6], указавшего им настоящий характер их землевладения*. Затем во всех остальных общинах Воронежского уезда существует повсеместно одно лишь общинное землевладение. Другой формы владения землей крестьяне, собственно говоря, даже не понимают в применении к своей жизни. Особенно характерную черту земельной общины, говорит далее г. Щербина, «представляет тот крупный факт, что все здешние селения (основанные служилым людом) пользуются бывшими своими четвертными землями[7] на общинном праве, так что самое понятие о четвертных землях совершенно утратилось и заменилось понятием об общинно-земельной собственности», — хотя предание о том, что они «однодворцы», еще сохранилось кое-где и по сию пору. Нужно, однако, заметить, добавлю я, что такому переходу однодворческих земель в общинное владение много могли способствовать административные воздействия времен министерства графа Киселева[8].

Издавна и до настоящего времени земледелие составляет основу экономической жизни воронежского крестьянина. Скотоводство, разные промыслы, огородничество, садоводство и проч., — «все это, — говорит г. Щербина, — имеет для крестьянского хозяйства только относительное, соподчиненное значение». Вследствие этого большая часть сенокосов, лесов, выгонов, даже усадьбы и огуменники[9] превращены в пашни; скотоводство сократилось: почва частыми перепашками истощена; разрыхленная и истощенная земля плохо стала удерживать влагу, — появляются засухи; благодаря той же односторонности в культуре полей, некоторые злаки перестали совсем родить; урожаи с каждым годом колеблются, понижая среднюю норму; «земля, — по выражению крестьян, — обессилела».

Таким образом, необходимо признать, что в существующих формах крестьянского хозяйства происходит перелом. Господствующею системою полеводства во всем уезде является трехполье; последние переходы к нему от залежного хозяйства произошли, по-видимому, в начале 50-х годов. Ведущееся в некоторых немногочисленных селениях одно- или двупольное хозяйство не есть остаток примитивной культуры, а «случаи суровой необходимости» — иметь одно или два поля вместо трех — вследствие незначительности или не-

* Очень приходится жалеть, что об этом селении нет в Сборнике более подробных сведений; так, например, осталось невыясненным, когда именно получили хомяковские крестьяне землю в дар, — до «Положения» или после? Не были ли они «вольными хлебопашцами»? Вообще это селение представляет много интереса: оно очень зажиточно, так как всем составом арендует 1238 десятин земли (53 двора).

удобного расположения надела. В настоящем своем виде трехполье не может считаться значительным шагом вперед: крестьяне Воронежского уезда только местами и в очень небольших размерах начинают удобрять поля, и первенство в этом отношении остается за помещичьими крестьянами. Г. Щербина так объясняет это явление. Помещичьи крестьяне, во-первых, поступают так в силу традиций, навыка, так как они еще при крепостном праве обязательно унавоживали ближайшие свои и господские пашни. Во-вторых, будучи обеспечены землею меньше, чем крестьяне государственные, они естественно стараются восстановить производительные силы истощенной земли искусственным образом. В-третьих, благодаря значительно меньшему размеру их поселков, в сравнении с большими селениями государственных крестьян, пашни их ближе к усадебной оседлости, что и служит благоприятным условием к развитию унавоживания полей. У государственных крестьян больших селений в 500—1000 и более ревизских душ пашни нередко тянутся на расстоянии 10, 15 и даже 20 верст от села; понятно, что на таком расстоянии совершенно немыслимо унавоживать поля, и некоторые большие селения, замечая истощение своих земель, начинают серьезно подумывать о расселении, хотя препятствием к этому служит, как выше было замечено, недостаток воды. С другой стороны, благодаря тому обстоятельству, что земля до сих пор родила хорошо и без удобрения, скотоводство в Воронежском уезде ведется в столь незначительных размерах, что навоза от скота может хватить, по вычислению г. Щербины, только для 12% всей подлежащей удобрению земли. Затем, 8183 крестьянских двора из общего числа 24 тысячи дворов, т.е. 34%, оказываются безлошадными; большая часть таковых обрабатывает свои наделы чужим инвентарем, но думать об унавоживании полей им, конечно, не приходится. Наконец, в степных волостях, составляющих большую часть уезда, где нет леса, навоз является единственным материалом, могущим заменить дрова: из него приготовляют так называемые кизяки. Таким образом, вот в какой связи представляются явления, обусловливающие настоящее положение крестьянского хозяйства: начинает ощущаться малоземелье, выгоны и сенокосы распахиваются, из кормовых веществ получается одна солома, идущая на содержание необходимого как производителя молока количества скота, а навоз, за отсутствием лесов, заменяет собою топливо, поля не унавоживаются, благодаря чему земледелие падает. Причинная связь между этими явлениями так велика, что, несмотря на всю добрую волю крестьянства, оно не может заменить ни одного звена в этой цепи, не изменив и прочих.

Обработка земли производится преимущественно сохами и деревянными боронами; впрочем, начинают появляться понемногу плуги, которых теперь насчитывается по уезду до 200 штук. Препятствием к большему их распространению служат отчасти косность крестьян, отчасти дороговизна их и недостаток лошадей. Чтобы обойти эти препятствия, есть только одна дорога —

артель; и действительно, г. Щербина отмечает факт, что в с. Дмитриевском Ивановской волости «плуги покупаются несколькими товарищами, которые для распашек соединяют своих лошадей, т. е. прибегают к той форме труда, которая известна у малороссов под именем супряги». В среднем по уезду рожь родится сам-5[10], овес — сам-4. Чтобы убедиться, как невысок этот урожай в сравнении с урожаями других стран, припомним, что рожь родится в Пруссии сам-11,1, во Франции — сам-10,3, в Австрии — сам-9,7, а во всей России, включая малоплодородные северные местности — только на 0,5 менее, именно сам-4,5.

Выше я имел случай отметить тот факт, что навоза от крестьянского скота могло бы хватить только на 12% общего количества пашни. Несмотря на это обстоятельство, Воронежский уезд стоит довольно высоко в ряду прочих уездов как относительно количества, так и качества скота. Воронежские битюги известны по всей России; коровы, хотя и простой русской породы, и притом кормящиеся преимущественно соломенной резкой, не уступают, однако, по качеству многим породам северной полосы, кормящимся сеном. Чтобы выяснить степень развития скотоводства в Воронежском уезде, г. Щербина сравнивает количество скота, приходящееся на 1 крестьянский двор в этом уезде, с таковыми же числовыми данными для некоторых других уездов. Оказывается, что на 1 крестьянский двор в Московском уезде приходится 2,2 головы крупного рогатого скота, в Курском уезде — 3,3, в Борисоглебском — 4,5, а в Воронежском уезде 4,6 головы. Что касается до лошадей, то их приходится на 100 душ: во всей России — 24 шт., в Курском и Борисоглебском уездах — по 26 шт., а в Воронежском уезде — 31 шт. Овец приходится на 100 душ по всей России — 70 шт., в Курском уезде — 61 шт., в Борисоглебском — 108, в Воронежском уезде — 110 шт. На 1 десятину пахотной земли приходится голов крупного скота: во всей России — 0,45, в Курском уезде — 0,11, в Борисоглебском — 0,65, в Воронежском — 0,50 шт. (а для удобрения десятины требуется, как известно, 6 голов крупного скота)*. По интенсивности же скотоводство Воронежского уезда стоит значительно выше России вообще, но несколько уступает, например, Курскому уезду. Так, на 1 десятину выгонов и лугов приходится по всей России — 0,40 головы скота, в Воронежском уезде 3,12, а в Курском — 3,33.

Что касается до распределения скота внутри уезда, то оказывается, что у государственных крестьян, если исключить из числа их пригородные слободы, утратившие земледельческий характер, приходится 51 голова крупного скота на 10 дворов, тогда как у крестьян других разрядов — от 39 до 49 голов. Кроме того, при наибольшем обеспечении скотом и самое распределение его по отдельным хозяйствам отличается также наибольшею равномерностью сравнительно с крестьянами остальных разрядов. Именно у государственных

* Мне кажется, впрочем, что для черноземных почв, каковы, например, почвы Воронежского уезда, вполне возможно уменьшить это количество до 4 или 4,5 головы на десятину.

крестьян (опять за исключением слободских) дворов без всякого скота оказывается 9,3%, у прочих разрядов — от 10,8% до 15%, при средней — 12,2%; безлошадных дворов — 18,2%, у прочих — от 21,3%, до 28,8%, при средней — 21,7%. Такая разница в обеспеченности скотом происходит, несомненно, от большей или меньшей обеспеченности данной группы крестьян землей. Какие жертвы должны приносить крестьяне малоземельные, чтобы сохранить status quo своего скотоводства, видно из размеров платы за пастбища. Так, крестьяне с. Щербачевки за пастбище по 70 десятин земли и 70 десятин пара платят 665 р., т. е. в среднем — 4 р. 75 к. за десятину; крестьяне с. Гололобова 1-го «за пастбище на 60 десятин пара и жнивья производят полную обработку и уборку 60 десятин ржи и 60 десятин овса», т. е. переводя труд на деньги (minimum — 10 р. круговая десятина) — платят 600 р. или по 5 р. за десятину пастбища, тогда как арендная цена пахотных земель, но снимаемых участками, не превышает в среднем 6 — 7 руб.

Относительно аренды земли имеются в Сборнике также прелюбопытные данные. Оказывается, что не раз уже констатировалось в других местностях, что количество арендуемой земли обратно пропорционально величине надела, если иметь в виду целые селения или группы крестьян. Так, на 1 двор приходится надельной земли: у государственных крестьян — 13,6 десятины, у собственников — 6,8, у государственных, перешедших в казну от помещиков, — 6,1 и у собственников на дарственном наделе — 2,6 десятины; арендуют же: первые 1,3 десятины на двор, вторые — 2,6 десятины, третьи — 3,1, четвертые 6,8 десятины. Иначе сказать, тогда как % арендной земли к надельной у государственных крестьян составляет лишь 10,2%, у собственников он равен 38,1%, у государственных, бывших помещичьих — 52,2% и у собственников на дарственном наделе — 261,9%. Это относится к арендованию земли вообще; что же касается до арендования собственно пахотных земель, то оно на первый взгляд удивительно восполняет недостаток земли, потребной для поддержания в исправности типичного крестьянского хозяйства. Надельной пахотной земли приходится на 1 двор:

В I группе	....10,1 десятины	или принимая это за 100
II	5,8	56
III	5,1	49
IV	1,2	12
В среднем	8 десятин.	77

Арендует I группа 0,5 десятины, II — 2,1, III — 2,9, IV — 6,6 десятины, в среднем — 1 десятину; прибавляя эти количества к прежним, получим новый ряд соотношений:

I группа ... 10,9 десятины,	или принимая это за 100
II 7,9	72
III 8,0	73
IV 7,8	72
В среднем 9 десятин.	83

Впрочем, успокоительное действие этих цифр (будто бы арендой можно возместить недостаток надела) значительно умаляется при более подробном исследовании, кто именно в малоземельных общинах арендует землю? В Мелитопольском уезде*, например, существует такое же поразрядное восполнение недостаточных наделов арендной землей, но на деле оказывается, что арендуют землю только богатые крестьяне, бедняки же земель или вовсе не арендуют, или очень мало, хотя бы надел их был очень недостаточен; понятно, что такое детальное подразделение арендаторов даст гораздо более верное понятие о действительном положении дела, чем валовые цифры по общинам и по разрядам крестьян.

Возвращаясь к Сборнику, из материалов, собранных для расценки земель, узнаем, что размер арендной платы достигает при подесятинной съемке в раздробь до 25 р. за десятину; в среднем по уезду озимая десятина обходится мелким съемщикам в 16 р., яровая — в 13 р. При съемке же земли целыми участками десятина обходится в среднем в 6 р. 20 к., что составляет лишь 39% арендной цены за десятину пашен, сдаваемых подесятинно.

Приведенный здесь расчет мне кажется несколько неверным: из трех десятин, снятых участком, одна парует; стоимость одной из остальных двух, находящихся под посевом, поэтому выразится (6,26х3) : 2 руб., т. е. 9 р. 30 к., средняя стоимость озимой и яровой десятины, снятых в раздробь, будет (16 + 13)/2 = 14 руб. 50 коп., так что стоимость культивируемой десятины из участка будет составлять не 39% стоимости десятины, снятой в раздробь, а 64%. Но и это последнее процентное отношение многознаменательно: мелкий съемщик платит за землю в $1^1/_2$ раза дороже крупного.

Промыслы в Воронежском уезде за исключением двух подгородных волостей — Придаченской и Чижовской — очень мало развиты; из общего числа работников и работниц занимаются промыслами в указанных двух волостях 50,6 и 52,3%, а в прочих — от 8,7% до 24,8%; в среднем по уезду, включая указанные две волости, занимающиеся промыслами, составляют 17,1%. Да из этого незначительного количества более $^1/_3$, именно 38,5%, суть сельскохозяйственные рабочие. Заработная плата в сельскохозяйственных промыслах возросла за 10 лет на 50 — 75%, а арендные цены за это время удвоились.

* По сообщению К. А. Вернера, заведующего Симферопольским земским статистическим бюро.

Крестьяне характерно очерчивают связь между этими двумя явлениями, говоря, что «земля сильнее дорожает, чем люди».

Глава о меновых процессах рисует нам картину полной зависимости воронежского крестьянского хозяйства от элементов, мало имеющих общего с правильным рыночным спросом и предложением. На хлебных рынках, куда некоторые крестьяне, преимущественно из государственных, доставляют небольшие излишки своих полевых продуктов, происходит не правильная купля-продажа, а нечто вроде грабежа. «Шибаи» — местный термин для скупщиков крестьянских продуктов — не столько удачно покупают, сколько умело плутуют, обвешивают и обмеривают. «Созданные шибаями в этом отношении приемы, — говорит г. Щербина, — составляют массу ухищрений, более или менее известных в среде самих шибаев и получивших значение своего рода воровской техники». Обыкновенное правило у шибаев — утаить меру с двух четвертей зерна, но иногда уходит и мера с четверти, что составляет 12,5% продукта. Отсюда видно, что собственно для крестьянского хозяйства гораздо важнее урегулирование купли у него хлеба, чем какие-либо другие улучшения в хлебной торговле, которые никакого прямого и существенного влияния на крестьянскую куплю-продажу не окажут и сослужат службу лишь крупным хлеботорговцам-капиталистам и экспортерам. Действительно, устройство, например, элеваторов (в их пользу за последнее время раздавались громкие голоса в разных ученых обществах), которые «сохранят» капиталистам от 8,5 до 15 миллионов руб. накладных расходов*, мало принесет (а может быть, и вовсе не принесет) пользы крестьянам, которые и впредь будут терять 12% продукта при продаже его шибаям; гораздо важнее всяких элеваторов были бы для крестьян устройство на хлебных рынках общественных весов и надзор со стороны городов или земств за правильным взвешиванием привозимого для продажи хлеба. Восемь же с половиной или пятнадцать миллионов «сбережений», конечно, имеют значение, — но только для хлеботорговцев и некоторых железнодорожных обществ, и, по моему крайнему разумению, никак нельзя желать скорейшего наступления момента, когда сотни тысяч рабочих, получающих ныне заработок при нагрузке и перегрузке хлеба, останутся ни при чем, будут выкинуты за борт»... У южнорусских крестьян, между прочим, и у воронежских, не существует кустарных или фабричных промыслов: единственные отхожие заработки их — летом — отрядные работы у землевладельцев и косовица в степях, а почти круглый год (правда, для сравнительно незначительного числа) — поденщина в портовых городах (для воронежцев — Ростов-на-Дону); теперь предлагаются меры, ближайшим последствием которых будет уничтожение этой поденщины, причем вся выгода от такого уничтожения достанется, конечно, хлеботорговцам — капиталистам; бедствующий же кре-

* Из докладов М. П. Федорова, читанных в Статистическом Отделении Московского Юридического Общества, в Московском обществе сельского хозяйства и урожаев.

стьянин — а только такой и идет на поденщину в портовые города — лишится заработка, вместо которого дать ему не проектируется ничего. Со времени Петра Великого крупная промышленность и вообще капитал находили всяческую поддержку со стороны правительства: миллиарды пошли «на уширение производства», не пора ли начать делать что-нибудь непосредственно и для крестьянского хозяйства? Не время ли перестать обращать внимание исключительно на сбережение для капитала миллионов и не следует ли, наконец, принять меры к ограничению копеек мужика от наглого расхищения их?..

Опасаясь чрезмерно расширить свой доклад, я лишу себя удовольствия сообщить содержание главы о кредите и оставлю без рассмотрения материалы для оценки земли и разные таблицы, приложенные к Сборнику. Считаю, однако, долгом заметить, что в главе о кредите имеются данные, собранные г. Щербиной в некоторых селениях не обычно принятым путем — поселенной переписью, а с помощью подворной переписи; поэтому данные эти, при специальном исследовании вопроса о крестьянском кредите, должны заслуживать особенного внимания как в значительной степени полные и достоверные.

Перехожу теперь к изложению данных, представляемых Сборником в главе о народонаселении. Выше я имел случай заметить, что преобладающим разрядом крестьян в Воронежском уезде являются государственные крестьяне, число которых простирается до 78% общего количества сельского населения. Средний прирост крестьянского населения со времени ревизии составляет 30,5%. Между приростом населения и величиной земельного надела, обусловливающего благоприятность жизненных условий, существует несомненная связь, неоднократно уже констатированная статистическими исследованиями в других губерниях*. Так, в Темниковском уезде, в общинах,

* Между прочим, подобное же указание есть в очерке г. П. П. Семенова, приложенном к «Статистике поземельной собственности Европейской России» 1880 г. Вып. 1. Там констатировано, что в восьми центральных губерниях Европейской России за 20-летний период произошел следующий прирост населения:

В группах крестьян имеющих	Прирост населения
до 1 дес. надела на душу	16,6%
2	17,1%
3	19,0%
4	21,2%
5	25,4%
6	27,6%
свыше 6	30,3%

Заметим еще, что в центральных промышленных губерниях земля не играет такой роли, как в южных.

имеющих до 3-х десятин надела на ревизскую душу, прирост населения равен 27,8%, а в общинах, имеющих свыше 3-х десятин надела, — 32,5%; в Козловском уезде первая группа общин дает 32%, а вторая — 34% прироста; в Спасском уезде 25% и 38%; в Шацком уезде 30,4% и 33%; в Моршанском уезде 20,2% и 33%; в Курском — 29,3% и 32,8 % и т. д. То же самое мы видим и в Воронежском уезде: государственные крестьяне, имеющие в среднем 5,5 десятины на ревизскую душу, дали приросту 31,4%; собственники, имеющие надел в среднем в 2,8 десятины, дали прирост в 29,1%; наконец, крестьяне, получившие в среднем дарственный надел в 1 десятину, дали только 12,3% приросту. Некоторым исключением является группа крестьян бывших помещичьих, перешедших в казну от помещиков, которая, при несколько меньшем, чем у собственников, наделе (2,5 десятины), дала прирост несколько высший, именно 29,4%; но группа эта настолько немногочисленна (всего 855 душ обоего пола), что два — три лишних рождения могли уже значительно повлиять на повышение % прироста, и поэтому, мне кажется, что данные по этой группе следует игнорировать. Конечно, на прирост населения могли иметь влияние, как прием новых членов, так и выселение коренных жителей; однако оказывается, что прием новых членов производился в столь малых размерах и притом так равномерно по различным разрядам крестьян, что он особенного влияния на прирост населения не оказал (вновь принятые члены у государственных крестьян составляют 0,23% мужского населения, у бывших помещичьих — 0,20%, у получивших дарственный надел — 0,23%). Выселения же в Воронежском уезде происходили не в особенно значительных размерах, массового характера не имели и относились, главным образом, к группе крестьян на дарственном наделе, в меньшей степени — к крестьянам государственным, и еще в меньшей — к прочим группам. В самом деле, сделав в приведенном расчете поправку, состоящую в прибавлении к каждой группе соответствующего числа отсутствующих лиц, найдем новый ряд приростов населения: 36,3%, 31,6% и 18,3%; таким образом, хотя % прироста в последней группе повысился значительнее, чем в первой и второй, но соотношение между % величинами носит прежний характер — убылью в приросте населения соответственно с убылью в надельной земле.

Годичный прирост населения составляет для Воронежского уезда 1,12%. Г. Щербина приводит в подтверждение этого вывода еще следующие соображения. В 1883 г., по поручению уездного предводителя дворянства, была произведена волостными писарями перепись крестьянского населения, причем получилось по уезду 159 357 душ обоего пола; при переписи же 1884 г. получилось 162 259 душ, так, что годичный прирост определяется будто бы в 1,8%. Получающуюся разницу в годичном приросте в 0,7% г. Щербина объясняет годичным колебанием и приростом на прирост. Мне казалось бы проще объяснить эту разницу тем обстоятельством, что перепись 1883 г. произво-

дилась волостными писарями по поручению начальствующего лица, без всякого вознаграждения и без правильного руководства и надзора, так что просто-напросто много семей, преимущественно бездомовых, могло быть пропущено.

Крайне интересный результат дает сопоставление прироста населения по полам. Оказывается, что перевес женского населения над мужским простирался в 1885 г. до 5133 душ, а в 1884 г. — лишь до 2348 душ. Иначе сказать:

I. Государственные крестьяне дали % прироста мужского пола	+ 35,1%,	а женского	+ 27,8%
II. Государственные, перешедшие в казну от помещиков, дали	+ 36,6% мужского	и	+ 22,7% женского
III. Собственники —	+31,5% мужского,		+ 26,7% женского
IV. Собственники на дарственном наделе —	+ 16,1% мужского,		+ 8,5% женского
Всего —	+ 34,1% мужского	, а женского	+ 27,1%

Таким образом, если это соотношение между приростами полов продолжится и в будущем, то легко даже определить момент, когда численность полов сравняется и когда Воронежский уезд начнет принадлежать к местностям, где мужское население преобладает над женским. По Янсону («Сравнительная статистика», т. I, стр. 50), местность с преобладанием мужского населения занимает полосу, начинающуюся с центральной и северной Азии и захватывающую Кавказ, всю южную Россию, Румынию, Сербию, Грецию, Италию, южную половину Франции, долину Рейна и Бельгию. Действительно, статистические исследования, проведенные в разных уездах черноземной полосы России, показывают, что: 1-е) мужское население почти всюду преобладает на юге России и притом замечается постепенная относительная убыль женского населения в более северных местностях, так что 2-е) граница полосы с преобладанием мужского населения постепенно подвигается к северу, становясь шире. Например, в Ростовском-на-Дону уезде при ревизии женское население составляло 100,7% мужского, а в 1883 г. — только 97,3%; в Зеньковском уезде Полтавской губернии женское население составляет 98,1% мужского; в Миргородском уезде 98,2%; в Полтавском уезде 98,1%; в Спасском уезде при ревизии соотношение полов давало 104,4%, а в 1882 г. 103,1%; в Козловском уезде 102,6%, а в 1881 г. 101,3%; в Темниковском уезде 103,2% и 100,2%; в Елатомском уезде 102,4% и 101,3%; в Борисоглебском — 102,8% и 102,3%; в Рязанском — 105,4% и 103,1%; наконец, в самом Воронежском уезде 108,6%, а теперь — 102,9%. Это же явление — относительное уменьшение числа женщин — замечается и в Московской губернии, хотя несколько в слабейшей степени, а именно: в 1858 г. женщины составляли во всей Мо-

сковской губернии 109,4% мужчин, в 1869 г. — 109%, а в 1883 г. — 107,6%. Из всех уездов, рассмотренных мною для констатирования этого факта, некоторое исключение представляют два уезда Тамбовской губернии — Шацкий и Моршанский: в первом численность женщин составляла в 1858 г. 101,5%, а в 1882 г. — 101,6%, т.е. произошло увеличение на 0,1%, во втором — отношение 1858 г. — 101,3% — сохранилось до 1881 г. без изменения. Но мне кажется, что эти два исключения не могут ослабить впечатления, производимого предыдущим рядом цифр, несомненно указывающим, что мужское население численностью своей постепенно берет перевес над женским во многих местностях черноземной и даже нечерноземной полосы России.

Г. Щербина по поводу этого факта говорит, что «его нельзя объяснить исключительно одними экономическими причинами и, в частности, неодинаковым обеспечением крестьян землею. Последнее обстоятельство не имеет тут никакого значения. Так, государственные крестьяне обеспечены наибольшим земельным наделом, а крестьяне, получившие в дар землю, наименьшим, между тем прирост женского населения оказывается у первых меньше на 7,3% сравнительно с мужским, а у вторых — на 7,9%*. Получаются, следовательно, почти одинаковые результаты, несмотря на громаднейшую разницу в обеспечении земельною собственностью обеих групп населения». Я позволю себе в данном случае не согласиться с уважаемым автором вследствие того, что он делает, как мне кажется, неправильный вывод из имеющегося в его распоряжении цифрового материала. Действительно, хотя разницы в приростах между полами у указанных разрядов крестьян абсолютно почти и равны (7,3% и 7,9%), но относительно они совершенно не равны: 27,8/35,1, далеко не есть то же, что 8,5/16,4, иначе сказать, прирост женского населения лишь на 21% меньше прироста мужского у государственных крестьян, но у собственников дарственного надела разница эта достигает 47%, т. е. женское население возрастает у этих последних почти вдвое медленнее, чем мужское, тогда как у первых на $^{1}/_{5}$ медленнее.

Еще в 1882 году, группируя данные, собранные Воронежской уездной земской управой для исчисления размера понижения выкупных платежей, я заметил, что в селениях, менее обеспеченных землей, % женщин значительно ниже, чем в селениях, более обеспеченных землей («Воронежский телеграф», 1883 г. № 8). То же самое, и еще с большею уверенностью, должен я сказать и теперь, рассмотрев материалы несравненно более обширные и достоверные, чем те, которыми я располагал прежде.

Деление крестьян по разрядам довольно примитивно: есть общины государственных крестьян, наделенных землею в меньшем размере, чем некоторые общины крестьян-собственников; есть, наконец, общины крестьян-собственников, имеющие меньший надел, чем общины собственников на

* См. предыдущую таблицу.

дарственном наделе. Поэтому, чтобы сделать самое верное заключение относительно этого вопроса, следует разгруппировать непосредственно общины, к каким бы они разрядам ни принадлежали, по величине их надела. Разгруппировав таким образом общины *Воронежского уезда*, я получил:

В общинах с наделом на душу до 2 десятин $\frac{\text{м.п. } 3408}{\text{ж.п. } 3349}$ = 98,3% ж.

2-4 $\frac{\text{м.п. } 17936}{\text{ж.п. } 18154}$ = 101,2% ж.

4 десятины и выше $\frac{\text{м.п. } 58614}{\text{ж.п. } 60798}$ = 103,7% ж.

Таким образом, %-ное отношение женщин к мужчинам возрастает пропорционально возрастанию размеров надела. Такой же расчет, но с делением только на две группы, я сделал для *Борисоглебского уезда*; оказалось, что:

В общинах с наделом до 2 десятин $\frac{\text{м.п. } 5100}{\text{ж.п. } 5110}$ = 100,2% ж.

2 десят. и выше $\frac{\text{м.п. } 108865}{\text{ж.п. } 111275}$ = 102,2% ж.

В *Дмитровском* же *уезде* Курской губ.:

В общинах с наделом до 3 десятин $\frac{\text{м.п. } 17322}{\text{ж.п. } 16592}$ = 95,8% ж.

3 десятины и выше $\frac{\text{м.п. } 32699}{\text{ж.п. } 31543}$ = 9 6,5% ж.

Получаются, следовательно, цифры, совершенно подтверждающие вышесказанное. Наконец, я взял целый ряд уездов и, не имея возможности за недостатком времени делать подсчеты по отдельным общинам, остановился на грубых поразрядных делениях крестьян; вот какие я добыл результаты, несмотря на то что поразрядные деления не дают таких точных цифр, как общинные.

В *Зеньковском уезде* Полтавской губернии по переписи 1882 г. значится:

Казаков, государственных крестьян и казенных крестьян (надел на работника 4,5 — 5,5 десятины) $\frac{\text{м.п. } 43671}{\text{ж.п. } 42422}$ = 99,4% ж.

Бывших помещичьих крестьян (0,6— 2,5 десятины на работника) $\frac{\text{м.п. } 10939}{\text{ж.п. } 10473}$ = 95,7% ж.

В *Миргородском уезде* той же губернии:

Казенные и государственные крестьяне (надел 5 десятин на работника)	м.п. 36923 / ж.п. 36490	= 98,8% ж.
Бывшие помещичьи (надел 2,2 дес. на работника)	м.п. 20863 / ж.п. 20267	= 97,1% ж.

В *Рязанском уезде* по переписи 1882 г.:

Временнообязанные крестьяне (на душу — 2,3 десятины).	м.п. 10118 / ж.п. 10335	= 102,1% ж.
Государственные крестьяне и государственные бывшие помещичьи (на душу — 2,7 десятины)	м.п. 20055 / ж.п. 20565	= 102,5% ж.
Собственники (на душу — 3 десятины)	м.п. 45550 / ж.п. 47141	= 103,3% ж.
Полные собственники (на душу — 6,9 десятины)	м.п. 494 / ж.п. 540	= 109,3% ж.

В *Фатежском уезде* Курской губ.:

Крестьяне на дарственном наделе и безземельные (на душу 0,7 десятины)	м.п. 2083 / ж.п. 2015	= 96,7% ж.
Крестьяне-собственники (на душу 2,5 десятины)	м.п. 10340 / ж.п. 10243	= 99% ж.
Государственные всех разрядов (на душу 4,1 — 4,4 десятины)	м.п. 40329 / ж.п. 40612	= 100,7% ж.

В *Курском уезде:*

Бывшие помещичьи (на ревизскую душу около 2,4 десятин)	м.п. 15888 / ж.п. 15429	= 97,1% ж.
Государственные (на ревизскую душу — 3,19 десятины)	м.п. 53984 / ж.п. 53362	= 99,5% ж.

В *Суджанском уезде:*

Бывшие помещичьи (на ревизскую душу около 2 десятин)	м.п. 18656 / ж.п. 17606	= 97,1% ж.
Государственные (на ревизскую душу около 4 десятин)	м.п. 44617 / ж.п. 42991	= 96,1% ж.

В *Козловском уезде* Тамбовской губ.:

Собственники (на ревизскую душу 2,5 десятины)	м.п. 40042 / ж.п. 40015	= 99,9% ж.
Государственные (на ревизскую душу 4,5 десятины)	м.п. 83172 / ж.п. 84474	= 101,1% ж.
Полные собственники (на ревизскую душу 9,9 десятины)	м.п. 795 / ж.п. 951	= 119,6% ж.

В *Спасском уезде:*

Государственные крестьяне (на ревизскую душу 4,3 десятины)	м.п. 40470 / ж.п. 41820	= 103,3% ж.
Прочие разряды (на ревизскую душу около 2 десятин)	м.п. 11748 / ж.п. 12022	= 102,3% ж.

Мне кажется, что этот ряд примеров должен навести на мысль, что совпадение лучшего экономического положения крестьян с большею численностью особей женского пола не есть случайное совпадение, а нечто постоянное, и что если такие колебания в численности женского населения нельзя объяснить одними экономическими причинами, то, во всяком случае, следует их иметь в виду при изучении этого любопытного явления. Лично мне казалось бы возможным объяснить это обстоятельство и одними экономическими причинами, но так как вопрос этот к настоящему докладу отношения не имеет, то я позволю себе обойти его молчанием и укажу лишь на статью г. Н. Д. Соколова в газете «Земский Обзор» за 1884 г. — «Возрастно-половой состав и экономический быт подмосковного населения, как результат «власти земли»», — в которой автор указывает на существующую связь между относительной численностью женщин и интенсивностью или экстенсивностью земледельческого хозяйства данной местности.

Возвращаясь к Сборнику, я сделаю еще одно указание на любопытное сопоставление цифр, делаемое г. Щербиной для доказательства, что «средний размер семьи уменьшается по мере уменьшения прироста населения у разных разрядов крестьян». Мне казалось бы, впрочем, что эта фраза должна бы быть переделана таким образом: «по мере уменьшения прироста населения, уменьшается и средний размер семьи». Вот, однако, какие сопоставления дает нам г. Щербина.

	% среднего прироста населения	Средняя семья
I. Государственные крестьяне	31,4	6,8
II. Государственные, бывшие помещичьи	29,4	6,3
III. Собственники	29,1	6,4
IV. Собственники на дарственном наделе	12,3	6,0

В подтверждение вышеизложенного мнения в Сборнике приведен ряд конкретных примеров, из которых особенно замечателен следующий: крестьяне-собственники на дарственном наделе с. Ивановки Катуховской волости, экономическое положение которых блестяще (они получили в дар по 2 десятины на душу и арендуют всем обществом землю своих бывших владельцев), в противность прочим общинам этой группы, имеют и высокий % прироста населения (52,8%) и семьи, численностью своей превышающие даже средние семьи государственных крестьян (6,9).

В заключение я позволю себе еще раз указать на блестящее выполнение «Воронежского Сборника» и, как практическое следствие моего доклада, имею честь предложить Статистическому Отделению выразить свое пожелание, дабы составители земско-статистических сборников снабжали их, по возможности, такими же многочисленными и изящно выполненными картами, какими снабжен воронежский Сборник Ф. А. Щербины.

Впервые опубликовано: Юридический вестник. 1886. Т. XXI. Кн. 1. С. 159-183.

ПРИМЕЧАНИЯ

В ВОЛОСТНЫХ ПИСАРЯХ

ОЧЕРКИ КРЕСТЬЯНСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

1 По установившейся традиции автор решил не указывать в своих очерках ни конкретных имен, ни населенных пунктов. В данном случае речь идет о Воронежском уезде Воронежской губернии.

2 С 1879 по 1888 г. предводителем дворянства в Воронежском уезде был Михаил Павлович Савостьянов (1848-1898). Имел чин статского советника // [Некролог]. Воронежский телеграф, 1898. 31 мая.

3 Так автор именует село Сухие Гаи Воронежского уезда. В этом селе проживал М.П. Савостьянов.

4 Под селом Демьяновское Астырев называет село Орлово Воронежского уезда.

5 Речь идет об «Общем положении о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». В этом законодательном акте, сопровождавшем знаменитый Манифест 19 февраля 1861 г., излагались основные принципы и правила крестьянского самоуправления, в том числе нормы землепользования, правила разрешения имущественных споров, исполнения государственных и местных повинностей и т.п.

6 С бураками — с отворотами (просторечное).

7 Пятидворные — так назывались крестьяне-домохозяева, участвовавшие на волостных сходах в качестве представителей от пяти дворов.

8 Старновка — обмолоченная рожь.

9 Мера, или четверик, или $^1/_8$ четверти — единица объема сыпучих тел, вмещавшая примерно 20 кг зерна.

10 Рига — сарай, в котором крестьяне молотили ржаные или пшеничные снопы.

11 Гумно — огороженный участок крестьянского двора, на котором обычно размещалась рига и проводился обмолот зерна.

12 Пунька — сарай или отдельный чулан для хранения сена.

13 Клеть — неотапливаемая пристройка хозяйственного назначения.

14 Деньщица — т.е. дежурная по кухне.

15 Десятник (десятский) — крестьянин, представляющий десяток дворов на сельском сходе или на общественных работах.

16 Непременный член — должностное лицо, фактически выполнявшее функции руководителя учреждения, председателем которого номинально являлся губернатор либо иной высокопоставленный чиновник. В данном случае речь идет о руководителе уездного по крестьянским делам присутствия.

17 Четвертак — просторечное название монеты достоинством в 25 копеек.

18 Синенькая — купюра достоинством в 5 рублей.

19 В данном случае Астырев упоминает о фигурантах коррупционных судебных дел, получивших в те годы всероссийскую известность. См.: Кони А.Ф. Из записок судебного деятеля // Собрание сочинений в 8 томах. М., 1966. Т. 1.

20 Четверочка — в данном случае четверть ведра, немногим более 3 литров, так как в дореволюционной России ведро являлось казенной мерой жидкости объемом 12,3 л.

21 Магазеи (магазины) — помещения для хранения запасного продовольственного и семенного зерна на случай стихийного или иного бедствия. Устраивались в соответствии с продовольственным уставом, разработанным во второй четверти XIX в. См.: Рогожина А.С. С.Ю. Витте и продовольственный вопрос в России // Вопросы истории. 2016. № 7. С. 76.

22 Кочетовская — так Астырев именует в своих очерках волость, центром которой было село Орлово.

23 Раскладка податей — подушевое или подворное распределение налогов и сборов. В сельских обществах действовала круговая порука, при которой крестьяне несли коллективную ответственность за уплату государственного поземельного налога, земских (губернских и уездных) сборов, мирских сборов, шедших на удовлетворение потребностей самой общины, выкупных платежей за полученную после реформ 1860-х гг. землю, а также страховых сборов, собиравшихся на случай стихийных бедствий.

[24] Осьминник — восьмая часть десятины, или около 14 соток земли в метрической системе.

[25] Штрах — т.е. штраф.

[26] Штоф — мера жидкости, равная 1,23 л (одной десятой части ведра).

[27] Полуторадесятинный — очень малый, вполовину меньший нормы.

[28] Глоты — т.е. хапуги.

[29] Ревизская душа — по российскому законодательству крестьяне мужского пола работоспособного возраста, обычно от 7 до 60 лет, учет которым велся в так называемых ревизских сказках, составлявшихся при проведении периодических переписей сельского населения или ревизий.

[30] Четверток — здесь $^{1}/_{4}$ десятины казенной площадью в 2400 кв. саженей.

[31] Сотенной — т.е. отведенной в коллективное пользование сотне или части общины.

[32] Гаять — беседовать, предполагать.

[33] Зажоры — здесь: лужи от талого снега.

[34] Допреж — т.е. прежде.

[35] Денной — т.е. дневной. В данном случае — открытый, откровенный, наглый.

[36] Угольское — так Астырев именует одно из сел Кочетовской волости.

[37] Бадиг — трость, палка.

[38] Олех — местное название ольхового леса.

[39] Преосвященный — руководитель церковной епархии.

[40] Скопии — т.е. копии.

[41] Ревизия — проводившиеся государственными учреждениями переписи податного населения в России до отмены крепостного права. Последняя X ревизия была проведена в 1858 г. По результатам ревизий составлялись переписные книги (ревизские сказки), содержавшие сведения о наличном населении сел и деревень.

[42] Сборня — т.е. место сбора податей.

[43] Бобыль — безземельный крестьянин.

[44] Сажень — русская мера длины, равная 3 аршинам, или 213,36 см.

[45] «Чижик» — т.е. рубль.

[46] Косушка — полбутылки.

[47] Осьмуха — здесь полчетверти, примерно 1,5 л.

[48] Страх — т.е. проводит страхование.

[49] Sic — именно так (лат.).

[50] De jure — т.е. формально.

[51] В данном случае автор ошибается. Перепись 1897 г. показала, что при общей численности населения Российской империи в 125 млн человек доля крестьянства составляла 83%.

[52] Шкалик — мера жидкости, около 62 г. В данном случае автор неточен; на каждого пришлось бы по 2,5 шкалика.

[53] Конаться — т.е. считаться, соревноваться.

[54] Четверть — русская мера объема для сыпучих тел, примерно 210 л, вмещала примерно 10 пудов зерна. Осьмина — половина четверти.

[55] Десятая и последняя ревизия была проведена в 1858 г. По ее итогам были составлены ревизские сказки, или переписные книги крестьянского населения.

[56] Маклаки — спекулянты, ростовщики.

[57] Гаманок — кожаный кошелек для денег.

[58] Гласные — по положению о земских учреждениях как о выборных органах общественного самоуправления так именовались избранные в состав уездного или губернского земского собрания представители от дворянства, городских собственников и крестьянства. Каждое сословие обязано было избрать гласных по определенной квоте. Срок полномочий гласных был установлен в три года.

[59] Парина — т.е. пар, земельный участок, на котором не было посевов, земля отдыхала.

[60] Выборы гласных уездного земского собрания проводились путем опускания шаров в белую («за») или черную («против») сторону ящика или урны.

[61] По действовавшему закону в дореволюционной России нельзя было описывать за долги ту часть крестьянского имущества, без которой могло наступить расстройство хозяйства.

[62] Ходить за «кусочками» — т.е. нищенствовать.

[63] Фунт — мера веса, равна 409,5 г.

[64] Радужная — денежная банкнота достоинством в 25 рублей.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В ВОРОНЕЖСКОМ УЕЗДЕ

[1] Орлов Василий Иванович (1848-1885) — земский деятель, с 1875 г. — заведующий статистическим бюро Московского губернского земства. Организатор массовых статистических исследований жизни российского крестьянства. Образцовые труды Орлова стимулировали развитие статистических исследований жизни деревни в регионах России. В 1884 г. помог организовать работу статистического бюро Воронежского земства, возглавляемого Ф.А. Щербиной.

[2] Дарственными крестьянами именовались бывшие крепостные, получившие после отмены крепостного права бесплатный надел, составлявший $^1/_3$ часть определенного для данной местности высшего надела. Большинство крестьян получило земли по нормам высшего надела (в Воронежской губернии эти нормы колебались от 3 до 4 десятин на ревизскую или мужскую душу). Но за полные наделы крестьяне должны были нести повинности перед своими бывшими господами, а затем выкупать их в качестве общинной собственности с помощью государственного кредита и погашать возникший перед государством долг так называемыми выкупными платежами.

[3] Перешедшими в казну от помещиков здесь названы крестьяне, право собственности на которых несостоятельные помещики утратили за непогашенные долги перед государственными кредитными учреждениями.

[4] Крестьянами-собственниками в официальном делопроизводстве пореформенной России именовались бывшие помещичьи крестьяне, оформившие выкуп земельной собственности со своими бывшими помещиками.

[5] Экономическими назывались бывшие монастырские крестьяне. Право обладания крепостными монастыри утратили в царствование Екатерины II.

[6] Мировые посредники — должностные лица, назначенные после 1861 г. из местных дворян для контроля за правильным ходом ликвидации крепостного права.

[7] Четвертные земли — земли, пожалованные государством служилым людям (однодворцам), расселявшимся на юго-восточной окраине Русского государства в 16-17 вв. Термин связан с названием условной единицы надела (четверти). Семьи однодворцев получали разное количество четвертей в зависимости от доли каждой семьи в общем владении села. Размер четверти не был фиксированным и зависел от местных условий. Земли на четвертном праве считались государственными. Однако в XIX в. государственные крестьяне (бывшие однодворцы) фактически обладали правом постоянного и наследственного их пользования с обязанностью уплаты в казну оброчных статей.

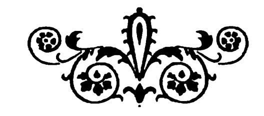
[8] Речь в данном случае идет о реформе государственной деревни, проведенной в 1837-1841 гг. графом П.Д. Киселевым. Реформа эта упорядочила систему управления государственными крестьянами, в том числе узаконила выборное общинное самоуправление крестьянских селений, а также порядок уравнительного землепользования.

[9] Огуменник — здесь: площадь земли, отведенная под гумно, на котором сушилось, обмолачивалось и хранилось зерно нового урожая.

[10] Урожайность в *самах* определялась путем деления выращенных зерен на семена.

М.Д. Карпачев

ПРИЛОЖЕНИЯ



Жизнь воронежской деревни конца XIX века глазами писателя-демократа

В очередном томе серии историко-литературных памятников Воронежского края публикуется уникальное в своем роде сочинение. В представленном произведении нет ярких или героических эпизодов, нет в нем и бурной интриги. Зато на его страницах развернута широкая панорама народной жизни нашего края на исходе существования самодержавно-монархической государственности. Создал эту картину скромный интеллигент, писатель-демократ, народник по взглядам и образу жизни Н.М. Астырев.

Любопытен и вместе с тем вполне типичен для русского интеллигента жизненный путь этого теперь почти забытого писателя. Родился Николай Михайлович Астырев 16 ноября 1857 г. в г. Тихвин Новгородской губернии. Он был внебрачным и, по условиям того времени, незаконнорожденным сыном богатого помещика-генерала. По собственному признанию будущего писателя, отец дал ему хорошее начальное воспитание. Но уже в девятилетнем возрасте мальчик был отдан пансионером в первую Петербургскую гимназию. Это означало, что уже с детских лет Николай Астырев был лишен семейных забот и должен был встать на путь самостоятельного развития. Через некоторое время он перешел в московскую гимназию, затем учился в реальном училище Москвы. Окончив его, он поступил в Петербургский институт инженеров путей сообщения. Учился там Астырев недолго, всего полтора года. В 1880 г. он из института был отчислен. По воспоминаниям знавшего его ветерана народнического движения Н. Бондырева, он был отчислен за связи с революционными студенческими кругами и выслан из столицы административным порядком[1].

Несколько месяцев ему пришлось зарабатывать на жизнь тяжелым и плохо оплачивавшимся канцелярским трудом. Эта работа Астыреву быстро надоела, и некоторое время спустя, а точнее в мае 1881 г., он отправился в Воронежскую губернию, имея целью поселиться в одной из деревень и служить там в качестве волостного писаря. Мотивы столь необычного для

бывшего студента-путейца поступка заслуживают особого внимания. В публикуемых очерках Астырев по этому поводу писал: «Конторские занятия, единственные для меня доступные, опротивели мне вконец, благодаря сухости и безжизненности: хотелось живого дела, хотелось общения с живыми людьми, хотелось доказать самому себе свою пригодность на служение истинно общественным нуждам, а не на одно только служение интересам «компаний и товариществ»; думалось, что такое служение может иметь место единственно в деревне».

Итак, определяющим был мотив служения простому народу. Во второй половине XIX в. такой мотив был вполне в традициях русской демократической интеллигенции. После отмены крепостного права и серии крупнейших преобразований 1860-х гг. общественная жизнь в России отличалась исключительно быстрым и сильным распространением идей народничества. Со времени А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского в политическом сознании радикально настроенной молодежи сложился устойчивый образ трудового народа, страдающего от жестокой эксплуатации со стороны привилегированных классов и самодержавного государства. При этом в русском народе, главным образом в крестьянстве, идейные сторонники Чернышевского усматривали особую предрасположенность к социализму, самому справедливому, как полагали интеллигенты-демократы, строю. В кругах революционеров широко распространилась наивная уверенность в том, что русский мужик — коммунист, так сказать, по самой своей природе.

На протяжении двух десятилетий после крестьянского освобождения эта уверенность вдохновляла интеллигентов-народников на отчаянную схватку с ненавистным режимом самодержавия. В середине 1870-х гг. демократическая молодежь России предприняла беспрецедентную попытку прямого контакта с крестьянством. Тысячи энтузиастов развернули знаменитое «хождение в народ». Сначала путем так называемой летучей пропаганды, затем в стационарных поселениях участников тайного общества «Земля и воля» народники попытались поднять крестьянские массы на социальный протест. Однако пылким замыслам революционеров не было суждено сбыться. «Хождение в народ» закончилось провалом, крестьянство осталось глухо к народническим проповедям. Возникшее в 1879 г. тайное общество «Народная воля» переключило энергию революционной интеллигенции на прямую политическую борьбу с властью, началась подготовка заговоров, а затем поднялась волна революционного террора. Убийство 1 марта 1881 г. императора Александра II вскрыло иллюзорность политической тактики народовольцев. Цареубийство не вызвало массовой поддержки революционеров, скорее наоборот. Среди крестьян распространились антиинтеллигентские, антидворянские и даже антиеврейские настроения. Ходили слухи, что царя-Освободителя убили противники крестьянской свободы.

В годы царствования Александра III (1881-1894) в стране утвердилась атмосфера политического консерватизма. Тяжелый кризис, поразивший революционное народничество, породил у значительных слоев русской интеллигенции настроения уныния и пессимизма. Время открытой и зачастую отважной схватки с самодержавием сменилось так называемой «эпохой малых дел», во время которой разобщенные, но все еще многочисленные деятели народнического толка все более попадали под влияние идей «культурничества». Под последним термином понималась тихая и скромная, но систематическая работа по развитию народного просвещения, по подъему крестьянской экономики, по улучшению правовой ситуации в деревне и т.п. Однако в любом случае мотив служения простому народу оставался доминирующим в жизни демократической интеллигенции.

Идея долга перед народом глубоко укоренилась в мировоззрении народников-социалистов. В пореформенную эпоху сотни интеллигентов трудились сельскими учителями, врачами, агрономами, стремясь наладить контакты с крестьянскими массами. Но социалистам-интеллигентам так и не удалось установить сколько-нибудь прочной связи своей идеологии с социальной психологией крестьянства. Поклонники народничества не могли не задаваться вопросом: что же происходит? Почему не осуществляется крестьянская революция, почему сохраняют политическую инертность народные массы? Ответы приходилось искать путем глубокого и тщательного изучения социально-экономического развития страны, в том числе состояния русской пореформенной деревни. Нужно было глубже познать крестьянство, его интересы, потребности, оценить его экономическое и социальное положение. В слабом знании народа лежали, по мнению интеллигентов-демократов, коренные причины спада общественного движения в 80-е гг. XIX в. Отсюда понятен основной мотив ухода Астырева в деревню. В своих очерках он так и объясняет: «Я постарался как можно убедительнее доказать, что теперь, ввиду назревших крестьянских вопросов, требующих решения, и правительству, и обществу необходимы точные сведения о крестьянском быте, а иметь таковые возможно лишь при наитеснейшем общении с крестьянской средою; затем я сказал про себя, что чувствую потребность в осмысленной работе на пользу своему ближнему...».

Однако в поступке Астырева просматривалось не только альтруистическое стремление помочь «страдающему народу». Интеллигент думал и о себе, о смысле собственного существования. А этот смысл русскому интеллигенту того поколения виделся в бескорыстном служении трудящемуся народу. При этом само собой считалось, что простые труженики остро нуждаются в таком интеллигентском служении. Словом, действовал Астырев вполне в духе пореформенного времени, когда народнические мотивы оказывали сильнейшее воздействие на всю общественную жизнь России, на развитие ее литературы,

живописи, музыки и политики. Поступок Астырева современникам не казался экстравагантным, фактов подобного рода было тогда немало.

Выбор Воронежской губернии для поселения оказался в определенном отношении случайным. Место волостного писаря Астыреву помог найти его товарищ, студент, сын землевладельца Воронежской губернии. С помощью своего коллеги будущему автору очерков удалось познакомиться с предводителем дворянства Воронежского уезда М.П. Савостьяновым, от которого, собственно, и зависели все учреждения крестьянского самоуправления. Важнейшей особенностью административного устройства в провинциальной России вплоть до начала XX в. являлось то, что фактическое руководство в нем принадлежало не назначенному чиновнику, а выбиравшемуся каждые три года местным дворянством предводителю. Такое положение нарушало стройность административной системы самодержавной России, но объяснялось объективными причинами. Правительство таким путем снижало накал возможного недовольства дворян после потери ими привилегии владеть крепостными крестьянами. Одновременно высшие власти экономили на содержании местной администрации. В своих очерках Астырев убедительно показал, как в пореформенной русской деревне сохранялась поистине безграничная административная власть руководителей дворянской сословной корпорации.

В опубликованном тексте Астырев предпочел не указывать точных мест своего пребывания, не назвал он и подлинных имен действовавших лиц. Однако, как убедительно показал в своих воспоминаниях тот же Н. Бондырев, бывший студент поселился сначала в селе Рождественская Хава, а затем переехал в село Орлово, в ту пору Воронежского уезда, а ныне Новоусманского района. В первом из названных сел пребывание оказалось кратковременным. Оно понадобилось для своеобразной стажировки: предводитель дворянства сначала назначил Астырева помощником волостного писаря. Более опытный писарь должен был ознакомить новичка со спецификой работы в низовой крестьянской канцелярии. После переезда на самостоятельную должность в с. Орлово к Астыреву приехала его жена Евгения Николаевна, дочь известного писателя-народника Н.Н. Златовратского. Супруга писаря имела медицинское образование и оказывала врачебную помощь как помещикам, так и крестьянам, причем последних она лечила, как правило, бесплатно. У жившей в простой крестьянской избе молодой четы было трое детей.

Здесь стоит отметить, что волостной писарь был заметной фигурой в повседневной крестьянской жизни пореформенной эпохи. Формально его функции определялись принятым в 1861 г. Общим положением о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. Согласно этому положению, в волости, как сельской административно-территориальной единице, создавалось волостное правление во главе с волостным старшиной. Выборы старшины проводились раз в три года на волостном сходе крестьян-домохозяев, представлявших

входившие в состав волости сельские общества. Ведение же документации (или книг) волостного правления возлагалось на волостного писаря. В книгах правления записывались решения и приговоры волостных сходов и крестьянских сословных судов, сделки и договоры — «вообще по оному письмоводство». Правление нанимало писаря, устанавливало ему жалованье, а он обязан был «верно и в порядке вести означенные книги и с надлежащею точностью излагать в бумагах и свидетельствах, выдаваемых от волостного старшины, волостного правления, волостного суда и волостного схода, то, что было там положено и решено»[2].

Закон, таким образом, возлагал на писаря чисто исполнительские функции: переписку полученных от уездных и губернских властей бумаг, выдачу всякого рода справок, исполнение обязанностей секретаря волостного правления и крестьянского волостного суда. В административной системе провинциальной России должность волостного писаря была одной из самых низших. «Что такое, — отмечает Астырев, — волостной писарь? В глазах начальства всякого рода — это пария, это раб без мысли и воли, обязанный беспрекословно выполнять всякие требования, быть на все руки...». При этом отношение к волостным писарям со стороны любого начальства было, как правило, грубым, высокомерным. Испытав это в полной мере и на себе, Астырев подчеркивает, что «положение порядочного человека, попавшего в писарскую шкуру, почти невыносимо». Все должностные лица крестьянского самоуправления, как выборные, так и наемные (старшины, старосты, писаря), состояли под непосредственным началом уездного предводителя дворянства, «и в его власти их карать и миловать, а следовательно, увольнять от должностей и назначать на оные», — разъяснял своим читателям Астырев.

Полная зависимость от сильных мира сего была тяжела и унизительна. Но для писателя-народника еще более горьким оказалось то обстоятельство, что крестьянство, со своей стороны, смотрело на него (особенно в первые дни) как на представителя официальных властей и проводника их воли и поэтому испытывало по отношению к нему чувство непреодолимой отчужденности и даже прямой вражды. В глазах мужиков, констатировал Астырев, волостной писарь — это «тонкая бестия, законник, крючкотвор, которым, в случае нужды, и можно попользоваться, но вообще же лучше быть от него подальше, как от души продажной, за рубль-целковый на все готовой». Немало трудов и терпения пришлось потратить Астыреву на то, чтобы хоть отчасти развеять у крестьян подозрительное отношение к своей личности. В конце концов ему это удалось. Именно поэтому, находясь в самой гуще крестьянского мира, писатель сумел нарисовать реалистическую картину сельской жизни в пореформенной России.

Особенно широкие возможности для изучения жизни деревни, крестьянских обычаев и нравов открылись перед Астыревым потому, что в качестве

волостного писаря ему пришлось выполнять обязанности секретаря волостного суда. Это своеобразное сословное учреждение было введено после отмены крепостного права совсем не случайно. Не располагая ни финансовыми, ни кадровыми возможностями для создания в крестьянской среде современной системы правосудия, самодержавие вынуждено было провозгласить опору на здравый смысл и на бытовые традиции народа. На волостных сходах крестьяне выбирали собственные сословные суды, компетенция которых ограничивалась рассмотрением внутриобщинных и семейных конфликтов, трудовых споров, бытовых правонарушений и т.п. Избранные на сходе судьи (от 4 до 12) специальными юридическим познаниями не обладали и должны были в своих решениях полагаться не столько на закон, сколько на обычай. За три года жизни в Воронежском уезде Астыреву пришлось присутствовать при разборе около 600 дел, поскольку волостные суды заседали практически еженедельно. Не менее одной трети домохозяев волости, вспоминал писатель, «перебывало при мне на волостном суде, и я имел полную возможность наблюдать и изучать как общий характер предъявленных исков, так и характер даваемых на предъявляемые иски ответов».

Какие же впечатления вынес из деревни писатель-демократ? Приходится признать, что впечатления эти были далеко не радостными. Тяжелый, изнурительный труд, мрак невежества, широко распространившееся пьянство часто повергали Астырева в тягостные раздумья о судьбах простого русского народа. Но особенно горькие впечатления остались у писателя от предрассудков крестьян, зачастую делавших их жертвами в руках предприимчивых и оборотистых «мироедов»-кулаков. С тяжелым чувством автор рассказывал, например, о том, как крестьяне на одном из сходов приняли фактически необоснованное и явно несправедливое решение сослать в Сибирь одного своего земляка. «Грустна вся эта история! — сетовал писатель. — Только твердое мое намерение не скрывать ни хорошего, ни дурного из того, что я узнал о тысячной доле русского народа, жительствующего в одном уголке Воронежского уезда, заставляет меня передавать эти факты. Грустно, что экономические условия создали людей, не останавливающихся перед уводом последней лошади у пахаря, грустно, что эти пахари, ослепнув от страха и злобы, обрушиваются гневом своим на невинных людей».

Особую тревогу и горечь писателя вызывало то, что в деревне ему пришлось наблюдать быстрый рост кулачества и самой беззастенчивой хищнической эксплуатации крестьянства. Социальному облику «мироеда», его растущей роли в пореформенной деревне посвящены, пожалуй, наиболее сильные и яркие страницы очерков. Подробно описав приемы и методы кулацкой эксплуатации крестьянства, Астырев приходит к совершенно справедливому заключению, что кулаки «никак не могут считаться наносным или случайным явлением в деревне: они — экономическая категория, они — продукт, неизбеж-

но вырабатываемый каждой достаточно большой по численности общиной, в которой дифференциация и индивидуализм находят достаточно почвы для своего развития». Приходить к такому заключению убежденному народнику было особенно неприятно. Как выяснилось, правда жизни противоречила самим основам народнического мировоззрения. Народники всех оттенков, глядя на народ как бы со стороны, всегда полагали, что эксплуататорские элементы в русской деревне не имеют социальной почвы и появляются лишь благодаря влиянию внешних сил. Самым вредоносным из таких сил считалось самодержавное государство, якобы насаждавшее повсюду народных угнетателей. Наблюдения Астырева вели к совсем иному выводу: социальные корни кулачества находились в самом крестьянстве. А община, в которой виделся зародыш социалистических инстинктов русского мужика, в действительности была питательной почвой как раз для кулачества.

Оценивая очерки Астырева, следует помнить, что вопросы о характере и судьбах русской крестьянской общины были центральными в демократической публицистике конца XIX в. Судьба общины глубоко волновала как правительственных чиновников, так и общественных деятелей. В центре внимания Астырева — деятельность учреждений крестьянского самоуправления. Он убедительно показал исключительно важную роль сельской общины, старост, волостного правления и волостного суда в регулировании повседневной жизни крестьянства Воронежской губернии в пореформенную эпоху. В революционном движении продолжали доминировать народники, искренне надеявшиеся на то, что общинные порядки русской деревни дают нашей стране особенно благоприятные шансы на социалистическое переустройство. За сохранение и укрепление общины выступали и наиболее консервативные деятели в административных и общественных сферах. Такое внешне парадоксальное единство в оценках жизнеспособности общины объяснялось тем, что каждая сторона предпочитала видеть в общине то, что ей очень хотелось. Консерваторы видели в общине с ее круговой порукой адекватную русским условиям форму управления крестьянами, а в уравнительном наделении землей они же усматривали оплот против пролетаризации и, следовательно, революционизирования народа. Кроме того, коллективная ответственность сельского общества упрощала решение вопроса о взыскании всевозможных повинностей, в том числе налоговых.

Революционеры, со своей стороны, строили расчеты на отсутствии у общинного крестьянства частной собственности на землю и на глубокие традиции мирского самоуправления. В мировоззрении народников крестьянская община виделась залогом скорого и успешного перехода России к социализму.

Надо признать, что Астырев дал одно из самых реалистичных описаний общинных порядков воронежской деревни. Писатель честно признал, что жизненные установки крестьян не совпадают с идейными построениями

социалистов-народников. Отсутствие частной собственности на землю совсем не исключало тяги крестьян к личному хозяйственному успеху. Правда, на общинной почве материальное благополучие отдельных крестьян достигалось в основном не через производственные успехи, а через элементарное ростовщичество, ставшее в воронежской деревне основной причиной для роста кулачества, или «мироедства».

Как народник Астырев, естественно, сочувствовал принципам общинной жизни. Тем не менее добросовестный анализ подсказывал писателю, что хозяйственные успехи отдельных крестьян меняли их правосознание в лучшую сторону. Он честно признал, что именно с кулаками были связаны прогрессивные перемены в крестьянской среде. Кулаки, отмечал писатель, «и умственнее прочих мужиков, и лучше всякие «ходы» знают, и с волостными в приятелях состоят, подчас даже становому известны, не раз «в губернии» (т.е. в Воронеже. — *М.К.*) бывали, и в земстве, и в крестьянском присутствии, словом, им и книги в руки». Подобные перемены радовали интеллигентного писаря: «Прогресс в смысле сознания собственного достоинства несомненный, и впечатление производит преотрадное; для контраста стоит только взглянуть на мужичонку, вынесшего на своих плечах крепостное иго и ныне обделенного землей: он сельского писаря считает за начальство, а при старшине ни за что не решится сесть или одеть шапку...».

Живописные зарисовки Астырева дают яркое представление об особенностях правосознания воронежского крестьянства. Рассказанные в очерках житейские истории показывают: равновесие в крестьянских отношениях поддерживалось в основном традициями так называемого обычного права. Однако новые экономические и социальные явления нанесли тяжелые удары по крестьянской патриархальности. Формальная законность постепенно вытесняла обычное право. Стариков, например, изумляло появление крестьянских исков, связанных с оскорблением личности. Такого, по их мнению, никогда прежде не было, теперь же «народ куда как ослаб противу прежнего». Правда, замечал писатель, пробуждение чувства человеческого достоинства в деревне сопровождалось усилением господства рубля: «Как-никак, а надо признаться, что в настоящую минуту неприкосновенность личности вошла в фазис оценки ее на рубль, подобно тому, как оцениваются теперь мирская правда, человеческая совесть, девичья честь...».

Сочетание традиций обычного права с формальной законностью приводило волостные суды к самым причудливым комбинациям. Однотипные по своей сути дела получали порой абсолютно разное разрешение: все зависело от интересов, а нередко и настроения судей-крестьян. Крестьянка, искавшая защиту в волостном суде от побоев пьяницы-мужа, могла столкнуться с откровенно враждебной реакцией односельчан. Хождение жены по судам многие старики воспринимали как дело прежде небывалое, вредное и даже грозящее

устоям семейной жизни. Какой тут грех, если муж «поучит» свою жену? «Вообще, — отмечал Астырев, — представление о бабе, как о полной собственности мужика, сохранилось еще в сильной степени».

Чрезвычайную досаду Астырева вызывала крайняя податливость общинников на винные угощения. Разумеется, писатель совсем не стремился сгустить краски и представить сельский мир в исключительно неприглядном виде. Напротив, он замечал, что в основе своей народ морально здоров и на многое способен. «Я отнюдь не говорю, — признавал он, — что крестьяне поголовно пьяницы.., пьяниц в крестьянском миру очень мало: один, два на сотню...». Но над народной нравственностью нависли тяжелые угрозы. Как выяснилось, и волостные сходы, и крестьянские суды могли стремительно менять собственные решения, если за этим маячила перспектива водочного угощения. Столкнувшись с таким изъяном, автор восклицал: «Я решительно не могу себе представить... до чего еще может дойти в будущем слабость к водке сельских сходов?.. Кажется, дальше идти некуда, ибо и теперь уже делаются невероятные вещи». При этом общинные порядки даже способствовали народному пьянству. Разум у крестьян при виде водки как бы перестает действовать, и тем в большей степени, чем их большее количество собрано вместе. Желание выпить в компании, «поразнообразить бесшабашной гульбой свою вечно серую, будничную жизнь заговаривает с особою силою, и сход делает невероятные вещи: отдает за бесценок мирскую землю, пропивает чужой стан полос, закабаляется в грош на многие годы, обездоливает правую из числа двух спорящих сторон, прощает крупную растрату мошеннику старосте, ссылает невинного односельца на поселение, принимает заведомого вора обратно в общество и т.д. и т.п.».

Вообще же, замечал Астырев, правосознание крестьянства к исходу XIX в. оказалось в крайне неустойчивом положении. Под влиянием времени от стройной картины мирских обычаев остались жалкие клочки. Порядки же писаной законности не успели укорениться. И хотя слово «закон» малопомалу становится знакомым крестьянам, но о подлинной законности в русской деревне приходится только мечтать: «Действительные законы совершенно неизвестны народу: он знает только один закон — это то, что говорит или приказывает начальство, какое бы оно ни было: урядник ли, писарь, мировой ли судья или судебный следователь».

Ценность откровенных наблюдений Астырева состояла в создании реалистической картины крестьянского общинного миропорядка. Как выяснил писатель, в нем плохо просматривались социалистические инстинкты мужика. Напротив, жизненный опыт показал, что в происхождении кулачества нет ничего внешнего или наносного. Кулаки-мироеды, замечал наблюдательный писарь, есть «явление, логически вытекающее из данного экономического и общественного деревенского строя, и существование их так же необходимо,

как необходимо появление лишаев и мхов на гниющем стволе дерева... И никакие паллиативы не остановят роста этих лишаев: деревня будет все далее и далее дифференцироваться, и в одну сторону будут стекаться представители умственности, которые все безграничнее будут господствовать над отлагающимися на другую сторону рабами физического труда, глубже и глубже уходящими в мелкие, развращающие заботы о куске насущного хлеба». Но если так, то приходилось признать, что никакой особой жизнестойкостью русская община не обладала, а идеализация ее не имела никаких оснований. Собственно, именно такой вывод и делает Астырев: «Это, по-моему, логически неизбежный конец истории нашей крестьянской общины в существующей ее форме; избежать этого печального конца можно, только перейдя от общинного владения объектов труда и землею — к общественным формам самого труда».

Такие выводы и наблюдения делали честь писателю-демократу. Объективно они служили преодолению народнических иллюзий, а значит, вели к утверждению реалистических взглядов на настоящее и будущее русской деревни. И все же Астырев остался верен народническим представлениям о путях преобразования крестьянской жизни. Коренным источником народных бедствий писатель считал невежество. Культурной неразвитостью сельского мира писатель объяснял причины распространения несправедливых экономических отношений. Собственно, и кулаки-то у него определяются как «представители умственности», все больше господствующие над «рабами физического труда». Поэтому основным средством избавления трудового крестьянства от эксплуатации и угнетения, по мнению писаря-интеллигента, должно стать распространение просвещения среди крестьянских масс. Мощный приток интеллигентских сил в деревню — вот что, по его убеждению, вывело бы деревню из плачевного состояния. «Если бы, — пишет он, — были установлены какие-либо мероприятия для привлечения в деревню интеллигентных сил на должность писарей, переворот в крестьянской жизни вышел бы огромный; для этого нет надобности заводить всесословные волости и церковноприходские школы, нужно дать возможность интеллигенции стать в непосредственное общение с сельскими массами». Почему же передовой интеллигенции следует идти именно в волостные писаря? Да потому, что писарь «бывает на всех сходах, составляет приговоры, относящиеся до самых разнообразных сторон крестьянской жизни, и будь он человек развитой, интеллигентный, влияние его на народную жизнь могло бы быть громадно...».

Похоже, впрочем, что сам Астырев понимал наивность своих расчетов на массовый поход интеллигенции в писаря. Не замечая внутреннего противоречия в своих рассуждениях, он вынужден был признать, что его собственные усилия завоевать доверие крестьян так и не принесли желаемых результатов. Три года честного труда было потрачено на то, чтобы ближе сойтись с народом. «Но странная вещь, — с горечью признавал писатель, —

хотя я и жил в клетушке у заправского мужика, обедал и ужинал вместе с его семьей.., хотя я служил в мужицком присутствии, занимаясь исключительно мужицкими делами, но сам был мужик ко мне не ближе, чем был в Петербурге». Крестьяне, как правило, избегали доверительных разговоров с интеллигентным писарем, лукавили, либо просто «закрывались», всем своим поведением давая понять, что приезжему горожанину незачем лезть в мужицкие дела. Причем такое отчуждение меньше всего объяснялось личными качествами Астырева. В своем поведении он старался демонстрировать бескорыстие, терпимость и народолюбие. Дело было в другом. Писатель скоро убедился, что крестьяне делят человечество как бы на две части: «мы» и «они»: «Эта любопытная особенность народной жизни, это многовековое убеждение народное, что сословие стрюцких — особая статья, а крестьянский народ — тоже особь статья, этот камень преткновения для интеллигенции в ее стремлении к сближению с лапотным миром будет еще долго служить темой для исследования и изучения».

Интеллигенту-доброхоту можно посочувствовать. Однако ничего удивительного в отношении к нему со стороны крестьянства не было. Ведь именно о крестьянскую невосприимчивость разбилось беспримерное «хождение в народ» русской демократической интеллигенции 1870-х гг. И, к огорчению народников, не могло не разбиться. Слишком велики были культурные разрывы в русском обществе, а в глазах крестьянства образованное общество оставалось господским. За четверть века до Астырева Н.Г. Чернышевский с горечью отмечал: «Народ не делает разницы между людьми, носящими немецкое платье»[3]. Столкновение с незнакомыми культурными ценностями побуждало крестьянство к обособлению своего духовного мира, к развитию своеобразного рефлекса самосохранения. На это обстоятельство обращал внимание еще А.С. Пушкин, отметивший, что народ, «упорным постоянством удержав бороду и русский кафтан, доволен был своей победой и смотрел уже равнодушно на немецкий образ жизни своих бояр»[4]. Наблюдения Астырева лишний раз убеждали, что не столько интеллигенция была далека от народа, сколько народ был далек от носителей демократической идеологии. Признание этого факта нашло, между прочим, свое выражение в известной формуле Г.И. Успенского — «Не суйся!»

Свою неудачу Астырев объяснял главным образом тем, что между его идейными убеждениями и сознанием крестьянина лежала зияющая пропасть. Крестьянин, сетовал он, решительно не допускал мысли, «чтобы я, писарь, горожанин, вообще не мужик, мог бескорыстно и бесхитростно интересоваться мужицкими делами; и это обстоятельство, что он — мужик, а я — не мужик, давало себя постоянно чувствовать и воздвигало между нами непроницаемую стену, разделявшую весь мир, все человечество, все интересы, все вопросы и злобы дня на две стороны, — мужичью и не мужичью». Перед нами — типич-

но интеллигентское объяснение хронических неудач сближения демократов с народом. В конце концов, Астырев был вынужден признать, что его совет интеллигентам идти в писаря едва ли способен разрушить стену народного отчуждения. «Я сам сознаю, — честно признал он, — что договорился до несбыточных вещей, и потому умолкаю, не предлагая никаких мероприятий для достижения недостижимого». Но если Астырев не смог ничего предложить в такой ситуации, то революционерам с иным темпераментом проще всего было сделать вывод о необходимости борьбы для народа, но без народа, в том числе с использованием самых крайних террористических методов. Что, собственно, и случилось в России в начале XX в.

Произведение Астырева писалось в эпоху, когда революционное народничество в его традиционных формах сходило с исторической сцены. Разочарование в революционных методах борьбы охватило многих народников. В их среде распространились реформистские настроения. В 1880-е гг. для народников наступила эпоха «малых дел», под которыми понималась прежде всего просветительская, культурная работа. В этом смысле уход Астырева в волостные писаря был вполне закономерным. Но прерывать связи с революционерами писатель все же не стал.

В 1884 г., после трехлетнего пребывания в с. Орлово, Астырев был вынужден покинуть Воронежскую губернию. Дело в том, что властям стали известны контакты необычного писаря с революционными кругами. Он, в частности, использовал свое служебное положение для оказания весьма ценных услуг нелегальным товарищам. В опубликованных воспоминаниях воронежского революционера-народовольца Д.А. Перелешина отмечен факт прямой помощи Астырева революционному подполью. «К Астыреву, — вспоминал Перелешин, — я обратился с просьбой дать мне для партии «Народной воли» чистые паспортные бланки. При отъезде в Петербург я получил от Астырева 50 бланков, которые затем нам чрезвычайно пригодились»[5].

О связях Астырева с революционерами-народовольцами стало известно и столичным властям. В феврале 1883 г. директор департамента полиции МВД В.К. Плеве получил агентурные сведения о том, что в Орловское волостное правление Воронежского уезда устроился на должность волостного писаря «бывший студент Астырев, через коего народовольцы думают добывать фальшивые паспорта»[6]. Очевидно, что сведения о связях Астырева с революционерами стали известны и местным властям, которые и без того уже с сомнением и даже с раздражением следили за деятельностью необычного волостного писаря. Астыреву не оставалось ничего иного, как оставить должность. Неподкупность, открытость и доброе отношение к простым труженикам крестьяне, в конце концов, оценили. По свидетельству очевидца, при выезде его из Орлова «местные крестьяне и знакомые, невзирая на возможность репрессий со стороны властей, устроили ему демонстративные проводы. Несколько троек, на-

полненных его почитателями и представителями всей волости, провожали его до станции железной дороги, отстоящей от села на несколько верст. Проводы были трогательные»[7]. Некоторое время бывший волостной писарь работал в Воронеже рядовым сотрудником статистического бюро губернского земства. В последние месяцы своего пребывания в Воронежской губернии Н.М. Астырев был активным корреспондентом газет «Воронежский телеграф» и «Русский курьер», на страницах которых опубликовал серию заметок этнографического и статистического содержания.

Вскоре Астырев перешел на аналогичную должность в земскую управу Московской губернии. Тогда он и начал писать свой труд о положении воронежского крестьянства. Но отдельной книгой очерки вышли не сразу. Первоначально они печатались в «Вестнике Европы», одном из самых известных либеральных журналов дореволюционной России. Литературным сотрудником этого журнала Астырев значился в 1885 г.[8] Первый очерк был напечатан в седьмом, июльском номере за 1885 г. В последующих двух номерах за тот же год публикация труда Астырева была продолжена вплоть до главы XVII. Однако практически на середине очерков печатание в журнале было остановлено. Сейчас трудно установить причину прекращения сотрудничества журнала с писателем-народником. Вероятнее всего, остановка публикации произошла по политическим причинам. В середине 1880-х гг. в правящих сферах господствовали консервативные и охранительные настроения. Демократические взгляды Астырева вполне могли вызвать негативную реакцию надзорных и цензурных учреждений.

После отъезда писателя из Воронежа его связи с революционерами продолжались. По сведениям департамента полиции, он был хорошо знаком с Е.Г. Бартеневой, русской эмигранткой, еще в 1860-е гг. деятельно участвовавшей в работе Русской секции I Интернационала. С рекомендательным письмом от Бартеневой к Астыреву приезжал в Москву М.И. Бруснев, основатель и руководитель одной из первых в России социал-демократических групп[9]. Сведения о революционных контактах Астырева не могли не осложнять публикацию его литературных трудов. Тем не менее полный текст очерков в 1886 г. вышел отдельной книгой и вызвал оживленные отклики прогрессивной общественности[10].

В это же время в журнале «Юридический вестник» появляются статьи Астырева об экономическом положении воронежского крестьянства и некоторых других вопросах того же плана[11]. В 1884-1886 гг. в «Ежегоднике Московского губернского земства» он опубликовал несколько статей, посвященных сельскохозяйственной статистике. Имя Н.М. Астырева приобретает известность, и иркутский генерал-губернатор А.П. Игнатьев пригласил молодого публициста на работу в Сибирь для исследования экономического положения крестьянских хозяйств Иркутской и Енисейской губерний. В Сибири Асты-

рев трудился с 1887 по 1889 г. и наряду с другими исследователями весьма основательно изучил хозяйство и быт тамошнего крестьянства. С 1888 г. он занимал должность заведующего статистическим бюро в администрации Иркутской губернии. Перу Астырева принадлежало несколько глав в вышедшем в ту пору сборнике документальных материалов об аграрной экономике Восточной Сибири[12]. Накопившиеся у писателя обширные сведения о жизни русской деревни стали основой для написания им двух новых весьма обширных книг этнографического характера[13].

И в этих книгах автор остался верен своей благородной цели — защите угнетенного народа от эксплуатации, обмана и насилия. Наряду с этим, в повествовании о жизни сибирских крестьян заметен налет, казалось бы, неожиданной, но фактически вполне закономерной растерянности интеллигента-демократа. Рассказывая о весьма зажиточной деревне на юге Иркутской губернии, Астырев горестно замечает: «Интеллигенту скучно и одиноко тут, в этом хлебном уголке, он не видит здесь никакой борьбы, которая всегда служит признаком наличности идеалов и стремления к ним». Получается, что само существование интеллигенции в России имело, по Астыреву, смысл только в том случае, если народ непременно страдал, а власть обязательно его угнетала. С большой досадой автор отмечает, что в материально благополучном селе делать интеллигенту-демократу нечего: «...нет здесь вопиющих нужд и страданий, которые призывали бы умственного человека на помощь, и этот человек видит себя здесь лишним, потому что он никому не нужен: все сыты и довольны своей утробной жизнью, а умственных запросов налицо еще не имеется; здесь нет столкновения интересов (если не считать вековечных споров из-за меж и граней) ни на почве экономических начал, ни на почве идейной; кругом слышатся только звуки спокойной жвачки и сытой отрыжки»[14]. В русской литературе трудно найти другого столь же откровенного признания в том, что без народных страданий мировоззрение интеллигенции теряет всякий смысл.

В 1891-1892 гг. центральные губернии России постигла сильная засуха, следствием которой стали два подряд неурожайных года. В русской деревне возник острый дефицит продовольствия, среди крестьян начался голод и, как спутник этого печального явления, — эпидемия холеры. В среде русской интеллигенции широко распространились различные благотворительные инициативы по оказанию помощи голодающим крестьянам. Деятельно участвовали в таких мероприятиях, в частности, Л.Н. Толстой и А.П. Чехов. Поездку по голодающим уездам предпринял и Астырев. Картины народного бедствия глубоко потрясли писателя. Полагая, что основная вина за случившуюся беду лежит на социальной политике правительства, Астырев решает начать широкую пропаганду демократических идей среди голодавших крестьян. Установив связи со сложившейся к тому времени в Петербурге «Группой народовольцев», Астырев предлагает издать ряд агитационных писем, адресованных

бедствовавшим крестьянам. Предложение было принято, и в феврале 1892 г. в подпольной типографии была отпечатана написанная Астыревым прокламация под названием «Первое письмо к голодающим крестьянам» за подписью: «Мужицкие доброхоты». Часть прокламаций, разосланных тогда же из Москвы, была перехвачена полицией, а часть все же дошла до деревни. Ездивший в то время по голодающим местностям Нижегородской губернии В.Г. Короленко встречал крестьян, читавших революционное воззвание Астырева[15].

В Москве в 1891 г. вокруг Астырева сложилась группа демократически настроенных народнических деятелей. В нее вошли видный в ту пору общественный деятель П.Ф. Николаев, Н. Шатерников, Е. Мягков, А. Белозеров и другие. Когда в 1892 г. существование такой нелегальной группы было раскрыто полицией, к дознанию по делу «астыревцев» было привлечено более 20 человек. Сам Астырев был приговорен к двум годам тюремного заключения и последующей ссылке в Вологодскую губернию. Однако отбывать ссылку ему не пришлось: по дороге он тяжело заболел и в 1894 г. умер.

Литературное наследие Астырева продолжало интересовать демократическую общественность. В 1896 г. известный критик и публицист В.А. Гольцев подготовил второе издание книги «В волостных писарях», сопроводив его своим доброжелательным предисловием. В 1904 г. книга о жизни Астырева в воронежской деревне была опубликована еще раз, теперь уже в виде отдельного тома планировавшегося полного собрания сочинений писателя-народника. Впрочем, замысел реализовать не удалось, и с тех пор в России работы Астырева больше не издавались[16].

К сожалению, многое в общественной деятельности Астырева остается пока непроясненным. Несомненно, однако, то, что наиболее яркими страницами его жизни стала работа волостным писарем в Воронежской губернии и создание цикла очерков о крестьянском самоуправлении. Публицистическое творчество Астырева оставило заметный след в общественной и культурной жизни нашего края.

М.Д. Карпачев

---

[1] Бондырев Н. Воспоминания о Н.М. Астыреве // Каторга и ссылка. 1930. № 6. С. 159.

[2] Крестьянская реформа в России 1861 года. Сборник законодательных актов. М., 1954. С. 59.

[3] Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч. М.,1951. Т. 10. С. 92.

[4] Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Л.,1948. Т. 15. С. 14.

[5] Перелешин Д.А. Воспоминания народовольца // Звезда. 1973. № 9. С. 108-109.

[6] Меньшиков Л. Охрана и революция. М., 1925. Ч. 1. С. 130.

[7] Бондырев Н. Указ. соч. С. 167.

[8] Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. СПб., 1889. Т. 1. С. 833-834.

[9] Книжник-Ветров И.С. Русские деятельницы Первого Интернационала и Парижской Коммуны. М.-Л., 1964. С. 238.

[10] Ласунский О.Г. Н.М. Астырев // О.Г. Ласунский. Очерки литературной жизни Воронежского края. Воронеж. 1970. С. 334.

[11] Астырев Н.М. Крестьянское хозяйство в Воронежском уезде // Юридический вестник. 1886. № 1. С. 154-183; Его же. Земская хроника // Юридический вестник. 1887. № 2. С. 350-368; № 4. С. 741-751 и др.

[12] Материалы по исследованию землепользования и хозяйственного быта сельскохозяйственного населения Иркутской и Енисейской губерний. СПб., 1893.

[13] Астырев Н.М. На таежных прогалинах. Очерки жизни населения Восточной Сибири. М., 1891. – 450 с.; Его же. Деревенские типы и картинки. Очерки и рассказы. М., 1891. – 261 с.

[14] Астырев Н.М. На таежных прогалинах. С. 21.

[15] Короленко В.Г. Земли, земли! // Голос минувшего. 1922. № 1.

[16] В справочной литературе советского времени наиболее подробная статья об Астыреве содержится в кн.: Русские писатели 1800-1917. Биографический словарь. М., 1989. Т. 1. С. 120-121.

Исследователь народной жизни

Как известно, к началу XX столетия Воронежская губерния продолжала оставаться преимущественно земледельческой. Сами типы сельского населения, крестьянского в своей основе, отражали давно устоявшиеся здесь социально-экономические, духовно-нравственные, семейно-бытовые отношения. Не случайно нынешние историки-аграрники уделяют столь большое внимание изучению того привычного образа жизни, который был характерен для территорий центрально-черноземной зоны России. Занимаются этой проблематикой и зарубежные слависты. Так, парижское издательство «Plon» выпустило в переводе на французский язык сборник «Русская деревня» (1992). Из пяти помещенных там произведений три непосредственно связаны с изображением придонского края. Опубликованы, в частности, фрагменты из интересующей нас книги Н.М. Астырева «В волостных писарях. Очерки крестьянского самоуправления» — по ее второму, дополненному изданию (Москва, 1896). Представляется примечательным сам факт включения этой работы в сборник, рассчитанный на широкий читательский круг. Осуществленный французскими специалистами отбор текстов свидетельствует не только о хорошем художественном вкусе составителей, но и о четком понимании ими своих целей — раскрыть загадочный для европейцев мир старой, мужицкой России. В этом смысле астыревское сочинение действительно является исключительно благодарным источником. Уверен, что и настоящее его переиздание окажется вовсе не бесполезным для тех наших соотечественников, кто неравнодушен к глубинным общественным процессам, протекающим сегодня в сельской местности.

Произведение Н.М. Астырева, при всей своей индивидуальной содержательности, создавалось в рамках сформировавшейся к тому времени демократической народнической эстетики. Этих рамок придерживались тогда многие авторы, озабоченные очевидным социальным неблагополучием в низовых слоях населения. О тяжелом материальном положении крестьян, рас-

паде традиционной поземельной общины, кризисе прежней патриархальной морали, растлевающем влиянии на поселянина рыночного фактора — обо всем этом писали такие беллетристы, как Г.И. Успенский, Н.Н. Златовратский, П.В. Засодимский, Н.И. Наумов, Н.Е. Каронин-Петропавловский и др. В этот ряд следует поставить и Н.М. Астырева, который смог, даже вопреки собственным политическим симпатиям, показать несостоятельность созданного кабинетными идеологами мифа о русском мужике как носителе социальных и этических добродетелей. В противовес догмам, распространенным в среде теоретиков народничества, Н.М. Астырев констатировал падение авторитета «обчества», крах освященных веками обычаев, стремление обогатиться за счет ближнего, проникновение в крестьянскую массу крайнего индивидуализма, безучастность к коллективным нуждам. Апогеем укоренившихся в простонародье пороков являлось злоупотребление алкогольными напитками: осуждающая авторская позиция вытекает из сцен совместного пьянства по окончании сельских сходов.

Трехлетнее «хождение в народ» привело петербургского экс-студента к неутешительным выводам: собственнические инстинкты хлебопашца недооценены, а представления об общине как о рычаге едва ли не социалистического преобразования страны явно утопичны. На практике община трещит по швам и расходится в разные стороны. Кстати, именно так — «В разные стороны» — назвала один из своих ранних рассказов наша землячка В.И. Дмитриева («Русская мысль», 1883, №3-4). Вышедшая из недр крестьянского сословия, прекрасно осведомленная о состоянии дел в деревне, писательница сумела, как несколько позднее и Н.М. Астырев, возвыситься над своими привязанностями и убедить публику в том, что воспеваемая ортодоксами народничества поземельная община гибнет, а на смену ей медленно, но уверенно идет капитал.

Как литератор Н.М. Астырев целиком сложился под влиянием видных авторов народнического толка. Художественному воображению он предпочитал метод документально точного воспроизведения жизненных коллизий, приправленного откровенно публицистическим пафосом. Жанр очерковых записок был охотно принят на вооружение народниками, поскольку, в отличие от чистой беллетристики, позволял наглядно, а значит и более действенно реализовать творческий замысел — продемонстрировать кричащие противоречия эпохи, определить болевые точки дряхлеющего общественного организма. Астыревские «очерки крестьянского самоуправления» вполне укладывались в народническую жанровую модель с ее внесюжетным и адекватным действительности повествованием. Произведения, подобные тому, что вышло из-под пера Н.М. Астырева, предлагали демократически ориентированным современникам благодатный исходный материал для анализа и обобщений.

Н.М. Астырев поставил перед собой задачу — «наблюдать и изучать, но не учиться и не учить» — и с нею вполне справился. Надо, однако, заметить,

что автору совершенно чужда позиция стороннего наблюдателя. Если судить хотя бы по отдельным, лирически окрашенным репликам, то следует признать: Н.М. Астырев глубоко переживает (и совсем не старается это скрыть) беды простого деревенского люда, а в некоторых случаях не стесняется напрямую обращаться к читателям с нескрываемо взволнованным словом. Вообще арсенал изобразительных средств у Н.М. Астырева достаточно разнообразен. Иной раз выручает сама лексика. К примеру, запоминаются так называемые говорящие фамилии действующих лиц. Демьяновский писарь, откровенный хищник и хапуга, именуется Ястребовым, а тамошний волостной старшина носит еще более зловещую фамилию — Живоглотов. Для уездного предводителя дворянства автор подбирает тоже многозначительную фамилию — Столбиков. Павел Иванович некогда слыл за радикально мыслящего человека, но от прежней поры «осталось красного только сафьяновые отвороты его лакированных сапог». Эта метко найденная и настойчиво подчеркиваемая деталь — красного цвета отвороты сапог — становится определяющей при создании формально внешнего, а по сути внутреннего, истинного портрета данного героя. Вообще образ Столбикова, сотканный из лаконичных, но чрезвычайно выразительных подробностей, свидетельствует о несомненном литературном даровании Н.М. Астырева. Мертвенность, заплесневелость многолетнего покоя, полный хаос, царящий в кабинете Столбикова, — все это недвусмысленно намекает на сущностные качества персонажа. Интерьер становится своего рода отражением психологического облика хозяина.

Проникнутый невольным сочувствием к «безответному труженику-народу», Н.М. Астырев, тем не менее, не намерен прощать ему пороков, таких, как общественная пассивность, увлечение кляузничеством и сутяжничеством, жестокость в домашнем быту, непреодолимое влечение к спиртному (словечко «магарыч» — едва ли не самое распространенное в мужицком лексиконе), нежелание близко принимать в свою среду образованного горожанина и т.п. Однако сострадательная интонация быстро уступает место почти обличению, когда речь заходит не о забитых нуждой пахарях, работающих в поле от рассвета до заката, а о тех, кто паразитирует за счет чужого труда. При описании таких, прежде неведомых деревне социальных типов автор не жалеет критических красок. Мироеды, маклаки, «глоты», обиралы, захребетники и иной подобный им коммерческий люд — все эти тунеядцы кормятся около «мира», используя с выгодой для себя предрассудки односельчан. Этих «дельцов новейшей формации» писатель сравнивает с полчищами еще не окрылившейся саранчи. Н.М. Астырев утверждает: мироеды, наподобие мужика Парфена, есть совершенно логическое явление, проистекающее из существующего в «обчестве» экономического и социального уклада. В период «всеобщего господства рубля» даже представители сельского духовенства не способны преодолеть искушения обогатиться: любопытен в этом плане образ алчного пастыря отца Никиты. Что уж тут говорить про станового пристава Конева, излюбленным

занятием которого были «контрольные» посещения питейных заведений: этот господин с «лошадиной фамилией» обрисован с изрядной долей иронии.

Народническая система художественных средств предполагала энергичное использование принципа документализма в различных его вариантах. В своем сочинении Н.М. Астырев не избегает сцен, которые, кажется, целиком списаны с натуры. Таковы, в частности, картины отправления волостного «народного правосудия», когда наиболее полно обнажаются как светлые, так и темные стороны крестьянского быта. Автор иногда без каких-либо изъятий включает в повествование услышанные на стороне истории, что придает изложению дополнительное ощущение непридуманности.

Поэтика народнического реализма отнюдь не исключала наличия в прозаических текстах цифровых характеристик. Сухие статистические выкладки не выглядят у Н.М. Астырева чем-то инородным. Они естественно дополняют общий свод творческих приемов, с помощью которых достигается чувство достоверности обрисованной автором ситуации. Этой же цели служит и введение в художественную ткань произведения многоразличных этнографических подробностей.

Стилистический талант Н.М. Астырева также подчинен канонам народнической эстетики. Писатель демонстрирует высокую степень умения передать разговорную манеру своих героев, а доля эпизодов, построенных на использовании речевой индивидуальности, весьма велика. Автор хорошо владеет искусством массового простонародного диалога. Особенно это заметно при описании общинных сходов. С помощью колоритных языковых деталей Н.М. Астырев представляет читателю галерею вовсе не безликих участников таких сходов. Следует отметить деликатное употребление рассказчиком воронежских диалектизмов (в подстрочных примечаниях приводятся их общепринятые синонимы). Сама жанровая специфика требовала от писателя привлечения дополнительных изобразительных ресурсов, таких, скажем, как языковой фольклорный потенциал. Н.М. Астырев эффективно использует все обилие крестьянского разговорного лексикона, не забывая, в частности, о пословицах и поговорках. Даже некоторый налет речевого вульгаризма не портит общего впечатления. В целом стилистика очерков выдает в Н.М. Астыреве несомненного мастера слова.

В записках бывшего волостного писаря читателя привлекает, наряду с прочими авторскими достоинствами, темпераментность изложения. Субъективное начало неизменно присутствует в тексте. Н.М. Астырева не устраивает роль инертного свидетеля и бесстрастного регистратора происходящих на его глазах событий. Он сам активно в них вторгается, становясь, таким образом, полноправным действующим лицом. Эмоционально насыщенные лирико-публицистические отступления передают высокий градус авторских переживаний за судьбу российского крестьянства.

В отличие от некоторых корифеев народнической беллетристики и

публицистики, Н.М. Астырев преодолевает в себе идеализацию деревенского уклада и мужицкого мировоззрения. В этом смысле он ближе других современников-литераторов стоит к фигуре Глеба Успенского, который, хотя и не смог до конца пересилить в себе идеологических заблуждений, но все же довольно скептически смотрел на перспективы существования сельской поземельной общины. Душа Н.М. Астырева страдает при виде полных драматизма картин крестьянской жизни. Отвлеченно трактуемая народническими вождями тема «поэзии земледельческого труда», похоже, вовсе не занимает автора. Его волнуют издержки административно-правовой сферы крестьянского самоуправления. В ней многое не удовлетворяет писателя. В целом со страниц книги встает образ народа как заколдованного богатыря, опутанного по рукам и ногам цепкой паутиной. Вместе с тем Н.М. Астырев не теряет социального оптимизма и верит в лучшую участь крестьянства, страдающего под гнетом государственного бюрократизма.

Важно отметить: после воронежского этапа своей биографии Н.М. Астырев не ожесточился сердцем, сохранил искренний интерес к жизни поселян. Он принимал участие в оказании помощи голодающим крестьянам (1891-1892). Один из рыцарей позднего народничества, Н.М. Астырев не счел возможным отказаться от нелегальной революционной деятельности. После ареста он более полутора лет провел в одиночной камере Петропавловской крепости, что трагически отразилось на состоянии его здоровья. Преждевременная смерть помешала развиться до конца яркому, самобытному дарованию.

* * *

В фондах Государственного архива Воронежской области (ГАВО) сохранились машинописные копии некоторых дореволюционных газетных публикаций, имеющих отношение к личности и творчеству Н.М. Астырева (ф. И-199, оп. 1, д. 16). Происхождение этих материалов не прояснено. Не исключено, что оно связано с деятельностью организатора и первого заведующего (1924-1930) Музеем литературы Воронежского края им. И.С. Никитина — А.М. Путинцева: известно, что он уделял много внимания формированию музейных фондов, используя самые различные, в том числе иногородние, источники. В архивной папке обнаружились рецензии на астыревские «очерки крестьянского самоуправления», помещенные первоначально в журнале «Вестник Европы» (1885, № 7, 8). Там же находились и некрологи писателя, обнародованные в столичных газетах. Все эти материалы практически выпали из поля зрения современных нам исследователей.

Группировавшиеся вокруг казанского «Волжского вестника» критики постоянно следили за премьерами текущего литературного процесса в стране. На столбцах этой авторитетной провинциальной газеты регулярно печатались обозрения столичной периодики. Так, в номере 168 от 24 июля 1885 года появились «Журнальные наброски» П.А. Голубева, популярного в Поволжье

и на Урале публициста, посвященные июльской книжке «Вестника Европы». Автор, скептически отозвавшись о содержании беллетристического отдела, выделил только заметки Н.М. Астырева «В волостных писарях»: это «весьма интересный свод наблюдений интеллигентного человека, попавшего для изучения народной жизни в деревню и не в качестве простого, ничего не делающего туриста-наблюдателя, а напротив, весьма деятельного ее члена». П.А. Голубев подчеркнул способность сочинителя придавать своим персонажам четкие характеристические черты. Это касалось прежде всего волостных чиновников, вроде писаря Ястребова, который «зорко высматривает свою добычу и не отпускает ее из своих когтей, если только она попалась ему». Среди крестьян тоже встречаются хищники. Вот, к примеру, Иван Моисеевич. По мнению рецензента, этот тип обрисован особенно рельефно. В нем соединились противоречивые душевные качества, и хотя он порой мог быть добрым, но личная выгода всегда стояла у него на первом плане. Моисеич даже готов шантажировать волостного писаря в надежде, что тот решит вопрос о дележе мирской земли в пользу кочетовских захребетников. П.А. Голубев почти целиком цитирует выразительный монолог Моисеича, этого, по словам Н.М. Астырева, «Макиавеля в смазных сапогах».

Крупнейшая московская газета «Русские ведомости», орган либерально настроенной интеллигенции, откликнулась на астыревские очерки в очередных «Литературных беседах» Аристархова (№ 260, 21 сентября 1885 г.): под таким псевдонимом скрывался критик Арс. И. Введенский. Последний полагал, что этим «интереснейшим» очеркам принадлежит одно из самых видных мест среди литературных явлений последнего времени. По мысли автора, Н.М. Астырев (в «Вестнике Европы» он обозначен как «Н. А-рев») ни в малейшей мере не склонен увлекаться «красивостью» формы, и его «простота» есть, бесспорно, следствие авторской талантливости.

Астыревские очерки, «претендующие на простое этнографическое значение, не желавшие стать легким чтением с завлекательными происшествиями, а солидной и почти сухой передачей фактов, вызывающих на размышление и способных внести некоторый свет в вопрос изучения народной души и народного быта, — эти очерки по местам достигают весьма художественной передачи явлений народной жизни». Обозревателю «Русских ведомостей» особенно приглянулись сцены волостного суда: «... Каждое лицо, являющееся действующим в нем, судьи и тяжущиеся, предстают перед читателями с своими индивидуальными особенностями и такими типическими чертами, выраженными автором без усилий и, быть может, ненамеренно, что читателю в душу залегают эти своеобразные люди, редко являвшиеся в русских романах, очерках и повестях в своем настоящем, неприкрашенном виде». Арс. И. Введенский высоко ставит мастерство, с каким Н.М. Астырев изображает различные крестьянские фигуры: хорош, в частности, уже исчезающий тип кулака-старика, «коренного сына деревни, ведущего без всяких расписок тысячные дела». Критик считает

совершенно образцовой одну из сцен деревенского судилища — как с точки зрения понимания мужицкой психологии, так и с учетом того, как воспроизводится писателем натуральная народная речь: «Да, это настоящая жизнь, как она совершается в действительности. Факты и отношения говорят сами за себя и не нуждаются в комментариях, и каждый читатель непременно почувствует то же, что чувствовал автор, как ни либеральны эти чувства...».

В своей статье Арс. И. Введенский весьма похвально отзывается и о короленковских «Очерках сибирского туриста», только что опубликованных в новом журнале «Северный вестник». Указать на сей, казалось бы, посторонний для нас факт заставляет необходимость попутно напомнить о реакции В.Г. Короленко на выход в свет первого, еще прижизненного издания книги Н.М. Астырева «В волостных писарях» (1886). В том же «Волжском вестнике» (№ 201, 18 сентября 1886 г.) писатель поместил большую статью-рецензию, в которой восторженно рекомендовал публике астыревское сочинение. Свой отзыв он завершил пожеланием книге «полного успеха, какого она заслуживает, а русской литературе — побольше таких произведений». Надо знать высокую требовательность В.Г. Короленко к явлениям современного искусства слова, чтобы сполна оценить степень его доброжелательности по отношению к труду Н.М. Астырева... В своей рецензии В.Г. Короленко развивает мысль о существовании двух типов народнической беллетристики — этнографической и художественной. Главное достоинство первой — подлинность, верность действительности; однако она предоставляет лишь сырой материал и несколько суха. Художественная беллетристика, с одной стороны, дает более или менее обобщенные картины, типы и, кроме того, вводит в изложение драматические моменты, но с другой — не свободна от авторской субъективности. «Книга г. Астырева, — заключает свои рассуждения В.Г. Короленко, — представляет в одно и то же время главнейшие достоинства обоих типов, избежав крупнейших недостатков того и другого...»

В упоминавшейся выше подборке материалов из фондов ГАВО имеются копии трех анонимных некрологов Н.М. Астырева (1894). Из них наиболее содержательный появился на столбцах «Русских ведомостей» уже на следующий день после кончины писателя (№ 152, 4 июня). Судя по всему, автор некролога был близко знаком с покойным и прекрасно осведомлен о его горестной судьбе. В некрологе подробно рассказывается о деятельности Н.М. Астырева на поприще земской статистики, причем упоминается опубликованная им в «Юридическом вестнике» статья «Крестьянское хозяйство Воронежской губернии» (написана, вероятно, по итогам пребывания автора в здешних местах). Кстати, нашим краеведам еще предстоит разыскать и проанализировать астыревские корреспонденции из Воронежской губернии, увидевшие свет на страницах газет «Порядок» и «Русский курьер» (1881-1882), а также «Воронежский телеграф» (1883-1892): думается, эти материалы окажутся небесполезными для историков региональной аграрной темы. Особенно интенсивно

Н.М. Астырев сотрудничал с «Русскими ведомостями», где помещал как беллетристические произведения, так и работы этнографического характера.

Основные биографические сведения об Н.М. Астыреве повторила газета «Русская жизнь» (№ 149, 7 июня), напрямую позаимствовав их из некролога в «Русских ведомостях». Петербургское «Новое время» посвятило покойному краткий некролог (№ 6562, 7 июня), который оканчивался фразой: «Живя в разных местностях, отличных друг от друга не только климатическими, но и этнографическими особенностями, Н.М. Астырев всюду присматривался, прислушивался и затем удачно пользовался собранным материалом, чтобы познакомить с ним, обработанным в хорошую беллетристическую форму, русскую интеллигенцию, интересующуюся крестьянским бытом...»

Как прозаик и публицист Н.М. Астырев печатался в различных журналах и газетах. В 1891 году в Москве вышли его сборники: «На таежных прогалинах. Очерки жизни населения Восточной Сибири» и «Деревенские типы и картинки. Очерки и рассказы». Однако именно «воронежские» очерки обратили на себе общее и в целом благосклонное внимание публики. Должность волостного писаря давала возможность видеть крестьянские нравы и обычаи с близкого расстояния. Образ автора, горожанина, добровольно погрузившегося в самую гущу простонародной жизни, явился бесспорной творческой удачей беллетриста. Это отметил еще В.Г. Короленко в своей рецензии на книгу «В волостных писарях».

В Воронеже первоначальные астыревские публикации в «Вестнике Европы» и последующее их издание отдельной книгой имели значительный общественный резонанс. Местным обывателям не составило особого труда распознать, в каких селах пребывал автор и кто именно изображен в образе уездного предводителя дворянства Столбикова. Память о подвижнике народнической идеи, готовом на лишения во имя служения «младшему брату», упорно держалась в наших краях. В публике долго циркулировали различные слухи о странном волостном писаре, который не вытягивал жилы из мужиков. Любопытна полулегенда, дошедшая до нас в передаче мемуариста Н. Бондырева («Каторга и ссылка», 1930, № 6): будто бы крестьяне Орловской волости тайно доставили сноп ржи на могилу своего бывшего благодетеля (Н.М. Астырев был похоронен на московском Ваганьковском кладбище, среди собратьев по народническим иллюзиям).

Сейчас российская деревня переживает отнюдь не лучшие свои времена. Конечно, поразившие ее кризисные явления сильно отличаются от тех, что описаны непредвзятым пером Н.М. Астырева. Тем не менее о некоторых исторических уроках, преподанных давним исследователем народной жизни, не стоит забывать и поныне.

О.Г. Ласунский

Содержание

В волостных писарях. Очерки крестьянского самоуправления 5

Крестьянское хозяйство в Воронежском уезде 215

М.Д. Карпачев. Примечания 239

ПРИЛОЖЕНИЯ

М.Д. Карпачев. Жизнь воронежской деревни конца XIX века глазами писателя-демократа 247

О.Г. Ласунский. Исследователь народной жизни 263

Историко-культурное издание

Николай Михайлович Астырев

В ВОЛОСТНЫХ ПИСАРЯХ

ОЧЕРКИ КРЕСТЬЯНСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Научный редактор *М.Д. Карпачев*
Обложка *Е.Ф. Нарыкиной*
Художественный редактор *Л.Ф. Попова*
Компьютерная верстка *Е.В. Саввиной*
Корректор *И.А. Тарлыкова*

При оформлении обложки использована картина художника К.Е. Маковского «Крестьянский обед в поле»

Оригинал-макет изготовлен
Фондом «Центр духовного возрождения Черноземного края».
Сдан в печать 31.08.2016 г. Формат 70x100 $^{1}/_{16}$. Бум. офсетная.
Печать офсетная. Тираж 1000 экз. Заказ № 977.

Издательство «Центр духовного возрождения Черноземного края»,
394006, Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 68, оф. 608.
Отпечатано в ООО «Тамбовский полиграфический союз»,
392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 14а.



